Владимир Киселев

И человек может



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Москва • 1962

В самом заглавии этого романа выражена главная его идея. Человек может многое, если перед ним стоит большая цель, если он пользуется внимательной и требовательной поддержкой настоящих друзей, если он сам сумел воспитать в себе твердость и выдержку.

Действие романа происходит в наши дни. У его героев сложные судьбы. Познакомившись с судьбою героев романа, читатель, несомненно, придет к выводу, что «человек может», что в условиях нашего социалистического общества перед каждым человеком открыты огромные, неограниченные возможности для творческого труда, для счастья.

. . .И был он вовсе не прост,
Советский простой человек. . .

(Из письма фронтового друга)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

На этой улице он был единственным человеком, обутым в кирзовые ботинки на тонкой резиновой подошве. Снег поскрипывал под ногами. Он не представлял себе, что всё — и дома, и трамваи, и доска с афишами — так ярко окрашено. Он шел быстро, с удовольствием ощущая, как на разгоряченном лице тают снежинки.

Навстречу шла старушка в толстом клетчатом платке. Она посмотрела на его ботинки, на белые нитяные носки, на серый ватник-телогрейку, на ушанку, отделанную серым, как скатавшийся войлок, искус-

ственным мехом, улыбнулась понимающе и сочувственно и посмотрела вслед.

Человек в добротном коричневом пальто и мягкой шляпе вел за руку девочку лет четырех в белой козьей шубке и белом козьем капоре.

— Папа! — прозвенел ее голосок. — А я знаю, почему снег скрипит.

— Почему?

— Это микробы пищат. Когда на них наступают.

— Кто тебе это сказал?

— Я сама знаю. Нам в детском саду показывали микробов. Растопили в тазике снег, и они такие черненькие в водичке. Поэтому снег нельзя кушать...

Павел обогнал девчушку, заглянул ей в лицо, в ее серьезные глазенки и пошел дальше к трамваю.

Им было очень весело, этим парням и девушкам. Они вошли в трамвай на следующей остановке. Их было немного, но казалось, что они заполнили весь вагон. Они смеялись и громко переговаривались.

— А профессор-то Порайкошица как грохнется! — рассказывал парень в спортивном костюме и вязаной шапочке.

И все смеялись.

— А я ему говорю, что вот так же я у вас на зачете провалился.

И снова смех.

— Я ему говорю — купите сначала «снегурочки».

Хохот.

— Очки отъехали от него за двадцать метров.

Удивительно красивая, тоненькая, как лозинка, девушка смеялась до слез.

Студенты ехали на каток.

Павел нахмурился. Радость уже прошла. Сейчас нужно было все решать. Уж слишком неожиданно его выпустили.

В тюрьме было хорошо. Он был на своем месте, С ним считались. В камере было сорок два человека, и каждый знал, чего стоит он, Павел, и Павел знал каждого. Сытно кормили.

Сейчас все нужно было начинать сначала. Но что

было делать? Вернуться в Чернигов, где его никто не ждал, где у него никого не было? Или попробовать пристроиться тут? Но где? И как?..

Он вышел из трамвая на площади Богдана Хмельницкого, обошел вокруг памятника, силясь рассмотреть занесенное снегом лицо гетмана, и направился по улице Свердлова к Крещатику.

Его привлекла реклама кинотеатра.

«Пойду пока в кино», — решил он.

Все действие кинокартины происходило на курортах Крыма и Кавказа, словно у людей не было никаких забот. Только купаться в море по утрам и ходить в рестораны вечером.

Павел еще долго бродил по улицам, останавливаясь перед витринами, пританцовывая, — у него мерзли ноги.

Нужно было искать ночлег. В кармане у него осталось семьдесят два рубля — семьдесят два рубля, которые он не истратил из денег, заработанных с таким трудом и таких нужных.

Он решил пойти в гостиницу позахудалей.

Он нашел такую у самого Крещатика.

Дежурный администратор, одноглазый неряшливый человек, не глядя на Павла, равнодушно сказал:

— Паспорт.

— У меня справка.

— С такими справками не принимаем, — сказал администратор, все так же не глядя на Павла, хотя Павел только потянулся к карману, чтобы вынуть эту справку.

— Куда же мне деваться?

— Куда хотите. На вокзале можете подождать, пока придет ваш поезд.

Ему было известно даже и то, что Павлу предстояло куда-то ехать.

Хотелось есть. В камере в это время все уже поужинали пшенной кашей с растительным маслом и неторопливо пили чай.

Павел остановился у киоска, выпил стакан водки, закусил теплым пирожком с начинкой из ливера,

похожего на серую глину. Еще десяток пирожков ему завернули в скупо оторванный кусок бумаги, и он пошел по улице, раздумывая о том, где бы ему поесть в тепле.

Примораживало, холод схватывал коленки и покалывал пальцы.

Он вошел в парадное, присел на корточках в уголке у источающих сухое тепло батарей отопления, съел еще три пирожка.

Больше есть не хотелось.

Его разморило тепло и водка, которой он не пил уже давно.

Из какой-то квартиры доносилась музыка и незнакомая Павлу красивая песня.

Пела женщина.

Вероятно, по радио, но Павлу казалось, что поет эта женщина где-то совсем рядом, и он напрягал слух.

Внезапно песня умолкла, оборванная в середине музыкальной фразы.

Павел любил музыку.

В соседней камере сидел паренек Ващенко, по прозвищу Чуб. Он приехал в Киев, чтобы поступить в консерваторию. Но в консерваторию он не попал — вляпался на довольно нелепом деле с подделкой доверенности, а уже потом выяснилось, что несколько дел такого же рода тянулось за ним еще из его родных Черновиц.

Павел вспомнил, с каким волнением слушала тюрьма песни Чуба. Особенно неизвестно кем сложенную песенку «Оксана».

Оксана, Оксана, давно мы расстались,
Но, где бы я ни был, тебя я найду,
Моею любимой была и осталась,
Оксана, Оксана, к тебе я приду.
На нашей любимой, родной Украине
Подлюгам легавым не будет житья.
Тогда, возвратившись в наш город любимый,
В предутренний час обниму я тебя.

Павел думал о том, что песенку эту сложил человек, получивший по меньшей мере лет двадцать. И единственная возможность увидеться с Оксаной со-

стояла для него в том, чтобы на Украине не осталось «подлюг легавых».

Безнадежная это была песенка.

Безнадежная и наполненная большой тоской.

Вспомнилась Павлу надпись, какую он видел почти во всех камерах тюрем и бараках лагерей, где ему довелось побывать: «Будь проклят тот навеки, кто выдумал, что тюрьма исправит человека».

Был у них в камере адвокат по фамилии Кац, который любил порассуждать о пенитенциарной системе. О том, что без нее современное общество не может существовать.

Но Павлу думалось, что если человек осужден на небольшой срок, то он может в тюрьме исправиться, но когда впереди годы и годы, когда впереди нет никакой надежды, когда не на что рассчитывать, — человек как бы обрастает корой и уже совсем выключен из жизни.

Рассказывали, что некогда люди в тюрьмах отмечали крестиками каждый день, проведенный там, чтобы знать, сколько еще осталось. Павлу казалось это бессмысленным. Что подсчитывать, когда впереди еще так много...

Он задремал.

Ему снился зеленый крутой бережок, в прозрачной, прохладной воде хорошо видны рыбки, как магнитные стрелки, направленные головами в одну сторону, спину пригревает солнце. И вот он сошел в воду и пустил изготовленный из сосновой коры кораблик с двумя бумажными парусами и красным флажком. Кораблик поплыл, и чем дальше плыл он, тем больше увеличивался в размерах, и вместо парусов появились трубы, и он, Павел, почему-то оказался на этом пароходе, в шлюпке, подвешенной у борта...

Он проснулся и услышал, что недалеко от него кто-то шепчется. На ступеньках у перил стояли девушка и парень. В парадном было полутемно, и они его, очевидно, не заметили. Девушка говорила:

— ...Я забиралась на шкаф, ложилась плашмя, на живот, и там читала. И мама даже не догадывалась, какие книги я утаскивала на шкаф. Мопассан, Золя...

Я, конечно, не понимала того, о чем шла речь в этих книгах, но чувствовала, что здесь есть какая-то тайна... Там, на шкафу, я прочла почти всего Майн Рида — это был мой любимый писатель. Но вот, когда я недавно стала его перечитывать, — он мне показался таким скучным...

— Правда, — подтвердил парень. — Попробовал я перечитать «Всадника без головы»...

Который час? — подумал Павел. — Сколько я спал?

— А когда вы от этих книжек к делу перейдете? — сказал он громко и зло и добавил грязное циничное ругательство.

Девушка вздрогнула, а парень — невысокий, худощавый, в очках, из городских слабосильных студентов — медленно направился к Павлу.

— Не нужно, Алексей, — попросила девушка и схватила его за рукав. — Мне уже давно домой пора. Пойдемте.

Он неохотно взял ее под руку, и они пошли вверх по лестнице.

Что же делать? — думал Павел. — Как жить дальше?

Он съел пирожок.

Хотелось пить.

Он так и заснул на корточках.

У него затекли ноги, но вставать не хотелось.

Как же быть? — думал Павел.

Он еще долго сидел неподвижно, лениво размышляя над тем, что девушка в кинофильме совсем не похожа была на колхозницу, что у нее мягкие руки бездельницы. А парень, изображавший токаря-передовика, приехавшего отдохнуть на курорт, был больше похож на артиста, чем на токаря.

Где-то вверху щелкнула дверь, послышались шаги, и на лестнице показался парень в очках, который провожал девушку.

— Вот так бы сразу нужно было, — сказал Павел. — Только что же это ты так скоро?

— А потому так скоро, — ответил Алексей, — что еще хотел с тобой увидеться...

— Вот и увиделись.

Павел — парень едва доставал ему до плеча — нахлобучил Алексею шляпу на нос. И внезапно он почувствовал, как что-то взорвалось перед глазами, расплющенный нос забило кровью и перехватило дыхание.

— Хурр... — прорычал он и обрушил сверху кулаки, но Алексей увернулся, и сейчас же Павел ощутил такой удар под ложечку, что у него подломились ноги. Тогда он всей тяжестью, просто всем телом навалился на Алексея, упал вместе с ним на жесткий, составленный из керамической шашки пол.

Алексей не сопротивлялся. Он стукнулся затылком.

Павел поднялся на колено, сплюнул кровь.

— Сволочь, — сказал он. — Без предупреждения...

Алексей лежал неподвижно. У него свалились очки, и у них отломилась дужка.

— Вставай, — сказал Павел и приподнял Алексея за плечо.

Алексей медленно покрутил головой, нашел шляпу, потянулся к очкам, надел их, придерживая рукой за стекло с обломанной дужкой.

— Надо снегу приложить, — сказал он.

У Павла из носа падали на ватник капли крови.

— И так пройдет, — ответил Павел, запрокидывая голову.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Алексей, с трудом поднимаясь на ноги.

— Из тюрьмы вышел.

— Чего же тут сидишь?

— Негде больше. На вокзал придется пойти перебыть.

Павел подобрал пирожки, вышел на улицу, горстью зачерпнул свежего жесткого снега, провел по лицу и вытер рукавом. А затем медленно и тяжело пошел вверх по бульвару Шевченко к вокзалу.

Алексей вышел вслед за ним и повернул в противоположную сторону.

На улицах было людно, светящийся циферблат электрических часов показывал десять минут двенадцатого.

2

У самого вокзала Павла догнало такси. Из машины вышел Алексей.

— Подожди, — сказал он. — Поедем лучше ко мне.

— Поедем, — согласился Павел.

В машине они сидели молча, насупившись, каждый думал о своем.

— Я заплачу́, — сказал Павел, когда такси остановилось.

— Не нужно, — ответил Алексей.

В парадном у сетчатой двери лифта сидела на табурете пожилая лифтерша. Она поздоровалась с Алексеем и с недоумением посмотрела на Павла.

— Это ко мне, — сказал Алексей.

В лифте они поднялись на третий этаж. Алексей вынул из кармана ключ и открыл пухлую, обитую клеенкой дверь. В просторную переднюю, застеленную большим ковром, вышла худощавая пожилая женщина.

— Это ко мне товарищ, мама, — медленно и спокойно сказал Алексей. — Знакомьтесь.

— Марья Андреевна, — сказала женщина, протягивая Павлу руку и словно не замечая его измазанного кровью ватника и разбитого носа.

— Павел. — Он помолчал и добавил: — Сердюк.

— Здесь вы снимите куртку и шапку, — сказал Алексей, почему-то переходя на «вы», — затем умоетесь и будем ужинать.

У Павла в руках по-прежнему торчал пакет с пирожками. Он пытался засунуть его в карман ватника, но один пирожок выпал. Павел про себя чертыхнулся и задвинул его ногой под вешалку. Он оглянулся на Марью Андреевну. Она смотрела в сторону.

— ...Здесь — горячая, а здесь — холодная, — сказал Алексей.

Павел крепко намылил руки, затем лицо, смыл мыло ледяной водой и посмотрел на себя в большое зеркало. Оно висело над раковиной умывальника. Выглядел он довольно нелепо. Затек левый глаз, распух нос. В тюрьме кладовщик предложил ему на выбор

две гимнастерки — поношенную, так называемую «б. у.», и новую. Он выбрал новую и теперь очень пожалел об этом. Даже на Алексее она не выглядела бы слишком свободной. При попытке застегнуть воротник отлетела пуговица, а рукава кончались чуть ли не у локтей.

В большой — с четырьмя окнами — комнате, куда проводил его Алексей, стены от пола на четверть были обшиты полированным деревом, часть стены занимал плоский буфет. За стеклянными дверцами сверкала посуда. Посреди комнаты — круглый стол и легкие стулья с удивительно тонкими ножками. В одном углу — коричневое пианино, в другом — небольшой, тоже круглый полированный столик, пухлые кресла и пухлый коротенький — на двух человек — диванчик.

В комнате была Марья Андреевна и пожилая седая женщина совершенно невероятной толщины, ростом чуть ли не с Павла.

— Олимпиада Андреевна, — басом назвала она себя, протягивая Павлу сильную и жесткую руку.

— Моя тетя, — сказал Алексей.

— Выпьете водки? — спросила Марья Андреевна, когда они сели за стол.

— Да... Немного... — нерешительно ответил Павел.

— Вот на лимонной цедре, а вот на калгане, — указала Марья Андреевна на два высоких и узких хрустальных графина. — Сейчас я вам налью.

Устраиваясь удобнее у стола, Павел взялся рукой за покрытый скатертью край и вдруг с испугом почувствовал, что стол быстро и легко поворачивается, и увидел, что тарелки сидевшей слева от него Олимпиады Андреевны очутились перед ним.

— Ничего, — спокойно сказала Марья Андреевна. — Это у нас стол такой — поворачивающийся. Чтобы каждому было удобно достать то, что ему захочется. Вот так, например...

Легким движением она повернула стол и предложила Павлу:

— Намажьте себе хлеб маслом. Возьмите сардин-

ки. Вы закусываете грибами?.. — Она еще подвинула стол. — Так вот, возьмите себе грибов...

Павел держал в руке тарелку и неловко нанизывал на вилку скользкие, упругие грибы.

— А теперь сами и водки себе налейте.

Она снова повернула стол, и перед Павлом оказались два графина с водкой и крохотная пузатая чарка. Водки налили себе Олимпиада Андреевна и Алексей, а Марья Андреевна наполнила такую же чарку минеральной водой.

— За ваше здоровье, — сказал Павел, опрокидывая чарку.

Олимпиада Андреевна сейчас же снова ее наполнила.

Перед тарелкой Павла лежало три вилки. Он выбрал поменьше, нанизал на нее рыбку, закусил. Затем снова выпил и снова прожевал рыбку.

Павел взглянул на Алексея. У того с лица не сходила широкая, некрасивая улыбка.

— Теперь попробуйте калгановки, — предложил он Павлу.

А хороша водка, — думал Павел. — Только интересно, сколько же это чарочек таких нужно выпить, чтобы опорожнить графин? И пить ими противно. Вот если бы стакан...

— Берите, пожалуйста, маслины, — предложила Марья Андреевна.

— Я не люблю маслин, — сказал Павел. Он пробовал их раз в жизни при обстоятельствах, о которых сейчас вспоминать ему не хотелось. Тогда они ему очень не понравились.

— Тогда вот, пожалуйста, язык.

За кого они меня принимают? — думал Павел. — Почему ничего не спрашивают? Что, к ним каждый вечер приходят парни с расквашенными носами?

— А сегодня Кузя, — между тем рассказывала Марья Андреевна, обращаясь к Алексею и сразу же пояснив для Павла: — (Кузя — это наш кот) сунул лапу в аквариум и размешивает там воду, словно чай. Опять хотел рыбку добыть.

Павел заметил, как Алексей посмотрел на него, а затем на Марью Андреевну и виновато улыбнулся.

— Я сегодня из тюрьмы вышел, — неожиданно и невпопад прервал ее Павел и отложил вилку.

— Очень хорошо, — рассеянно, не придавая словам своим никакого значения, ответила Марья Андреевна. — Ну что ж, будем чай пить?

Марья Андреевна и Олимпиада Андреевна быстро убрали со стола. Огромная Олимпиада Андреевна двигалась удивительно легко.

Вот уж кто похож на воздушный шар, — подумал Павел.

На столе появились вазочки с вареньем, стаканы, чайник, сахар в замысловатой хрустальной сахарнице.

— Положить вам варенье из помидоров? — спросила у Павла Олимпиада Андреевна.

— Положите.

Марья Андреевна и Алексей понимающе переглянулись.

Олимпиада Андреевна положила себе и Павлу красной студенистой массы.

Странное это было варенье. По вкусу оно больше всего напоминало густо посыпанные сахаром помидоры.

— Нравится? — спросила Олимпиада Андреевна.

— Нравится, — неуверенно ответил Павел.

После ужина Алексей проводил Павла в небольшую комнату, стены которой были уставлены книжными шкафами, перед окном — письменный стол, в стороне, на единственном свободном от книг месте, — небольшая тахта.

— Сейчас я принесу белье, и мы вам тут постелем, — сказал Алексей. — Если захотите читать — вот лампа. — Он указал на небольшую лампу, прикрепленную над тахтой. — Встаем мы рано — в половине восьмого. Но вы, если хотите, можете встать позже.

Когда Павел остался один, он посмотрел на книги, тесными рядами расставленные на полках, — главным

образом это были книги по химии с непонятными названиями, — вынул одну, прочел несколько слов: «...этим и объясняется общеизвестный факт увеличения скорости реакции в С△E/RT раз...», поставил книгу на место, разделся и лег спать.

3

Больше всего в жизни Павел боялся непонятного. И вместе с тем непонятное всегда имело над ним какую-то особенную власть — манило и тревожило, побуждало к неожиданным действиям.

Этим, очевидно, объяснялось и его восхищение Виктором.

Павлу вспомнился опасный блеск суженных глаз Виктора, его чуть мурлыкающий голос, седые пряди на висках и маленькие детские руки.

Однажды они шли по улице. Павел поднял длинный, сантиметров в двадцать пять, гвоздь. Виктор взял у него гвоздь, молча вынул из кармана чистый, заглаженный на складках носовой платок и протянул его Павлу.

— Что такое? — удивился Павел.

— Пощупай.

Павел развернул платок, сжал его в руке и возвратил Виктору.

Виктор сложил платок вчетверо, положил его на правую ладонь, поставил гвоздь шляпкой на платок, резко взмахнул рукой, и внезапно Павел увидел, что огромный гвоздь почти по самую шляпку вонзился в доску забора, перед которым они остановились. А доска была толщиной чуть ли не в два пальца.

— Теперь вынь гвоздь, — предложил Виктор.

Павел потянул гвоздь что есть силы. Это было совершенно бессмысленно, — чтобы так вколотить его, потребовалось бы по меньшей мере пять добрых ударов молотком.

После Павел пришел к забору один. С собой он захватил клещи. Гвоздь отвратительно визжал; чтобы его вытащить, пришлось приложить все силы.

Непонятно. Все это было непонятно. И сейчас, как

тогда, у него звенело в ушах, а во рту появился какой-то металлический привкус.

Когда он вышел на улицу и оглянулся, он увидел, что на стене у парадной двери висит мраморная доска с высеченными на ней золотыми буквами: «В этом доме с 1937 по 1941 г. и с 1945 по 1947 г. жил выдающийся ученый, академик Константин Павлович Вязмитин».

Фамилия Алексея — Вязмитин. Это его отец. Марья Андреевна — жена. Но почему они Павла не расспрашивали? За кого они его приняли?

После завтрака Марья Андреевна спросила:

— Что же вы собираетесь сегодня делать?

— Попробую устроиться на работу, — ответил Павел.

— Хорошо, — непонятно сказала Марья Андреевна. — Пока у вас все наладится и выяснится, жить вы можете у нас. Вы нас ничуть не стесните. Как видите, квартира у нас большая, людей немного. А условие я вам поставлю только одно: не опаздывать к обеду. Обедаем мы в шесть часов. Но если придете раньше — пожалуйста...

Черт знает что, — думал Павел. — Рассказал ли хоть этот Алексей о драке? Наверное, нет. Нужно скорее устраиваться на работу — и куда-нибудь в общежитие. Это какие-то сумасшедшие.

Ночью Павел представлял себе, как, очевидно, не спят Алексей и эта огромная тетка, Олимпиада Андреевна, как они, наверное, прислушиваются — не поднялся ли Павел, не обшаривает ли он ящики, не крадется ли в их комнаты с ножом в руках. Еще бы, из тюрьмы вышел с подбитым глазом, бандит.

Что Марья Андреевна может чего-либо бояться, ему и не пришло в голову.

Но на деле боялся он, а не они. Он, конечно, понимал, что Олимпиада Андреевна не станет прокрадываться в его комнату с ножом в зубах, чтобы зарезать его, но еще страшнее было, когда она утром, не спрашивая, почему у него разбито лицо, отозвала его к окну, взяла бутылочку с зеленкой и смазала ссадины.

Когда он одевался в передней, он посмотрел на себя в зеркало и сейчас же отвел взгляд.

«А что, если туда больше не ходить?» — думал Павел, хорошо зная, что он вернется и что не отступит до тех пор, пока не поймет, в чем тут дело.

Троллейбусом он доехал до завода на окраине города. Сотрудник отдела кадров, величественный человек с чисто промытыми морщинами на большом породистом лице, посмотрел на Павла холодно и недружелюбно.

— Упал? — спросил он.

— Упал, — согласился Павел.

— Почему-то все пьяные участники дебошей и драк обязательно падают на лицо, — заметил работник отдела кадров. — Но мы хулиганов на работу не принимаем. У нас своих хватает.

На стене, недалеко от входа на завод, висела огромная доска, на которой были наклеены небольшие листочки. Все они начинались словом «Требуются». Требовались инженеры и врачи, разнорабочие и печатники, уборщицы и доноры, плотники и техники по радиоаппаратуре. Иногородним предлагались общежития, всем обещали всевозможные преимущества и льготы.

Павел выбрал строительное управление «Киевжилстроя». Здесь в отделе кадров толкалось столько людей, что на его разукрашенную зеленкой физиономию никто не обратил внимания. Начальник отдела кадров повертел в руках справку, полученную Павлом в тюрьме, и сказал:

— Сначала нужно получить паспорт.

— Так мне же его не дадут, пока я не устроюсь на работу.

— А на работу вы не устроитесь до тех пор, пока не получите паспорта, — возразил начальник отдела кадров и сейчас же занялся другим человеком — маленькой, худощавой девушкой с удивительно располагающей улыбкой. Она почему-то хотела стать каменщиком.

За обедом Павел, глядя вниз, рассказал о своих неудачах.

— Ничего страшного, — ответила Марья Андреевна. — У вас какое образование?

— Десять классов... не закончил.

— Пока что надо было бы заняться учебой... Вы какой язык учили в школе?

— Немецкий.

Подходила к концу неделя с тех пор, как Павел попал в дом Вязмитиных. Постепенно он привыкал к порядкам этого дома, хотя они по-прежнему казались ему очень странными. Взять хоть то, что готовили, убирали и стирали Марья Андреевна и Олимпиада Андреевна, а ему и Алексею оставалось только благодарить.

В квартире было множество всяких приспособлений для того, чтобы облегчить домашний труд, — пылесос, электрический полотер, стиральная машина, электрические мясорубки и еще какие-то приспособления, в назначении которых Павел пока не разобрался.

Вместе с Алексеем он делал по утрам зарядку с гантелями, прыгал через веревочку, начал тренироваться в боксе.

— В институте учитесь? — спросил он у Алексея.

— Нет... работаю.

Павел был очень удивлен, когда узнал, что Алексей — кандидат химических наук.

— А знаете что, Павел, — предложил ему Алексей. — В моей лаборатории нужен на месяц технический работник. Работа, конечно, не очень интересная... Но, может быть, пока не найдете лучшей, попробуете?

Технический работник — это было слишком громко сказано. Просто — ушла в отпуск уборщица. Павел вытирал столы, мыл пробирки. Но самым трудным оказалось мыть полы. После этого болела поясница и ныло в затылке. Он, здоровый парень, значительно охотней отнес бы на себе шкаф в другой конец города. Ему казалось, что сотрудники лаборатории над ним посмеиваются.

Однажды в лаборатории появилось несколько человек — ученых из Академии наук. Знакомя их с сотрудниками, Алексей, неловко улыбаясь, представил Павла как лаборанта.

— А это что у вас? — показывая на разные приборы, допытывалась у Павла пожилая и дотошная ученая дама.

Он ничего не мог ответить. При Павле же Алексею сделали замечание — что же это у вас лаборанты так плохо подготовлены?

— Придется все-таки подтянуться по химии, — сказал дома Алексей.

— По химии? — нахмурился Павел. — Я ее терпеть не могу. Еще со школы...

— А чем бы вы хотели заниматься? — спросила присутствовавшая при этом разговоре Марья Андреевна.

— Не знаю, — ответил Павел. Подумал и повторил: — Не знаю.

И все же он уселся за учебник. Химия, по которой у него никогда не было отметки выше тройки, сейчас показалась ему еще менее интересной, чем в школе. Но самого Павла удивляли его успехи в немецком языке. Немецким языком вдруг решила с ним заниматься Марья Андреевна. Начала она это довольно просто и решительно: за обедом объявила, что отныне все они в обеденное время будут разговаривать по-немецки, чтобы и самим вспомнить язык и Павла подтянуть.

Павел боялся, что он ничего не будет понимать. Но понимал он довольно сносно. Оказалось, что у него есть даже некоторый, правда очень небольшой, запас слов. А произношение было ужасное, и правильному произношению его стала учить Олимпиада Андреевна.

Алексей только улыбался своей некрасивой улыбкой.

Когда Павел получил зарплату за две недели, оказалось, что она еще меньше того минимума, на который он рассчитывал. На руки ему дали сто восемьдесят два рубля.

Ну нет, на такие деньги не очень разгуляешься, — решил Павел.

— Завтра я на работу не выйду, — сказал он Алексею. — Нужно все-таки искать настоящее дело.

В предыдущие дни Алексея и Павла увозила в лабораторию автомашина, которая приезжала каждое утро за Олимпиадой Андреевной. Она работала главным врачом детской больницы. Сегодня Павел сел в трамвай и поехал в речной порт. Там нужны были грузчики.

— Мы вас возьмем, — сказали ему. — Но сначала нужно, чтобы вы получили паспорт.

А что, если просто стать возле мебельного магазина, — думал Павел. — Покупают же люди мебель. А я поднесу на машину. Потом в квартиру.

Он выбрал самый большой магазин на Крещатике с роскошными зеркальными витринами, за которыми стояла изящная полированная мебель (в магазине в те дни продавали мебель поплоше). К сожалению, большинство покупателей оплачивало доставку мебели прямо в магазине. При нем имелась небольшая, но предприимчивая бригада грузчиков.

В одиночку шкафа не утащить. Павел стал искать себе напарника. Нужно было позаботиться и о знакомстве с шофером такси, который вместе с ними отвозил бы купленную мебель.

Напарника Павел отыскал. Это был высокий и худой человек лет под шестьдесят, стройный, как юноша, и с особенной посадкой головы, какая бывает только у людей, долго прослуживших в военном флоте. У него были честные трезвые глаза и очень достойная манера предлагать свою помощь.

Павел слышал, как он обратился к какой-то женщине:

— Не поднести ли вам тумбочку?

Спросить об этом он сумел так, что женщина, ответив «нет, я уже оплатила доставку», словно почувствовала себя виноватой.

Павел пригласил его в чайную.

— Выпьем для разговора, — предложил он.

Старик выпил водку маленькими, медленными глотками, и вдруг Павел увидел, что человек, который только что был совершенно трезв, неверным пьяным движением смахнул со стола стакан, грязно выругался, попытался запеть, уронил голову на стол и немедленно заснул.

Разбудить его было совсем не просто. Он мотал головой, лез целоваться, уговаривал Павла сейчас же пойти к нему домой.

— У меня такая семья... — говорил он, с трудом ворочая языком, — такая семья... Такая жена... Такая дочка... Только ни-ни... Красавица... Только ни-ни...

Павел расплатился и с трудом вывел его на улицу. Старик протрезвел не скоро, но так же внезапно, как и опьянел. Лишь глаза у него покраснели и тряслась голова.

— Ладно, — сказал он. — Попробуем вместе. Тут и возле вокзала.

Им везло. Сначала они уговорили нанять их одну толстуху, которая купила шкаф и приехала за ним на грузовике. Потом отнесли на шестой этаж диван в квартиру, расположенную в том же доме, где был мебельный магазин. К ним присоединился еще один профессиональный грузчик — коренастый парень с широкой улыбкой, какая бывает постоянно на иных лицах, — так, от здоровья и молодой, нерастраченной силы. У него был выходной день (постоянно он работал в порту), и они доставили втроем два пианино и шесть книжных шкафов. Еще лучше пошло дело на следующий день.

...Павел долго, выписывая слово за словом, составлял на бумаге эту фразу. Он хотел, чтобы она была красивой и имела как можно больше торжественных звучных немецких слов. И вот, наконец, он сказал ее:

— Ich danke Ihnen, verehrte Марья Андреевна, für die aufrichtige väterliche Sorge, die Sie mir gegenüber gezeigt haben, und darüber denkend, daß ich auf diese Weise vielleicht die Last, die Ihnen auf den Schultern zu tragen gezwungen sind, erleichtere, möchte ich mit

dieser Tausend Rubel, die ich ehrlich verdient habe, den Wohlstand Ihrer Familie unterstützen [1].

Марья Андреевна взяла деньги, положила их в ящик буфета и ответила, на этот раз даже не заметив Павлу, что следовало сказать не «Ihnen», а «Sie» [2]:

— Es ist mir sehr angenehm. Dieses Geld wird dort liegen, wo auch unsere Kapitale aufbewahrt werden. Falls Sie es brauchen würden, können Sie es zu jeder Zeit dort haben [3].

Бригада его увеличивалась. Их было уже пять человек. Они успешно конкурировали с бригадой, состоящей на службе при магазине, обставляли носильщиков при вокзале. Весь заработок они делили между собой поровну.

Так благополучно миновали две недели. Но однажды к Павлу подошел пожилой, со шрамом на щеке грузчик из бригады при магазине и, не глядя ему в глаза, предложил:

— Чтоб и духа твоего сегодня же здесь не было! Иначе плохо будет.

— Не пугай. Пуганый, — ответил Павел.

Спустя некоторое время Павел увидел, что к магазину подошел старшина милиции. Грузчик со шрамом что-то пошептал ему и указал глазами на Павла.

— Будьте так любезны, — сказал милиционер Павлу, — предъявите ваши документы.

Павел протянул ему справку.

Милиционер посмотрел ее, аккуратно сложил, спрятал в планшет.

---

[1] Я благодарю Вас, уважаемая Марья Андреевна, за ту истинно отцовскую заботу, которую Вы выказали по отношению ко мне, и, думая о том, что я таким образом, может быть, облегчу груз, который Вам вынуждены нести на плечах, я хотел бы этой тысячею рублей, которые я честно заработал, поддержать благосостояние вашей семьи.

[2] Не «Вам», а «Вы».

[3] Мне это очень приятно. Деньги будут лежать там же, где лежат остальные наши деньги. Когда они вам понадобятся, вы сможете их там взять в любое время.

— Будьте так любезны, пройдемте со мной.

В отделении милиции Павел подписал обязательство в течение двадцати четырех часов выехать из Киева.

4

От страха у нее болел живот.

Она сидела на самом краешке кресла, а мимо, в обитые блестящим дерматином высокие двери, быстро проходили люди с газетными листами в руках или с папками, возвращались, снова проходили, и никто из них не замечал маленькой белокурой девчушки с серыми невидящими глазами.

Высокие старинные часы с резными стрелками шепотом отщелкивали время, на столе у секретаря почти непрерывно звонили четыре телефона, — Лена удивлялась, как эта молоденькая и очень красивая девушка с низким гладким лбом и полными чувственными губами различает, какой же из них звонит.

«Занят, — говорила она время от времени. — Позвоните позже». Или: «Сейчас соединю».

Лены она не замечала.

Иногда в приемной раздавался негромкий сигнал, похожий по тембру на гудок электровоза, и тогда секретарь быстро и бесшумно проскальзывала в кабинет, сейчас же появлялась снова, звонила по телефону, кого-то вызывала.

Из кабинета торопливо вышел щуплый человек с изжелта-смуглым лицом, одетый в замшевую малиновую куртку с множеством блестящих застежек-молний.

Он направился к выходу, быстро вернулся к Лене, спросил:

— Волнуетесь? — и, не дожидаясь ответа, предложил: — Курите! .. — дал Лене папиросу, зажег спичку. Лена прикурила, и человек исчез.

Лена не курила никогда в жизни. Она не знала, что делать с папиросой. Поискала глазами пепельницу, но в приемной ее не было, вокруг сверкала лаком полированная мебель, начищенный паркетный пол.

Из двери кабинета снова вышла секретарь.

— Пройдите, — вежливо и холодно предложила она Лене, — Дмитрий Владимирович вас примет.

И Лена с папиросой в руке вошла в кабинет.

— Здравствуйте. Садитесь, — пригласил ответственный редактор газеты Дмитрий Владимирович Сергиенко. — Вы курите? — спросил он неодобрительно.

— Нет... Я... Это мне дали...

— Что вам дали?

— Папиросу, — выпалила Лена.

Дмитрий Владимирович пожал плечами.

— Так, значит, вы получили назначение в республиканскую газету? — перешел он к делу, с сомнением посмотрев на маленькую, испуганную девочку.

— Да.

— А что же вы умеете? Какая область нашей работы больше всего привлекала вас в университете?

— Я... пробовала очерки... — нерешительно ответила Лена.

— А стихов вы не писали?

— Писала, — сказала Лена. — Их даже печатали в нашей университетской газете.

— Боюсь, что вы нам не подойдете, — решил Дмитрий Владимирович.

Лена поднялась и сдавленным горловым голосом спросила:

— А как же... А куда же мне?

— Мы избегаем брать на работу людей, которые пишут стихи, — безжалостно продолжал Дмитрий Владимирович. — Редакции нужны люди, способные трезво и четко рассказывать о событиях, происходящих в жизни... Люди, способные со скрупулезной точностью излагать и оценивать факты. А поэты в этом отношении — очень ненадежный народ. Обязательно что-нибудь нафантазируют, переврут...

Вошла секретарь, бесшумно положила на стол свежеоттиснутую газетную полосу.

— Одну минутку, — сказал Дмитрий Владимирович, отошел от стола подальше, внимательно посмотрел на лист и недовольно хмыкнул.

Он посмотрел на Лену. Дрожащими пальцами

с заусеницами, как у школьницы, она разорвала папиросу, осыпала себя табаком и вдруг стала неудержимо чихать.

Дмитрий Владимирович нахмурился, но не удержался — рассмеялся сочно и заразительно.

— Дайте-ка ваше направление, — сказал он.

Лена вынула из сумочки сложенный вчетверо лист бумаги.

— И диплом.

Лена дала диплом.

— Значит, с отличием закончили. Это хорошо. И вот очерки ваши хвалят... — Он помолчал. — Ну что ж, ладно. Мы вас примем. Хоть вообще-то я считаю, что молодому журналисту следует начинать работу не в республиканской, а в районной или многотиражной газете. Примем и работу дадим интересную. Очень ответственную.

Дмитрий Владимирович встал из-за стола и сказал громко и необыкновенно серьезно:

— Будете работать в отделе писем! Поздравляю вас! — Он пожал Лене руку.

— Спасибо, — ответила Лена так благодарно и так искренне, что в глазах Дмитрия Владимировича что-то дрогнуло.

У него сегодня был тяжелый день — обычный день редактора республиканской газеты. И когда уже за полночь он подписал четвертую полосу, он, как это иногда бывает, никак не мог вспомнить, что же это было сегодня... Что-то хорошее... Что-то ясное и милое... Что же это было?

И вдруг вспомнил: ах, да. Эта девушка... Как же ее зовут? Лена... Лена Санькина... Вот только фамилия у нее... Как-то не подходит такой девушке. И всетаки жаль, если она скоро ее переменит... Что-то в ней есть... Что-то в ней есть действительно очень ясное и очень милое...

...Если бы Лену спросили о том, сколько лет заведующему отделом писем Григорию Леонтьевичу, она бы не смогла ответить. Это был светловолосый, необыкновенно аккуратный человек в отутюженном костюме, гладко причесанный, с чистыми, ровно подре-

занными ногтями на тонких и ровных пальцах, необыкновенно спокойный и молчаливый.

Лицо его, с высоким лбом, с четко очерченными губами, постоянно сохраняло выражение твердости и холодной вдумчивости. По установившейся у нее привычке Лена отметила про себя, что Григорий Леонтьевич складывает пальцы так, что большой палец левой руки оказывается сверху.

Сколько ему лет? Лена думала, что меньше тридцати, но однажды она услышала, как он заметил о какой-то газете, что такую верстку он применял еще в тридцать пятом году, когда был выпускающим, и выходило, что ему никак не меньше пятидесяти.

— Главное — четкость и аккуратность, — требовал он от Лены.

Но очень трудно быть четкой и аккуратной, когда каждая минута рабочего времени заполнена до края.

В редакцию почту приносили три раза в день. И каждый раз — сотни писем.

На карточке, прикрепленной к каждому письму, нужно было поставить: порядковый номер, дату, фамилию, имя и отчество автора письма. Указать точный адрес. Цифрой проставить условное обозначение области. Цифрой обозначить и тему письма.

Содержание писем подразделялось в редакции на двадцать тем — партийная и комсомольская жизнь, пропаганда, работа промышленности и транспорта, сельское хозяйство, стихи, рассказы, очерки и фельетоны, работа торговых организаций, культурно-просветительная работа, нарушения советских законов, сигналы о зажиме критики и т. д.

Кроме этого, условным цифровым шифром нужно было обозначить фамилию автора письма и коротко, буквально в нескольких словах, изложить содержание.

В отделе писем работал только один мужчина — заведующий Григорий Леонтьевич.

Лена подружилась с сотрудницами отдела.

Работать ей было трудно. За то время, пока она оформляла одно письмо, ее товарки успевали оформить пять-шесть. Особенно удивлялась Лена тому, как быстро работает Юлия — пухлая, добродушная, очень

неторопливая женщина. Она медленно брала письмо в руки, медленно опускала перо в чернильницу и все же обрабатывала писем больше всех остальных.

По временам в отдел писем заходил тот странный человек, который угостил ее папиросой в приемной редактора. Это был очеркист Валентин Николаевич Ермак. С самого начала он почему-то стал покровительствовать Лене, знакомить ее с работниками редакции.

После заведующего отделом писем это был первый человек, который принимал Лену всерьез, расспрашивал ее о работе, о том, что она читает, какое впечатление произвела на нее та или другая статья, и Лене это было очень приятно.

Впрочем, однажды она на него страшно обиделась. Ермак подвел ее в коридоре к толстому, слонообразному человеку и сказал:

— Знакомьтесь — это ответственный секретарь, человек, от которого зависит все ваше будущее, или, проще говоря, весь ваш гонорар. А это, — сказал он, показывая на Лену, — наш новый сотрудник. Леночка, дай дяде ручку.

Лена покраснела и действительно протянула руку ковшиком.

Первое время Лена читала каждое полученное редакцией письмо с таким любопытством, словно оно было адресовано ей лично, с восхищением думая о том, как повезло ей, что она работает в газете, получающей столько писем, пользующейся таким огромным авторитетом.

Но постепенно интерес этого стал утрачиваться. Теперь уже, когда в письме сообщалось, что в рабочей столовой грязно и нет свежих овощей, она не возмущалась, как прежде, а быстро ставила на карточке цифру «7», обозначавшую бытовое обслуживание трудящихся, и письмо поступало в отдел советского строительства.

Попадались странные письма. От графоманов, от создателей «вечного двигателя».

Восьмидесятилетний старик, полтавский пасечник,

предложил конструкцию вечного двигателя, над которым, по его словам, он думал три дня и три ночи.

Неверным карандашом он изобразил его на бумаге.

Двигатель представлял собой наклонно поставленную дощечку с отверстием в верхнем конце. Возле отверстия — магнит. По замыслу пасечника, металлический шарик, пущенный вверх по наклонной плоскости, должен был проваливаться в отверстие, скатываться вниз к основанию поставленной под углом дощечки, снова притягиваться магнитом, проваливаться в отверстие, и так без конца.

Лена поставила «№ 3» — «о работе промышленности и транспорта» и отнесла письмо в промышленный отдел.

Заведующий отделом Иван Данилович Бошко — с большой лысой головой, с опущенными книзу темными усами, с темными глазами, постоянно прищуренными и быстрыми, слегка шамкая, спросил:

— А может быть осуществлен такой двигатель?

— Не знаю.

— Но вы хоть посмотрели, что предлагает этот старик?

— Посмотрела. По-моему, шарик и в самом деле будет катиться взад и вперед. Только это не двигатель — ведь им ничего нельзя двигать.

— Нет, почему же, — возразил Бошко. — Можно было бы так устроить эту машину, что шарик производил бы полезную работу. Ну, скажем, шариковую мельницу, в которой двигались бы сотни тысяч таких шариков. Но дело не в этом. В школе-то вы учили закон сохранения энергии? Где-то он здесь нарушен. Но где? Что же это вы не разобрались? Так вот, — решил Бошко, — возьмите это письмо, разберитесь, в чем тут штука, и напишите ответ автору.

Лена выяснила из энциклопедии, что «принципиальная невозможность В. Д. вытекает из установленного в 1748 М. В. Ломоносовым всеобщего закона природы — закона сохранения вещества и движения и вытекающего отсюда закона сохранения и превращения энергии», но почему шарик не будет катиться, понять не могла.

На следующий день она купила в магазине физических приборов магнит, из линейки соорудила наклонную плоскость, а вместо шарика решила использовать булавку. И сразу все стало понятно. Шарик никак не мог провалиться в отверстие. Он должен был обязательно пристать к магниту.

Лена написала об этом подробный ответ автору проекта и отнесла письмо заведующему промышленным отделом.

Бошко прочел письмо, одобрительно покивал и, подавив улыбку, заметил, что еще в восемнадцатом столетии Французская академия наук приняла постановление не рассматривать проектов вечных двигателей. С тех пор редакции не отвечают на такие письма.

...Так прошло сто лет.

Во всяком случае через три с чем-то недели на расспросы домашних Лена отвечала, что чувствует себя в редакции так хорошо и уверенно, словно проработала там сто лет.

Ее уже назначали «свежей головой» — дежурным, который прочитывает газетные полосы после всех, «на свежую голову» — и даже поручили сделать обзор газеты на летучке. Так называли короткое совещание, на котором дважды в неделю обсуждали выпущенные номера.

Все свое выступление Лена написала на бумаге. Обыкновенно летучка продолжалась тридцать—сорок минут. Лена читала обзор почти два часа. Ее не перебивали — первое выступление.

Вечером ее пригласил в свой кабинет Григорий Леонтьевич.

— Ну вот, — сказал он строго, — вы уже полноправный член нашего коллектива. Вы делаете подробные обзоры статей, критикуете других, а следовательно, сами уже знаете, как нужно писать в газету. Мы решили дать вам первое ответственное поручение. Но сначала прочтите это письмо и скажите, что вы об этом думаете.

Письмо было написано на мятом, с пятнами листе грубой серой бумаги карандашом, корявыми буквами, почти без знаков препинания: «На нашей фабрике Крупская ворують машинами а директор Максим Иванович взял сибе без дениг костюм. Когда придете на фабрику миня не спрашивайте бо вбють Маша Крапка».

— Крапка — это по-украински точка, — сказала Лена, когда прочла письмо. — Может быть, это фамилия, а может, так эта Маша обозначила, что письмо закончено.

— Так, — согласился Григорий Леонтьевич. — И вам предстоит разобраться во всем этом. Но учтите — нужно быть очень осторожной, чтобы не разоблачить нечаянно эту Машу, если она действительно существует... Считаю не лишним еще раз напомнить вам, что раскрытие имени автора письма, поступившего в редакцию, карается по закону. Такая статья есть в нашем уголовном кодексе. Будьте очень осторожны. И начать, я думаю, вам следовало бы с того единственного факта, о котором упоминается в письме, — с костюма, бесплатно взятого директором. Если этот факт подтвердится, то тогда можно будет уже с бо́льшим доверием отнестись ко всему остальному...

— Хорошо, — согласилась Лена.

5

Секретарь директора швейной фабрики встретила Лену враждебно.

— Что, не видите? — сказала она. — Максим Иванович принимает от двух до четырех. — И она показала на табличку на двери.

— Вы ему все-таки скажите обо мне, и думаю, что он меня примет, — довольно самоуверенно возразила Лена. — Я из редакции!

Она не без гордости вынула из сумочки красную книжечку — редакционное удостоверение.

— Хорошо, я сейчас доложу.

Спустя минуту секретарь возвратилась и хмуро сказала:

— Входите.

Когда Лена вошла в кабинет, она увидела, что у самого окна перед большой, вертикально поставленной чертежной доской с противовесами, похожими на те, что бывают на железнодорожных стрелках, спиной к ней стоит высокий человек и что-то вычерчивает на приколотом к доске листе бумаги.

Лена остановилась у порога.

— Посидите минутку, я сейчас освобожусь, — предложил ей человек, даже не оглядываясь.

Лена подошла к столу.

— Ну вот, теперь я к вашим услугам, — сказал некоторое время спустя директор фабрики. — Чем могу быть полезен?

У него были слегка вьющиеся седоватые волосы, и говорил он голосом очень странного, но звучного и приятного грудного тембра.

— Вы взяли для себя на фабрике костюм без денег? — спросила Лена.

— Да, взял, — спокойно ответил директор. — Это все, что вы хотели выяснить? Тогда позвольте пожелать вам всего наилучшего.

— До свидания, — ответила Лена, повернулась, пошла к выходу, но вдруг остановилась и снова обратилась к директору фабрики, который уже вернулся к своей доске: — Как же так?

— А очень просто, — ответил Максим Иванович. — Я и мои сотрудники имеем право брать на фабрике экспериментальные костюмы. А заплатить за них можно позже. Костюм, о котором вы спрашиваете, — вот он, на мне, — уже давно оплачен. Теперь вам все ясно?

— Да, — сказала Лена, направилась к выходу, но снова остановилась и нерешительно попросила: — Это можно проверить? — Ей было очень неловко, что она словно бы не доверяет его словам. — Что оплачен?

— Можно, — согласился директор.

Он подошел к столу, рядом с которым на полированной тумбочке стоял длинный, не виданный Леной телефон с множеством рычажков и глазков, снял трубку и предложил заместителю главного бухгалтера

занести в его кабинет подшивки ведомостей и учетную книгу.

Лену удивила скорость, с какой была исполнена его просьба. Буквально сейчас же появился человек, который положил на стол большую стопку папок с круглыми дырками в корешках и сложными никелированными замками.

— Найдите копию ведомости от четырнадцатого февраля, — властно предложил директор фабрики.

Заместитель главного бухгалтера порылся в одной из папок, раскрыл ее и положил на стол.

— Вот, пожалуйста, — сказал Максим Иванович. — Позавчера уже приходили смотреть эту ведомость из нашего комитета профсоюза, вчера — из госконтроля, а сегодня — из редакции. Вы, Федор Степанович, больше не забирайте ее. Я уверен, что завтра придут еще и из милиции, так пусть будет под рукой.

Лена заглянула в папку. Страницы сверху донизу были заполнены колонками цифр, и, если бы даже деньги не были уплачены, она бы едва ли разобралась в этом.

— Теперь уже совсем все? — спросил у нее директор.

— Да, спасибо.

Когда она открыла дверь, Максим Иванович внезапно остановил ее:

— Простите, пожалуйста, я хотел узнать у вас вот какую штуку... — Он замялся. — Как вас зовут?

— Лена.

— А по батюшке?

— Васильевна.

— Так вот, Елена Васильевна, я хотел спросить у вас... Вы что, только жалобы проверяете или статью написать тоже можете?

— Могу, конечно, — сказала Лена.

— Я как раз сам собирался в редакцию обратиться. Тут на нашей фабрике одно очень интересное дело начато...

Он на минуту задумался, критически посмотрел на Лену, как бы взвешивая, сможет ли она понять, что это за дело.

— Ну вот, чтобы вам было понятнее, скажите, как шили ваше платье?

Лена замялась.

— Мы с мамой купили его в магазине, и пришлось только немного подкоротить...

Максим Иванович осторожно, так, чтобы не обидеть Лену, улыбнулся.

— Но технологию его изготовления вы себе представляете?

— Технологию?.. Н-не знаю... Сначала скроили... а потом нитками сшили части.

— Верно. Но вы представляете себе, какая это большая и кропотливая работа? — Он помолчал, как человек, который смакует про себя ответ на интересную загадку. — Так вот, мы решили больше платья не шить, а клеить их. Собственно, это не наше предложение, клей такой изобрел способный молодой ученый — Вязмитин, а мы ему только помогаем. Он сейчас проводит эксперименты на нашей фабрике. А я вот здесь, — он показал на доску, — разрабатываю специальные шаблоны... Но вы все это лучше поймете, если посмотрите. Пройдемте.

Он пропустил Лену вперед и повел ее коридорами и неожиданными лестницами в другой корпус.

— И получаются такие платья? Держится клей? — спросила Лена.

Максим Иванович улыбнулся чуть смущенно.

— Во Франции в тысяча восемьсот двадцать девятом году изобретатель Тимонье сконструировал одну из первых швейных машин. Она сшивала ткани однониточным цепным стежком. Наряды, сшитые на швейной машине, вдруг стали очень модными. И вот на одном пышном балу во дворце Карла X с одной из дам случился конфуз. Кто-то нечаянно наступил на кончик оборвавшейся нитки. А дама танцевала. Нитка вытягивалась и вытягивалась, и внезапно платье этой модницы распалось на части.

Лена рассмеялась.

— К сожалению, мы еще не отработали точного термического режима. Иногда бывает, что после стирки некоторые швы расходятся.

В большой комнате со столами, уставленными химической посудой, с непонятными машинами стоял не сильный, но ясно ощутимый запах химических реактивов.

— Видите, Алексей Константинович, — громко и торжественно обратился директор фабрики к невысокому худощавому парню в очках, — нашим делом уже заинтересовались газеты. Знакомьтесь, пожалуйста, — это корреспондент Елена Васильевна...

— Санькина, — сказала Лена.

— Как? — переспросил Максим Иванович.

— Санькина, — так же негромко повторила Лена. Она не любила повторять свою фамилию.

Алексей, по-видимому, не привык к вниманию газеты и не очень ему обрадовался. Он назвал себя, искоса посмотрел на Лену и в дальнейшем уже только слушал, что рассказывает оживленный, уверенный в себе Максим Иванович.

— Алексею Константиновичу принадлежит открытие клея, — все более воодушевляясь, говорил директор фабрики. — А мы ему помогаем внедрить этот клей. Мы разработали специальные шаблоны — их можно менять в размерах в зависимости от фасона и покроя платья. Ножи, установленные в машине, обрезают ткань по шаблонам и сразу же наносят клей. Другая машина — видите, — он показал на нее, — она похожа на швейную, только вместо головки у нее вращающийся валик — соединяет части. На несколько минут платье помещают в термостат и — оно готово. А впрочем, чтобы вам это было понятнее, сделаем так... Одну минутку...

Он пригласил двух лаборантов — молодую женщину в сером халате с умными, немного нахальными глазами и бородатого человека в очках — и сказал им:

— Артикул одиннадцать — четырнадцать, фасон восемнадцать-ве. Вот, пройдите за эту ширму, — предложил он Лене.

В лаборатории стояла ширма, похожая на те, за какими в небольших квартирах иногда стоят кровати.

Лена вместе с сотрудниками лаборатории пошла за ширму, и там бородатый человек («Я просто закрой-

щик», — сказал он с понурым выражением лица) стал быстро обмерять Лену обыкновенным портновским метром из клеенки, а женщина записывала цифры. Продолжалось это с минуту. Лена не успела прийти в себя, как уже директор фабрики попросил ее записать данные экономии, которой достигнет фабрика, если перейдет на новый метод изготовления одежды.

— Развитие науки, — говорил Максим Иванович мерно, словно читая, — открывает новые возможности перед нашей легкой промышленностью. Однако достижения наших ученых мы используем еще явно недостаточно. Мы до сих пор работаем по старинке. Только при условии тесного содружества науки с производством мы сможем преодолеть имеющееся у нас отставание...

Лена делала заметки в маленькой, изящной записной книжке и удивлялась про себя, что этот человек, который только что разговаривал так живо и естественно, с той минуты, как она взяла в руки карандаш, заговорил словами плохой передовой статьи.

Тем временем, быстро семеня ногами, в лабораторию вернулся бородатый закройщик. Вслед за ним вошла женщина в халате. Закройщик чуть запыхался.

— Одну минутку, одну минутку, — торопливо прервал он Максима Ивановича и пригласил Лену за ширму. — Вот, примерьте.

И он развернул платье из голубой тафты.

Закройщик вышел, а женщина, чуть прищурившись, спросила:

— Давно знакомы с Максимом Ивановичем? — и, не дожидаясь ответа, сказала: — Примерьте. Вам голубое должно быть к лицу.

Растерянная Лена сняла свое серенькое платьице и надела голубое. Она посмотрела в зеркало, которое висело на ширме, — и сердце ее запрыгало в груди.

Это было то самое платье, о котором она мечтала.

Лена верила, что от голубой ткани голубыми становятся и глаза. Глаза у нее были серые, но сейчас, взглянув в зеркало, она увидела, что глаза и в самом деле стали голубыми.

— Замечательно! — как-то даже крякнул Максим Иванович, когда она вышла из-за ширмы. — Вот видите, по часам ровно семнадцать минут тридцать восемь секунд. И какое платье построили! И как оно вам к лицу!

Алексей взглянул на Лену, ощущая непонятную ему самому печаль и нежность, и сейчас же отвел глаза.

— Очень хорошо, — повторил Максим Иванович. — А теперь прошу выслушать меня. Как я уже вам говорил, мы пока проводим экспериментальные работы. На время экспериментов мы даем изготовленные лабораторией платья разным людям. Каждую неделю они сообщают нам о состоянии платьев, о том, как они переносят стирку, глажку, не оттопыриваются ли швы. Я вас очень прошу, возьмите у нас это платье в экспериментальную носку. Этим вы окажете нам большую услугу. А если вы оплатите стоимость ткани, то оно вообще будет принадлежать вам.

— Спасибо, — сказала Лена и потупилась. — Спасибо, но... — преодолевая нерешительность, она продолжила: — ...но этого я не могу.

— Как же так? — пробасил Максим Иванович. — Но это же мы вам не взятку даем, поймите же. Алексей Константинович, ну, подтвердите хоть вы, что нам необходимо раздать в экспериментальную носку по меньшей мере тысячу платьев, что иначе нам не утвердят нового метода для внедрения в производство.

— Да, конечно же, — сказал Алексей. Ему почему-то очень хотелось, чтобы девушка взяла платье. — Заплатите за него деньги, за ткань, а работа нам ничего не стоит. Тогда вообще никаких сомнений не останется. Вам, наверное, просто неизвестна эта система. Но так раздается и экспериментальная обувь, и пальто, и шляпы...

— Нет, — сказала Лена более решительно, — платье я взять не могу. Хотя все это понимаю и ничуть не сомневаюсь в вашем праве. Но о вашей работе я обязательно постараюсь написать. Ведь это действительно похоже на чудо...

Лена стала расспрашивать об устройстве новых машин, о том, кому принадлежит их конструкция.

Директор фабрики все время подчеркивал, что вот это сделал наш главный инженер Козачук, а это — конструктор Миронов, это — простая закройщица, уже пожилая женщина Голубенко.

— А что же вы себя обходите, Максим Иванович? — вмешался Алексей. — Ведь шаблоны — ваша идея. Да и машины под вашим руководством приспосабливали.

— Нет, нет, обо мне не нужно вспоминать, — забеспокоился Максим Иванович, когда Лена стала записывать. — Я — начальство, директор, и все это входит в мои прямые обязанности... Мне за это деньги платят...

Уже давно прозвенел звонок, возвещающий о конце рабочего дня, а Лена все не уходила, пробовала сама подгонять шаблоны по размерам, вставлять их в машину.

— Ведь так на этих машинах сможет работать любой, даже очень малоквалифицированный человек, — с восторгом говорила она Максиму Ивановичу.

Корреспондент... Ай корреспондент, — подумал он. — Разрумянившиеся, с нежной и чистой кожей щеки. Детская округлость подбородка. Серые серьезные глаза под тонкими, круто выгнутыми бровями. Маленькая грудь. И какая-то особенная легкость во всей девичьей фигуре... Совсем еще школьница.

— ...Я вас подвезу, — предложил Максим Иванович, когда они втроем — Лена, директор фабрики и Алексей — вышли на улицу.

Максим Иванович пригласил их в «Москвич», сам сел за руль.

— Куда вам? — спросил он у Лены. — ...А знаете что, — сказал он, неожиданно притормаживая и оглядываясь на Лену и Алексея, — они сидели сзади. — Какой-то у меня день сегодня... — Он улыбнулся добродушно и застенчиво. — Ну — вроде праздника. Давайте пойдем в ресторан и выпьем за наш новый метод.

— Пойдемте, — попросил Лену и Алексей.

В ресторане Максим Иванович спросил шампанского. Свободно и хорошо чувствовал себя только он. Лена вообще впервые в жизни была в ресторане, и ей

казалось, что все на нее смотрят, а Алексей мучительно раздумывал над тем, что у него с собой нет денег, что, когда придется расплачиваться, надо будет сказать об этом Максиму Ивановичу, и уже заранее краснел и ежился.

6

Валентин Николаевич Ермак часто провожал Лену домой. Он шел рядом с ней, маленький, щуплый, в модном, немного диковинном зеленовато-коричневом пальто, о котором сам говорил, что оно цвета «детского хаки», и рассказывал о своей работе, о том, что, если бы не газета, он уже давно б закончил книгу, которой заняты все его помыслы и которой сейчас он, к сожалению, уделяет так мало времени.

В те дни на четвертой странице газеты под рубрикой «Из блокнота натуралиста» появилась заметка любителя-фенолога С. Поцелуйко, которая начиналась так: «Идешь в марте по городу и видишь: на асфальтированный тротуар звонко падают капли. Невольно посмотришь вверх. На небе ни одной тучки. Капли падают с клена. Вот на надломанной веточке появилась прозрачная слеза. Солнечный луч играет в ней всеми красками радуги. Задрожала отяжелевшая капля, оторвалась от веточки и упала на землю...

Клен первый среди наших деревьев пробуждается от зимнего сна. Корни начали всасывать из земли воду, и она поднимается по сосудам, расходится по тончайшим веточкам. Но на дереве еще нет листьев, с поверхности которых испаряется много воды. Создается значительное давление внутри самого дерева, и в случае повреждения коры или надлома веточки из раненого места начинает вытекать сок. Когда ж на дереве разовьются почки, вытекание сока прекратится.

Весна кленов — весна света...»

Заметку послали в типографию, когда на дворе стояла оттепель, как это часто бывает на Украине в начале марта, а газета вышла в мороз. Валентин Николаевич поднимал воротник пальто и потирал уши — они у него почему-то очень мерзли.

Третий вечер подряд, когда они выходили из редакции, им навстречу попадался — совершенно случайно — Алексей Вязмитин.

При первой такой встрече Лена познакомила Алексея с Валентином Николаевичем, рассказала о работе, которая проводится на фабрике, и они долго ходили вместе по улицам, а потом еще — несмотря на мороз — ели в кафе мороженое. Валентин Николаевич очень любил мороженое и уверял, что летом ест его на завтрак, обед и ужин.

При следующих встречах Лена уже не сомневалась, что Алексей поджидает их специально. Но кого из них? На ее глазах, буквально за три вечера, Алексей очень сблизился с Валентином Николаевичем. Они много и оживленно разговаривали, и Лена с огорчением чувствовала себя лишней.

Однако уже через неделю установился такой порядок: они сначала провожали Валентина Николаевича, а затем Алексей — Лену. При этом он каждый раз выбирал все более длинный путь.

Морозы держались недолго — Лена присматривалась к кленам и вскоре увидела, как с деревьев в самом деле падают редкие капли.

В эту субботу было совсем по-весеннему тепло, и Валентин Николаевич предложил пойти в парк над Днепром.

Тончайшие веточки деревьев переплелись между собой так, что казалось — это корни, что деревья повернуты вниз головой, а днепровский ветер с запахом талого снега и весенних луж дул порывами.

— Посидим, — сказал Валентин Николаевич. Он курил, и для того, чтобы закурить, ему нужно было обязательно сесть.

Они сели на скамье перед фонтаном с бассейном, заполненным грязной талой водой.

— ...Таков поэт у Пушкина, — продолжал Валентин Николаевич разговор, начатый еще в редакции при встрече. — Он пророк. Так и названо стихотворение. Его назначение в том, чтобы словом жечь людские сердца.

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

И очень странно, что литературоведы, написавшие о произведениях Пушкина и Лермонтова монбланы, эвересты книг, — очень странно, что они не заметили вещи, которая сама бросается в глаза...

— Чего же именно? — спросил Алексей.

— Лермонтов написал продолжение пушкинского «Пророка». Под тем же названием. Тем же размером. Вот пушкинский «Пророк» отправился в обход морей и земель, чтобы жечь глаголом сердца людей. Но

С тех пор, как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Он стал провозглашать «любви и правды чистые ученья», но ближние в него бросали камни, он бежал из городов, о нем «старцы детям говорят с улыбкою самолюбивой»:

Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!

Вот разница между Пушкиным и Лермонтовым во взгляде на роль поэта. И это не случайно.

— Но нельзя же, — несмело возразила Лена, — только на основании этого стихотворения делать вывод обо всем мировоззрении поэта. Лермонтов написал и «На смерть поэта»...

— Конечно. Но именно в том, что Лермонтов написал продолжение пушкинского «Пророка» (а я уверен, что это так), несомненно было желание возразить Пушкину... Однако я не об этом. Я о том — и это глав-

ное, — что пути, какими приходит большой поэт к тем или другим идеям, всегда неожиданны и часто могут быть объяснены не столько сознанием, сколько подсознанием. И именно этой мысли будет посвящена моя книга.

Он нервно переплел пальцы, и Лена по привычке отметила про себя, что большой палец левой руки лежит у него сверху.

— Как она будет называться? — спросила Лена.

— «Поэт», — ответил Валентин Николаевич. Помолчал и снова сказал, но глуше и тише: — «Поэт».

В малиновом небе висела синяя, лохматая туча.

— Хотите, — спросил Валентин Николаевич, обращаясь к Алексею, — я расскажу вам о своей книге?

В голосе его чувствовалось затаенное волнение.

— Конечно, — с искренним интересом отозвался Алексей.

— Ну вот, представьте себе человека лет за сорок, с широким, немного одутловатым лицом, с набрякшими веками и красными жилками в глазах. Это от ночного чтения. Только в редкие минуты — гнева или увлечения — глаза у него широко открываются, и тогда видно, что они очень большие и серые.

Таков мой герой. Он работает в маленькой провинциальной газете, он литературный правщик, переводчик и поэт, стихи которого газета публикует в дни разных торжественных событий.

Живет он один в квартире с множеством соседей. Когда-то у него была жена, но много лет тому назад она ушла от него с каким-то артистом, потрясшим сердца провинциальных зрителей ролью буйно помешанного.

В комнате у него сравнительно чисто, но по-холостяцки неуютно, безрадостно.

День, с которого начинается повествование, был неудачным, он состоял из множества мелких неприятностей. У англичан это называется «веснушчатым днем». Он опрокинул кофейник и облил штаны, разбил любимую старинную чашку, поссорился с редактором, сказал грубость старой, беззащитной курьерше. В довершение всего, когда он вечером вернулся домой, то ока-

залось, что он не может войти в комнату, потому что забыл ключ в квартире, в брюках, облитых кофе, и защелкнул замок.

Он решил пойти за слесарем. Он знал слесаря, который жил недалеко. Для того чтобы к нему попасть, нужно было пройти через городской парк.

Он шел по аллее, начался мелкий осенний дождик, вода собиралась на полях шляпы и струями стекала на пальто.

Он думал о том, что вот так же мелкие неприятности собирались сегодня весь день и сейчас их струей несет его к слесарю. Впрочем, мысли у него были скорее не печальные, а иронические и немного детские.

Он думал: вот создали же люди пишущую машинку. Если нужно — можно напечатать все, что угодно. А почему бы не придумать ручку, которую было бы достаточно только взять в руки, чтобы написать все, что тебе хочется, все, чем наполнена душа?

А так как у него было очень яркое воображение, то он сейчас же и представил себе такую ручку. Прямая желтенькая, вставочка с жестяным наконечником и пером «86». Такими обыкновенно пользуются школьники младших классов.

Вдруг он зацепил ногой какой-то предмет и наклонился, чтобы поднять его. В руках у него оказалась ручка. Он подошел к фонарю и рассмотрел ее. Она была точно такой, какая ему представилась. Он положил ее в карман пальто и пошел за слесарем...

— Вам не скучно? — неожиданно перебил себя Валентин Николаевич, оборачиваясь к Лене.

— Нет, нет, — поспешно ответила Лена.

— Да... — Валентин Николаевич прикурил новую папиросу от окурка. — Слесарь открыл ему дверь, посоветовал завести запасной ключ и ушел. В комнате было холодно, он забыл закрыть форточку, когда уходил на службу. Теперь предстояло написать стихи. Из-за них и произошла ссора с редактором — ему совсем не хотелось их писать. Он сел за стол, положил перед собой бумагу.

А ну-ка, попробуем эту волшебную ручку, — улыбнулся он и извлек находку из кармана.

Не писалось, на душе было тяжело, нервы, раздерганные всеми дневными неприятностями, никак не могли успокоиться. Ему думалось: какие были замыслы, какие надежды! Ведь так много предстояло сделать и можно было сделать, но вот он уже приближается к старости, а все эти замыслы пронеслись легкими облачками, не уронив и капли дождя. Почему так получилось? Что ему помешало?

Он стал припоминать один из своих ранних замыслов и стал набрасывать строки на бумаге и вдруг почувствовал, что идет, что получается, и стал писать.

Он писал так всю ночь, а потом еще весь день, и снова целую ночь, и снова почти весь день, пока не свалился без сознания.

У соседей тем временем происходили серьезные разногласия. Одна из соседок «сама видела», как он покупал в аптеке яд, и уверяла, что он отравился, а другая, напротив, видела, как он вносил к себе бельевую веревку, и настаивала на том, что он повесился. Были оповещены местные власти, на стук он не отвечал, дверь взломали, и соседка, настаивавшая на том, что он повесился, была посрамлена. Он лежал на полу.

Его привели в сознание, и первое, что он сделал, — это сгреб с пола множество исписанных листов бумаги и желтую ручку, сложил все это в ящик и запер его на ключ. А затем приступили к лечению.

Только через неделю он оправился настолько, что решился открыть ящик и посмотреть написанное. Он был человек со вкусом, хорошо разбирался в литературе и понял, что то, что им создано, — это замечательные, может быть, гениальные стихи. Он отлично понимал также, почему написал он их именно в тот вечер и сразу — замыслы отлеживались у него в душе в течение многих лет, отстаивались там, очищались, подсознательно к ним подбирались образы и, возможно, даже рифмы. И в тот вечер нервная энергия, которая накопилась в нем в результате неприятностей, случившихся за день, вылилась в такой острой форме.

Он собрал рукописи и отнес их директору местного издательства с предложением издать книгу. Директор

издательства сначала подумал, что он шутит, но лишь только начал читать рукопись, понял, какие значительные произведения попали в его руки, и сказал, что книгу они издадут немедленно, но одновременно следует известить о его стихотворениях столичную прессу.

Уже через неделю пришла и слава и деньги. Он переезжал из своей комнаты в самый роскошный номер местной гостиницы. С собой он собирался взять лишь книги и рукописи. Перебирая ящики, он вдруг увидел на самом дне одного из них маленькую желтую ученическую ручку. Он отлично понимал, что совсем не этой ручке обязан созданным, и все-таки ему было как-то неловко, словно при встрече с сообщником в предосудительном деле. В комнате у него топилась небольшая железная печь. Он подошел к ней, чтобы бросить ручку в огонь. И вдруг почувствовал, что не может этого сделать. Чепуха, — подумал он, — нервы.

Но когда ручка загорелась, его с неодолимой силой потянуло достать ее из огня. Нервы, — отмахнулся он. — Этого нельзя допускать.

Через несколько дней ему начало казаться, что все люди — это ручки и что ему необходимо отыскать среди них одну, его ручку... Одна половина сознания твердила ему, что он сходит с ума, что такие мысли недопустимы, а другая — что, если он не отыщет этой своей ручки, больше уже никогда ничего ему не создать.

Он отправился к психиатру. Видный специалист осмотрел его и пришел к выводу, что нервное потрясение, которое пережил этот человек, сделало его неизлечимо больным. И он был направлен в больницу для умалишенных.

В больнице он, человек, никогда не проявлявший особенной силы воли, впервые почувствовал, как необходимо уметь ее сосредоточивать. В углу, в серебряной паутине, висел огромный черный паук. Он то вытягивал, то поджимал под себя ножки. Нужно было напряженно смотреть ему в глаза, потому что, как только ослабевал взгляд, ножки вытягивались и впи-

вались в мозг. Это была непереносимая боль, и он заставлял себя смотреть пауку в глаза.

Однажды во время приступа такой особенно острой боли он разодрал о край кровати палец и вдруг почувствовал, что в руках у него — ручка. Он стал торопливо писать на стене, пока не истек кровью. Когда прибежали врачи, он уже был мертв.

Лучшие ученые страны долго изучали знаки, написанные на стене великим поэтом, но в конце концов пришли к выводу, что они ничего не значат. Это был просто бред умалишенного.

...Зажглись фонари. Тени оголенных деревьев покачивались и шевелились на земле, как кучи невесомого хвороста. И Алексей и Лена молчали, не то обдумывая, что сказать, не то испытывая какую-то неловкость. Наконец Алексей спросил:

— А в какое время это все происходило?

— Неважно, — ответил Валентин Николаевич. — Это могло происходить в любое время, отдаленное от нашего сотней лет назад или сотней лет вперед... Так же, как, впрочем, и в наши дни.

— Это очень интересно, — сказала Лена. — Очень интересно. Только я не понимаю, зачем это?

— Поймете, — сказал Валентин Николаевич с неожиданной жесткостью в голосе. — Не вы — так ваши дети поймут...

7

«На заборе» — так редакционные острословы называли доску, на которой вывешивали «лучшие материалы», — была помещена статья Лены под названием «Быстрее внедрить в производство новые методы изготовления одежды».

Правда, сама Лена назвала ее иначе — «Чудо-платье». Но дежурный редактор — человек серьезный — не выпустил этого легкомысленного названия в свет.

Лену поздравляли с удачным началом. На летучке Валентин Николаевич испугал ее своим заявлением, что «в газету пришел новый, свежий талант, и мы еще будем свидетелями того, какие прекрасные плоды при-

несет он в будущем». В замешательстве она прижала ладони к запылавшим щекам.

Но после летучки Григорий Леонтьевич, поглаживая кончиками пальцев полированные поручни своего кресла, сказал:

— Мне очень приятно, что вы написали этот материал. Так должен поступать каждый настоящий журналист — не упускать ни одного явления, которое заслуживает внимания газеты. Но вы так и не выяснили, работает ли на фабрике Маша Крапка. Кто написал это письмо? А ведь может же быть такое положение, что на фабрике делают замечательное дело, внедряют новый метод, а вместе с тем рядом с очень хорошими людьми там действуют и какие-то проходимцы. Я вовсе не утверждаю, что это так. Но мы с вами не можем оставить без внимания ни одного письма. Значит, вам следовало в этом разобраться...

Это было единственной ложкой дегтя в Ленином триумфе. И утром она снова направилась на фабрику. Ее там уже знали многие. Ей улыбались, хвалили ее статью, приглашали в цеха:

— У нас пущена новая линия, зашли бы посмотреть — производительность поднимется вдвое.

— Обязательно зайду, — отвечала Лена.

Но пошла она на этот раз в отдел кадров.

— Мы получили письмо, в котором названы фамилии нескольких рабочих вашей фабрики, — сказала она заведующей отделом кадров — светловолосой, плохо завитой, с накрашенными бровями и губами женщине лет сорока. Фразу эту Лена тщательно продумала еще в редакции. — О содержании письма я сейчас не могу вам рассказать. Но мне нужно, если вы не возражаете, ознакомиться со списком рабочих фабрики.

Лена трижды просмотрела списки, с каждым разом испытывая все большее облегчение, в котором она сама себе не могла дать ясного отчета. Имени Маши Крапки в списках не было.

— А других рабочих нет на фабрике? — спросила она.

— Нет.

Когда Лена поблагодарила заведующую отделом кадров и собиралась уходить, та нерешительно добавила:

— У нас, правда, еще есть склад, а там грузчики и складские рабочие не все занесены в списки... Но мы это сегодня или завтра сделаем.

Лена лишь на полчаса опоздала к началу рабочего дня в редакции, но секретарь редактора встревоженно сообщила ей:

— Дмитрий Владимирович уже второй раз вас спрашивает.

У Лены внутри что-то екнуло. С тех пор как она поступила на работу в редакцию, с редактором газеты она виделась только на летучках, да еще несколько раз встречалась в коридоре.

— Получил я сегодня такое письмо, — сказал ей Дмитрий Владимирович и показал на большой, с половину газетного листа, конверт из плотной бумаги. Он лежал у него на столе. — Как вы думаете, что в этом письме?

— Не знаю, — ответила Лена.

— Перед тем как передать его в отдел писем, я хотел посоветоваться с вами, как с опытным работником этого отдела, — он чуть прищурился, — как же нам на него ответить?

Лена молчала.

— Вот это письмо.

И Дмитрий Владимирович вынул из конверта голубое платье, которое было склеено у Лены на глазах.

— Ах!.. — невольно вырвалось у нее.

— Вот вам и «ах». А к этому платью еще такое приложение.

И он прочел адресованное на его имя письмо. В нем говорилось, что выступление Лены очень помогло коллективу, занятому внедрением в производство нового метода изготовления одежды, что на фабрике узнали талантливого молодого журналиста Елену Санькину. Далее рассказывалось о том, как было изготовлено это платье и как Лена от него отказалась. Авторы письма от имени коллектива фабрики обращались к ответственному редактору газеты с просьбой вручить

платье Лене. Затем следовало около пятидесяти подписей, в том числе директора фабрики, секретаря партийной организации, председателя завкома, начальников цехов, работников лаборатории и рабочих.

— Так вот, как же нам быть с этим письмом?

— Нужно отправить его назад, — сказала Лена.

— Вам, конечно, виднее, — ответил Дмитрий Владимирович. — Вы там в отделе писем только тем и занимаетесь, что пересылаете корреспонденцию с места на место. Но мне думается, что было бы лучше, если бы вы зарегистрировали это письмо по всем правилам, а приложение — надели на себя, — он улыбнулся с неожиданной мягкостью. — Не тревожьтесь, вы это вполне заслужили.

Когда Лена шла к редактору, она проходила по узкому, полутемному коридору. Когда она возвращалась, стены раздвинулись, всюду было много воздуха и много света.

На следующий день Лена с утра зашла к своей подруге по университету Шуре Бойко. Шура работала в радиокомитете.

Лена уже не сомневалась в том, что письмо Маши Крапки — это анонимка, написанная каким-то недоброжелателем директора фабрики. И все же ясно представляла себе, как Григорий Леонтьевич, когда она ему расскажет о результатах проверки, обязательно спросит: «Ну, а на складах вы так и не выяснили?»

А вдруг Маша Крапка существует? Пойти на склад ей, Лене, человеку, хорошо известному на фабрике как корреспондент газеты, — это значит не выполнить первого требования, поставленного автором письма.

Лена попросила Шуру поехать на фабрику, подойти к складу и спросить, не работает ли там Маша Крапка. А затем сообщить о результатах по телефону на службу.

К концу дня Шура позвонила Лене. Она была очень взволнована.

— Маша Крапка работает на складе, — сказала она. — Это очень странная девушка лет двадцати пяти. Она глухонемая. Всего боится. Я с ней договорилась — знаками, что она сегодня к восьми часам придет

к входу в центральный универмаг. Я нарисовала ей на бумаге куда и надписала. Так что к восьми часам нам с тобой надо будет ее встретить.

...На этот раз Алексей пришел в редакцию. Он и Валентин Николаевич собрались, по обыкновению, «проводить» Лену — иными словами, совершить довольно дальнюю и продолжительную прогулку, но Лена отказалась, внушительно пояснив:

— У меня деловое свидание.

Маша Крапка на условленное место не явилась, хотя Лена и Шура ждали ее до девяти часов. А когда на следующий день Лена, рассказав обо всем этом Григорию Леонтьевичу, сама пошла на склад, кладовщик — сонный, узкогрудый парень — сказал ей:

— Да, действительно, Крапка у нас работала... Но она уволилась и уехала куда-то на село.

— Когда это было?

— Да вот — на этих днях...

8

Совесть.

Норма нравственности, ставшая внутренним убеждением человека.

Когтистый зверь.

Или просто — неясное ощущение, когда вода кажется горькой, а хлеб — как бумага...

На кладбище земля липла к ботинкам, отрывалась кусками и снова липла, идти было тяжело, как во сне.

Павел так и не нашел могилы матери — сторож сказал, что там, у забора, если пройти до конца по дорожке, а потом повернуть направо, шестая... нет, седьмая...

Их было там на краю не шесть, не семь, а десятки одинаковых могил, узких холмиков с побуревшими прошлогодними цветами, железными крестами, сваренными из водопроводных ржавых труб, или деревянными — серыми, с влажными трещинами.

Павел не думал о матери.

Гнал все мысли.

Соседка, старая добрая женщина, которая когда-

то часто угощала его изжаренными в подсолнечном масле дерунами, безжалостно сказала:

— Ты ее убил.

Он старался не думать о матери. И все равно его грызла тоска — тяжелая, едкая, темная, как бывает, когда сделал что-то, о чем забыл, а оно черной грозной тенью следует за тобой.

В тюрьме Павел почувствовал себя значительно легче, чем в ту минуту, когда он был арестован.

В тюрьме ему казалось, что преступление — всякое преступление — вещь не такая уж редкая, что совершают его немало людей, если их так много попало в тюрьму.

Но мать-то этого не знала.

Не было большего горя для нее, большего позора.

Для нее, прожившей такую трудную жизнь, для нее, постоянно улыбавшейся, чтобы скрыть от людей, что муж у нее — пьяница, что он бьет ее, тихую и добрую учительницу, столько лет провожавшую школьников от первого до пятого класса.

И она умерла.

Она не могла не умереть.

Точно так же, как организм защищает себя, посылая к ране миллионы белых кровяных шариков, которые, погибая, образуют защитную корку, раненая душа человека защищается корой мелких и больших дел от потрясшего ее события. И если бы не эта способность — для многих людей жизнь стала бы невыносимой.

Когда Павел пришел в отделение милиции, заместитель начальника отделения — плохо выбритый, невыспавшийся капитан — бегло взглянул на заграничное пальто Павла, на мягкую, эффектно примятую шляпу и сказал:

— Присядьте, пожалуйста, я сейчас освобожусь... Вот можете посмотреть пока свежую газету...

Но как только перед ним оказалась справка Павла, он немедленно перешел на «ты».

— Где до сих пор болтался? Почему вовремя не прибыл? Опять стал на старую дорожку? — и он посмотрел на пальто Павла весьма многозначительно.

Павел молчал.

— Ну хорошо. Паспорта ты не получишь. Дадим пока временное удостоверение. Где собираешься работать?

— Думаю учиться, гражданин... товарищ капитан.

— Где?

— В Киеве.

Сердитые глаза, разделенные тонким носом, смотрели на Павла проницательно и недоверчиво.

— Смотря чему учиться. Чтобы эта учеба плохо не кончилась... Ну да ладно. Иди. Завтра придешь.

Ему негде было переночевать в городе, в котором он родился и вырос. Напряженный, настороженный, он пошел к Грише Сидоренко.

— Уходи, — сказал Гриша. — Из-за тебя я до сих пор... — он не закончил фразу, повернулся и закрыл за собой дверь.

На улице Павел встретил своего бывшего одноклассника Колю Демина. Демин теперь работал в местном театре художником. Он пригласил Павла к себе на обед, познакомил его с женой — молоденькой веселой девочкой, одним из первых вопросов которой к Павлу был вопрос о том, не знает ли он, как танцуют буги-вуги. Ночевать он Павла не пригласил, а сам Павел не стал просить об этом, — они всегда были очень далеки друг другу.

Первую ночь после своего возвращения в родной город Павел провел в Доме колхозника, где контраст между его справкой и его шляпой произвел самое неблагоприятное впечатление. Во всяком случае, когда он постелил узкую продавленную койку и небрежно, в кучу сложил одежду на табурет, поставленный у изголовья, то увидел, что один из его соседей — дюжий усатый мужик — с трудом, покряхтывая, стащил новые пудовые сапоги, исподлобья посмотрел на Павла, почесал затылок, затем приподнял койку и обул ножки в сапоги.

Сначала Павел не понял, зачем это.

— Что это вы? — удивленно спросил он.

— Целее будут.

Павел покраснел, сжал кулаки, затем лег и отвернулся к стенке. Наволочка подушки едко пахла хлором. Как в тюрьме.

Снова ему приснился тот же сон. В прозрачной, прохладной воде стоят стайкой рыбки, как магнитные стрелки, головами в одну сторону. Солнце пригревает спину.

Он проснулся, припомнил сон и вспомнил, как все это было наяву.

...Он сидел на берегу Десны, на мостках, с которых женщины полоскали белье, а под ним струилась вода, колебля длинные зеленые волосы — подводные травы. На мостки взошел человек в соломенной шляпе с деревянным ящиком и треножником в руках.

— Не помешаю? — спросил он.

— Нет, — ответил Павел.

Человек расставил треножник, укрепил на нем рамку с натянутым холстом и стал рисовать. Кисть так и мелькала в его маленькой руке. Павел поднялся, стал смотреть за тем, как рисует художник.

Странная это была картина. Дело происходило в полдень, на самом солнцепеке, а на картине изображены были сумерки, предвечерний час. Дерево на берегу — разлогий дуб — было изображено очень похоже. Но на картине дерево это приобрело сходство с сердитым мужицким лицом, украшенным кудлатой бородой, а облако за деревом сидело как шапка на этой голове. Лошадиной изувеченной мордой, с болью поглядывающей в сторону одним узко прорезанным глазом, казалась будочка, где лодочный сторож держал весла.

— Почему это все у вас так? — спросил Павел.

Художник молчал. Павел хотел яснее выразить свою мысль, но художник вдруг ответил ему странным, мурлыкающим голосом:

— А потому, что это дерево и впрямь похоже на голову. Но обычно люди не умеют этого замечать. Дерево — и кончено. А я — как раз тот, который показывает, чего не замечают другие...

Так они познакомились с Виктором.

Как нравился тогда Павлу этот человек, за мягко-

стью которого всегда чувствовались жесткая воля и недюжинный ум! Как прислушивался он к каждому его слову! Какую большую власть имело над ним очарование таланта и загадочности, окружавшей Виктора.

Ему постоянно хотелось быть похожим на Виктора, так что было даже неприятно свое превосходство в росте.

— Вы — художник? — застенчиво спросил Павел в одну из следующих встреч. Они встречались каждый день.

— В некотором отношении — да, — недобро, тяжело и едва заметно усмехнулся Виктор. — Во всяком случае, учился в художественном институте. Но обстоятельства сложились так, что мне пришлось сменить кисть художника на меч конквистадора.

Павел не решился спросить, что такое конквистадор.

Виктор помолчал немного и вдруг прочел стихи, из которых Павел запомнил только:

Я конквистадор в панцире железном,
И крепко верю я в свою звезду.

— Вы давно бросили школу? — неожиданно резко спросил Виктор.

— Три или четыре года назад, — не смог сразу припомнить Павел.

— А почему не работаете?

— Работал... В авторемонтных мастерских... слесарем. Но поругался с мастером. Не хотел помыть его машину. Частную.

— Быть может, мне понадобится ваша помощь, — сказал Виктор, оценивающе, сквозь быстрый прищур оглядев Павла.

— Хорошо.

— А вообще — нужно учиться. Во что бы то ни стало — учиться.

Вскоре Павел узнал, почему Виктор называл себя конквистадором. Каким романтическим ореолом был озарен он для Павла!

А затем... Виктор ночью постучал в его окошко. Павел был очень удивлен.

— Что случилось? — спросил он.

— Тише, — ответил Виктор. — Ты один?

— Один.

— Я уезжаю. Надолго. Я хочу оставить у тебя этот чемодан. — Он поставил на подоконник увесистый чемодан. — Через две недели его нужно будет отвезти в Киев, сдать в камеру хранения, а квитанцию отправить по почте по адресу, который я тебе оставлю. Тебе, наверное, хочется знать, что в чемодане?

— Нет, — ответил Павел.

Виктор помолчал, улыбнулся мягко и задумчиво.

— Но знать это тебе все-таки нужно. Ты уже слышал об убийстве?

— Да.

— Это сделал я. Здесь деньги. Возьмешь чемодан?

— Возьму, — ответил Павел.

— В Чернигове, я знаю, тебе делать нечего. Когда отправишь деньги, позвонишь по телефону — он в записке, которую я тебе оставляю. Спросишь Виктора. Тебе скажут, как со мной увидеться...

За закрытыми веками у Павла замелькали города, где он побывал: Киев, Тбилиси, Батуми, Сухуми, Сочи, Ялта, Алушта, Симферополь, Одесса и снова Киев. В Киеве его арестовали...

По поручению Виктора он связался с компанией спекулянтов, ездил из города в город, перевозил какие-то пакеты, письма, передавал деньги. Матери сказал, что работает экспедитором в Глававтотракторснабе. Виктор исчез, а встречи с этими ласковыми людьми с потными руками оставляли у Павла постоянное чувство недовольства собой. Уйти бы от них... Но куда?

Они сидели тогда в квартире Михаила Михайловича. Только на суде Павел узнал его фамилию. Ужинали, пили водку. Михаил Михайлович любил хорошо поесть. Тарелки и блюда с дорогими закусками занимали весь стол. Цуркан, рослый, под стать Павлу, парень, с выпуклыми смешливыми глазами и пудовыми кулаками, единственный, кто казался Павлу похожим на человека в этой компании, подвинул Павлу маслины.

— Чего морщишься? — спросил. — Не нравятся?

— В первый раз ем...

— Все бывает в первый раз, — добродушно улыбнулся Цуркан. — Арест, например...

В дверь позвонили. Покрасневший, нагрузившийся водкой хозяин пошел открывать. Спустя минуту он возвратился — бледный и трезвый. Вместе с ним вошли четыре человека в штатском. Цуркан рванулся к окну.

— Разобьетесь, — сказал один из вошедших с хозяином, вынимая из кармана пистолет. — Сидите на месте.

— Накликал, — покрутив головой, сказал Цуркан Павлу. — А еще лекции читают. Про суеверия.

...Какие-то люди негромко и, очевидно, уже давно разговаривали.

Павел проснулся, но ему не хотелось открывать глаза.

Ему никого не хотелось видеть.

Его охватило тупое, жестокое отчаянье.

Его ничто не ждало впереди.

— ...Хороший, хороший трудодень был, — радовался приглушенный, приятный, сипловатый голос. — Хлеба в каждой хате на два года хватит... Сытно едят, вкусно пьют...

— Не единым хлебом, — поучительно протянул сдержанный басок.

— Не единым, конечно. Получили и денег, и картошки, и молока...

...Был у них в камере человек, который часто повторял: «Трава ест землю, корова ест траву, человек ест корову, земля ест человека — и все сначала». Очевидно, эти мысли утешали его. Трава ест землю — и все сначала, — повторил про себя Павел.

— ...что хлеб, масло, мясо, молоко будут без денег. Бесплатно, — продолжал приятный, сипловатый голос. — Я так думаю — доживем. Зайдешь в магазин, значит, и бери сколько нужно. Лишнего тогда никто и брать не станет...

— Нет, — не согласился сдержанный басок. — Мясо бесплатно нельзя давать. Мясо, оно разного

сорта бывает. Бабы перебирать начнут, тащить, которое получше. Добра много может пропасть.

Павел приподнялся. Обладателем сдержанного баска оказался вчерашний усатый мужик, а против него на аккуратно заправленной койке сидел собеседник — невысокий старичок с приятным маленьким личиком, темным и сморщенным.

Павел глянул в окно. Несмелое серенькое утро оставило на стеклах редкие слезы. Он наспех умылся и стал одеваться. На костюме из добротной ткани бутылочного цвета с коричневой искрой — ни морщинки.

Не нужно мне было всего этого брать, — думал он. — Не нужно...

Он уже совсем собрался. Он уезжал из Киева, от Вязмитиных. Кажется, и попрощался уже. Алексей сказал: «Мне нужно еще решить один вопрос», — он улыбался неловко. Они вернулись в комнату Алексея. Помявшись, Алексей предложил ему примерить пальто и костюм своего покойного отца. «Ты не беспокойся, — сказал он. — Они ненадеванные. Лежат впустую. Отец был одного роста с тобой».

Это Марья Андреевна, — подумал Павел. Он отказался. Вошла Марья Андреевна. «Если не тайна, — спросила она, — о чем спор?» Алексей рассказал. Но Павел был уверен, что все это было между ними условлено. С болезненным ощущением стыда, неловкости и недовольства собой он примерил костюм. Покойный академик был плотнее Павла и, по-видимому, даже выше. Марье Андреевне пришлось переставлять пуговицы. Когда Павел раздраженными, хмурыми глазами посмотрел в зеркало, он не узнал себя. Он впервые в жизни надел шляпу. И — черт побери — это получилось совсем не плохо. Марья Андреевна смотрела на него с одобрением. И все-таки — не нужно. Не нужно было всего этого...

...Когда Павел получил в милиции временное удостоверение, которое на паспорт можно было сменить только через месяц, капитан, принимавший его и в первый раз, спросил:

— А учиться ты где думаешь?

— Не знаю.

— А жить где?

— Тоже еще не знаю.

— Ну так вот, я уже договорился... Ты там каменщиком работал?

— Каменщиком.

— Я договорился, что тебя на строительство примут. С начальником управления, с Михайловым. Дадут общежитие. Когда начнешь работать, можно будет в техникум поступить... придешь, я тебе помогу с этим делом... Или в вечернюю школу.

— Я вернусь в Киев, — ответил Павел.

— Почему?

— Так. Тут мне не жить. Слишком много людей тут обо мне плохо думают.

— А ты поработаешь, покажешь себя, и люди начнут о тебе хорошо думать. — Улыбнувшись, капитан добавил: — Так, как ты этого заслуживаешь.

Павел не ответил на его улыбку.

— Нет уж, я — в Киев.

Капитан встал из-за стола, прошелся по своему маленькому кабинету, подошел к Павлу.

— Ты мать помнишь? — спросил он неожиданно.

— А вам это зачем?

— Я учился у нее когда-то. Понимаешь, какая это штука удивительная? Ведь неизвестно, куда человек направится, что с ним станет. И, может быть, именно то, что заложила в ребенка первая его учительница, потом дает плоды. Ты на ее могиле побывал?

— Да.

— А я уж давно не был. Года два. Вначале многие ходили, следили как-то, а потом в текучке этой забылось. Тут и я виноват. Но сейчас не об этом разговор. Сейчас разговор о том, как сделать, чего она не успела. Как сделать, чтобы ты человеком стал... Тут, в Чернигове, у тебя прямей была бы дорога. Ясней...

— Нет, — сказал Павел.

9

Сапожник, старый знакомый, смутился и с досадой с размаху воткнул шило в ногу.

Марья Андреевна вскрикнула.

— Она у меня деревянная, — успокоил ее сапожник. — Вы уж меня извините. Вам, как постоянной клиентке, надо было вовремя сделать. Но — не успел. Только вот на левый туфель набоечку осталось приспособить. Вы посидите минутку. Я сейчас...

Закончив работу, он завернул туфли в газету, получил деньги и пожелал Марье Андреевне почаще приходить.

Дома Марья Андреевна развернула туфли и машинально заглянула в газету — она показалась ей очень знакомой. Посмотрела на дату, расправила мятые страницы. В газете был опубликован отчет о юбилее в честь 60-летия академика Вязмитина.

Марья Андреевна горько усмехнулась.

...На юбилее она не захотела сидеть за столом президиума, куда ее пригласили, а устроилась в зале, ряду в шестом, с самого края.

Рядом с ней сидела какая-то толстая, немолодая женщина с очень напудренным лицом и с крупными — чуть ли не с грецкий орех — янтарными бусами. Такие всегда попадаются на юбилеях — неизвестно, зачем они пришли, неизвестно, какое отношение имеют к юбиляру, но они терпеливо просиживают от начала до конца, слушают все выступления, аплодируют.

Соседка, тыкая коротким, толстым пальцем, все время допытывалась у Марьи Андреевны: «А кто это? А это? А Вязмитин кто? А вы не знаете, кто доклад делает?»

Марья Андреевна охотно бы ответила грубостью, но — не умела и сквозь стиснутые зубы сообщала о должностях и званиях каждого из сидевших в президиуме.

Юбиляр обычно чувствует себя неловко — он смущается, мнется, он растроган и сконфужен. Но Константин Павлович, с его красивым, породистым лицом, большой, мужественный, с легкими, словно ветром

приподнятыми над высоким лбом седыми волосами, — Константин Павлович, о котором соседка с бусами восторженно пропищала: «Ах, какой красавец!», казалось, был специально создан для юбилеев.

Доклад он слушал с веселым удивлением, адреса — их выросла целая гора на специально приготовленном столике — принимал уверенно и изящно, с легкой улыбкой. Затем слово предоставили ему самому.

— Мне, как и всем присутствующим в этом зале, — сказал он своим звучным, приятным голосом, — отлично известно, насколько преувеличены похвалы, какие я здесь услышал. Но так уж принято на юбилеях. Во всяком случае, я полагаю, что этим меня уже не испортят. Это опасно в более молодом возрасте, а в мои шестьдесят лет даже настолько преувеличенная оценка моей работы не приведет к тому, что я зазнаюсь и перестану здороваться со знакомыми.

По залу прокатился смех.

— Поэтому в части оценки моих работ я не нахожу возможным возражать нашему уважаемому докладчику. Однако в области фактов я, как бы мне ни хотелось этого избежать, вынужден сделать некоторые замечания. Отец мой не был бедным торговцем, как говорил об этом Иосиф Петрович. Он был купцом первой гильдии. Правда, я еще в юности порвал отношения с семьей, но тем не менее происхождение у меня не совсем рабоче-крестьянское. Затем, в годы гражданской войны, я действительно, как справедливо отметил Иосиф Петрович, командовал отрядом. Но отряд этот был несколько иным, чем о нем составили представление слушатели доклада. Это был вовсе не кавалерийский, а санитарно-эпидемический отряд, и было в нем не пятьсот клинков, а шесть санитарок, два лекпома и ни одного врача...

Снова прокатился смех.

Находившиеся в президиуме члены делегации английского королевского общества — его почетным членом Константин Павлович был избран еще до войны — шепотом спрашивали у переводчика: «Что он сказал?»

Тем временем юбиляр продолжал выступление, зал затих, и неожиданный хохот англичан, которым наконец перевели слова Константина Павловича, вызвал новый приступ смеха в зале.

— Что же касается стиля моих научных трудов, о котором докладчик говорил как о легком и прозрачном, одинаково доступном как людям, глубоко знакомым с химией, так и читателям, впервые заинтересовавшимся этой наукой, то это, на мой взгляд, совершенно справедливо. Я бы на месте нашего уважаемого Иосифа Петровича определил этот стиль даже как художественный. Но в этом я, поверьте, совершенно не виноват. Все мои работы были переписаны этой рукой...

Он легко сошел со сцены в зал, подошел к Марье Андреевне и под аплодисменты присутствующих, к изумлению толстухи с бусами на шее, поцеловал ей руку и проводил ее на сцену.

Сердитая и скованная, Марья Андреевна шла за ним и силилась улыбаться.

Затем свободно и изящно он поблагодарил сначала по-французски представителей французской делегации, а затем по-английски — английской. Англичане снова смеялись какой-то его шутке, и на этот раз уже в зале переглядывались, спрашивали друг у друга, что он сказал.

Как красиво, как естественно все это у него получалось, с каким искренним восторгом аплодировали присутствующие этому выдающемуся ученому, который пришел в науку полуграмотным парнем — рядовым участником революции, а сейчас стал известным химиком, человеком с самым широким диапазоном знаний и интересов, культурнейшим человеком своего времени.

А в действительности все это было так.

Накануне первой империалистической войны черная сотня готовила на Подоле погром. Вооруженная револьверами, ножами, а то и просто гирьками на цепочках банда с иконами и хоругвями собралась на площади перед Думой, крышу которой украшал архистратиг Михаил — покровитель черной сотни.

Оттуда с пением гимна манифестация пошла вниз по Александровской.

Черносотенцев встретили рабочие. Началась драка. Вмешалась полиция.

Пристав, не разобравшись, ткнул в зубы рослому парню Косте Вязмитину, который совершенно случайно попал в толпу. И тогда он — огромный детина, первый силач на своей улице — ухватил пристава поперек, взмахнул им, как бревном, и стукнул подскочивших к нему городовых.

Он долго отбивался, но на него навалилась целая толпа, его связали и отправили в тюрьму вместе с рабочими, оказавшими сопротивление погрому.

Весь этот бой наблюдали молоденькие студентки-естественницы, сестры Маша и Липа. Они не знали, почему ввязался в драку Вязмитин, но они видели, как он действовал.

Девушки участвовали в студенческом кружке. Студенты носили передачи в тюрьму.

В тюрьме Костя Вязмитин сначала постеснялся сказать своим соседям по камере о том, что попал сюда случайно, а потом подружился с товарищами.

Крупная взятка, которую дал его отец, помогла ему избавиться от суда. Но когда он вышел из тюрьмы, отец, грубый и темный, по-своему очень честный человек, отказался впустить в дом «арестанта». Константин Вязмитин поступил работать на мельницу.

Основной целью, которую ставили перед собой участники кружка, куда входили Маша и Липа, было образование рабочих. Каждый член кружка должен был собрать небольшую — из двух-трех человек — группу и заниматься с нею. К Маше в группу попал Константин Вязмитин.

Маша — дочь известного киевского адвоката Григоровича — учила Константина всему, что знала сама. Впоследствии она стала его женой. Вязмитина привлекала химия — и она занималась с ним химией и языками. Она ушла со второго курса университета и больше туда не возвращалась.

Миновали годы революции. Константин Павлович стал сначала «подающим надежды», затем «талант-

ливым молодым», затем «крупным», а впоследствии «выдающимся» ученым, и по-прежнему каждый вопрос, который его интересовал, он предварительно обсуждал с Марьей Андреевной, и по-прежнему она подбирала ему всю литературу, делала переводы и выписки. Но она оставалась домашней хозяйкой, а он стал академиком, автором популярных учебников и исследовательских работ, известных только узкому кругу специалистов; он был избран в партийные органы — старый коммунист, член партии с 1920 года, а Марья Андреевна оставалась беспартийной, оставалась лишь женой академика Вязмитина...

Марья Андреевна спрятала газету на самое дно одного из ящиков своего стола и пошла на кухню. Вооружившись маленьким острым ножом, похожим на ланцет, она начала чистить картошку.

Этого он не должен был делать, — плотно сжав губы, думала о покойном муже Марья Андреевна. — Этого не прощают. Этого простить нельзя.

Он привел ее в четверг, когда у Вязмитиных собрались самые близкие люди. Он предложил познакомиться. Эта женщина — Марья Андреевна даже в мыслях не называла ее иначе как «эта женщина» — стояла перед ней, как солдат, выпятив тяжелые литые груди и глядя ей прямо в лицо своими близко поставленными к носу блестящими глазами.

— Очень рада. И мне и Константину Павловичу очень нравится ваш голос. Надеюсь, что вы не откажетесь спеть для нас? — сказала Марья Андреевна, улыбаясь и ощущая стыд и за улыбку, и за свой вопрос, и за ее ответ.

Она тогда смалодушничала. Но что другое могла она сказать? Ей казалось, что глаза всех присутствующих устремились на нее. Ей было так стыдно, что она почувствовала, как в ней появилось что-то неустойчивое, предупредительное, жалкое. А «эта женщина» не стыдилась. Она разговаривала с той особой благожелательностью, какая бывает только у людей преуспевающих и совершенно равнодушных к окружающим.

Марья Андреевна знала, что Константин Павлович ей изменяет. Он часто не ночевал дома. Правда, он всегда предупреждал: сегодня я не вернусь — мне предстоит командировка. «Командировки» все учащались. Она получала анонимные письма. От «доброжелателей». Всегда находятся «доброжелатели». В отпуск — в Крым и на Кавказ — он ездил теперь без Марьи Андреевны. Но — не один...

Пока варился суп, Марья Андреевна быстрыми, точными движениями нашпиговала печенку салом и чесноком и поставила в духовку.

...Все было по-прежнему в их доме. По-прежнему между девятью и двенадцатью часами дня Константин Павлович диктовал Марье Андреевне результаты своих исследований, заметки, сообщения, по-прежнему она их выправляла и вечером отдавала ему начисто перепечатанными. Как и прежде, к ним приходили знакомые. Но все — и он, и она, и эти знакомые — знали, что от прежнего осталась одна лишь оболочка. Прочная, затвердевшая, как камень, оболочка...

Марья Андреевна возвратилась в свою комнату. Она подошла к туалетному столику, посмотрела в зеркало, поправила волосы, расстегнула высокий воротничок платья и провела пальцами по тонкой, морщинистой шее.

...Как ему хотелось жить. Губы у него сделались тонкими и серыми. «Маша, — просил он. — Помоги мне!» Он никого не подпускал к себе, кроме Марьи Андреевны. Дни и ночи сидела она у его постели. Рак. Об «этой женщине» он не вспоминал даже в бреду...

Машинально Марья Андреевна взяла в руки обтянутую замшей деревяшку, насыпала на нее розового порошка и принялась полировать ногти. Так, по старинке, она делала маникюр.

...Марья Андреевна невольно разыскивала ее глазами. Но «эта женщина» не пришла на похороны. Весь путь до кладбища, за катафалком, через весь город, Марья Андреевна прошла пешком. Их последний совместный путь с Константином Павловичем...

Вернулась с работы Олимпиада Андреевна.

— Будем обедать сегодня одни, — сказала ей се-

стра. — Алеша придет позже. С девушкой. — Она искоса взглянула на Олимпиаду Андреевну и начала накрывать на стол.

— С Леной? Из газеты?

— Да.

Когда они пообедали, Олимпиада Андреевна спросила:

— А от Павла ничего не слышно?

— Нет. Как-то беспокойно.

— Маша! — сказала Олимпиада Андреевна с неожиданной нежностью. — А ведь ты — неисправимый романтик!..

...Несмотря на то, что сестрам очень хотелось хорошо думать о девушке, которая так нравилась Алексею, Лена произвела самое неблагоприятное впечатление. Она жеманничала, говорила неестественным голосом, умничала, цитировала классиков, да так, что Марья Андреевна каждый раз невольно внутренне морщилась, — Лена перевирала цитаты.

И если бы сестрам кто-нибудь сказал потом, что все это происходило с Леной потому, что она их просто боялась, они бы не поверили.

10

Говорят, у неудачника бутерброд обязательно падает маслом вниз.

У Семена Сорокина это происходило совсем иначе.

Если уж у него падал бутерброд, то он должен был пролететь по комнате, испачкать хозяйке новое платье, бумерангом сделать дугу и смазать маслом лысину почетному гостю и лишь после этого устремиться на штаны самому Семену.

Ему постоянно не везло.

В институте на экзаменах ему попадался именно тот вопрос, на который он не знал ответа.

Как только он спрашивал у товарища, не его ли он видел вчера в кино, присутствовавшая при этом жена товарища немедленно учиняла скандал, — оказывалось, что тот ходил в кино не с ней, а с ее подругой.

Ему случалось загодя, за два часа до отхода поезда, отправляться на вокзал — и все равно он опаздывал.

Его постоянно увольняли со службы, и в лучшем случае «по сокращению штатов».

Сам он себя не считал рассеянным человеком, но в расчетах, какие он производил, где-нибудь обязательно попадалась такая ошибка, что это могло привести к несчастью.

Однажды он едва не попал под суд.

Казалось бы, человеку повезло. Но нет — суда он избежал только потому, что у него оказался гнойный аппендицит, его забрали в больницу, где он чуть не отдал богу душу.

Он, собственно, и был создателем бригады «демонтажников».

В последний раз, когда его вышибли из артели, куда он был принят техноруком (неожиданно чулки, которые должны были приобрести цвет «загара», приняли синий цвет с зелеными разводами), он решил создать бригаду с этим загадочным названием.

В действительности же бригада занималась переноской и установкой несгораемых шкафов и разгрузкой тяжелого оборудования в местах, где нельзя применить кран.

Бригада перебивалась случайными заработками, и только после того, как ее возглавил Павел, работа бригады стала планироваться, а состав — увеличиваться.

После возвращения в Киев Павел решил было пойти на стройку каменщиком, но грузчики, с которыми он познакомился перед поездкой в Чернигов, посоветовали ему сначала поговорить с Сорокиным, — несмотря на свои странности, этот неловкий человек с грустными, даже когда он улыбался, глазами пользовался большим уважением за свою ученость и искреннее желание помочь каждому.

Так как вначале бригада не имела постоянного состава — в нее главным образом входили люди, желавшие подзаработать в свободное от основной работы время, — Павел, кроме Семена, был чуть ли не

единственным человеком, целиком занятым делами бригады.

Позже, когда в бригаду вошел Станислав Лещинский, бывший снабженец с необыкновенной коммерческой сметкой, дело стало расширяться. Лещинский умел находить выгодную работу. И не диво — бригада переносила и устанавливала любое оборудование в сроки значительно более короткие, чем полагалось по норме.

Первое время Павел жил у Вязмитиных. Он привык к порядкам этого дома, подружился с Алексеем, с Олимпиадой Андреевной.

Однажды, когда они остались в квартире вдвоем — он и Марья Андреевна, — Павел сказал:

— Сначала я не понимал этого... Ну, не понимал, что так же, как меня, вы приняли бы любого человека... что вы такие люди... Но все-таки — что вы тогда обо мне подумали? Вам Алексей сразу сказал, что я с ним подрался?

— Нет. Но я сама догадалась.

— А почему вы никогда не спрашивали у меня, как я попал в тюрьму?

— Я думала, что вы когда-нибудь мне сами об этом расскажете. И еще я думала, что человек в вашем положении больше, чем кто-либо, нуждается в помощи. Я хорошо знаю, как трудно становиться на новый путь. У немцев есть даже такая пословица: «Wer einmal aus dem Blechnapf aß, wird das bestimmt noch einmal tun» [1].

— А что это «Blechnapf»? — спросил Павел.

— Жестяная миска, в которой давали пищу в немецких тюрьмах.

— Не только в немецких, — возразил Павел. — Значит — судьба.

Марья Андреевна заметила, как в горле у него что-то прокатилось, словно он с трудом глотнул.

— Ну зачем же, — испугалась она своих неосторожных слов. — Просто предостережение.

---

[1] Кто однажды ел из жестяной миски, обязательно повторит это еще раз.

— Мне трудно рассказать об этом, — сказал Павел. — Боюсь, что просто не сумею. Может, вам это покажется смешно — я никогда никому об этом не говорил, — но вот я постоянно думаю всякую чепуху. Я как-то пробовал у товарищей расспрашивать — только со мной это или с другими тоже? Но лишь заговорил — меня на смех подняли.

Марья Андреевна слушала Павла молча. Она штопала чулок, аккуратно протягивая нитки в нашитую раньше основу. Ее неторопливые, верные движения успокаивали и делали ее особенно простой и близкой.

— Я — мечтатель, — сказал Павел с подкупающей откровенностью. — Вроде Манилова из «Мертвых душ». Вот возьму в руки нож и сразу представляю себе, как я оказался в каменном веке, когда люди не знали металла, и как этим ножом можно было и огонь добыть, и шкуру разделать, и вообще сделать для людей то, чего они не могли сами... Или вот, заглянул я у вас в первый день в какую-то химическую книгу. И представил себе сразу, как я дальше читаю эту книгу, а там листок вложен — с формулами. Стал я проделывать реакции по этим формулам, и вдруг оказывается, что листок этот был составлен каким-то погибшим ученым. Он открыл вещество, которое сделает человека бессмертным. Ну, в общем, «философский камень». А сам не успел его приготовить — погиб во время бомбежки. И вот, как я делаю это вещество и какие со мной происходят замечательные приключения...

Он умолк и поглядел на Марью Андреевну, как будто ждал чего-то.

— А если бы вы в самом деле нашли в книге такой листок, — медленно спросила Марья Андреевна, — вы бы проверили, что это за формулы?

— Не знаю, — не сразу ответил Павел. — Но думаю, что — да. Думаю, проверил бы, — повторил он тверже.

Марья Андреевна удовлетворенно кивнула головой.

— О чем же вы еще мечтаете?

— Да всего не перечислить. Как я, например, стал

невидимкой. Когда я был в лаборатории у Алексея, я представлял себе, что вот сам проделываю реакции и вдруг замечаю, что пробирка исчезла. Пробую рукой — она на месте. Образовалось такое вещество, что делает все невидимым. Но это только начало. А дальше, как я пробираюсь за границу, выкрадываю все планы вражеского командования и возвращаюсь назад. В общем, глупые мечты, детские, только вам вот я почему-то могу рассказать, какие мысли приходят в голову взрослому человеку.

— Что же, об этом и в самом деле не принято говорить, — задумчиво ответила Марья Андреевна. — Но мечтают все. И мне кажется, что именно эти неоформившиеся, пусть во многом наивные мечты со временем превращаются — если только человек к этому по-настоящему стремится, — превращаются в большие и нужные дела. Главное — проверить формулы, если они найдутся. А если не найдутся — придумать их самому.

Она улыбнулась, как улыбаются, вспомнив что-то свое, потаенное.

— Ну вот, возьмем хоть то, о чем вы говорили, — невидимку. Такие мечты помогли Уэллсу создать превосходный роман. И кто знает — быть может, ученые, открывшие пенициллин, вначале наедине с собой мечтали о лекарстве, которое сделает человека бессмертным. Во всяком случае, толчок всякому делу, я уверена, дает мечта...

— Только бывает и так, — возразил Павел, — что толкает эта мечта совсем не в ту сторону. Так, наверное, получилось и с моей мечтой о приключениях...

И он рассказал Марье Андреевне о встрече с Виктором, о дружбе с ним, о смерти матери, обо всем... И ему стало легче. Он знал, что, как бы дальше ни сложилась его жизнь, не будет у него человека ближе, чем Марья Андреевна. И ему очень хотелось сделать в жизни что-нибудь хорошее, чтобы это было приятно ей, чтобы она им гордилась, чтобы она не разочаровалась в доверии, которое она ему оказала и которого он не заслужил.

11

Еще в те времена, когда был жив Константин Павлович Вязмитин, по четвергам, в восемь часов вечера, в его доме собирались знакомые — ученые, музыканты, поэты, художники.

Бывать по четвергам у академика Вязмитина значило очень много.

Тут встречались только люди известные, прославившиеся в какой-то области. Именно здесь завязывались знакомства, которые помогали не столько служебным отношениям, сколько творчеству, сколько возникновению новых идей, которые впоследствии материализовались в виде мостов и машин, книг и симфоний, картин и театральных постановок.

После смерти Константина Павловича круг знакомых, навещавших по четвергам квартиру Вязмитиных, несколько уменьшился. Но ненамного. Просто сюда перестали попадать новые люди. Но тем более укрепилась эта традиция между старыми друзьями.

В этот четверг первыми пришли Павел Мефодиевич Косенко — поэт-академик, худощавый, необыкновенно деликатный человек с испуганными глазами, и Людмила Барская — известная пианистка, стройная женщина с очень светлыми, неестественно светлыми волосами, с напудренным тонким носом, одетая в черное с желтым, как крылья махаона, платье.

Профессор Петров — прославленный физик и замечательный человек, естественный той высшей естественностью, какая бывает только у людей, искренне убежденных, что для человеческого разума нет ничего невозможного, нужно только работать, — зайдя в комнату, принялся расспрашивать Олимпиаду Андреевну о том, не пора ли его дочке сделать операцию, — она опять, четвертый раз подряд, заболела ангиной. Его жена, чем-то неуловимо похожая на него, как всегда молча, смотрела на окружающих с таким милым, ненарочитым дружелюбием, что, не отличаясь ни интересом к сплетням, ни способностью острить, была настоящей «душой общества».

Мягко улыбалась Ольга Трофимовна — видный профсоюзный работник, старый член партии, одинокая женщина, которая и в шестьдесят лет сохранила свою незаурядную красоту. Ольга Трофимовна жила для людей. Она нянчила чужих детей, одалживала деньги, делала подарки, и никто не знал, была ли у нее хоть когда-нибудь своя жизнь. Очевидно, нет. Это был человек из породы подвижников, подвиг которых осознают, лишь когда они покидают этот мир.

Преувеличенно выражала радость по поводу встречи и рассказывала об особенностях китайских ваз, которые она привезла Марье Андреевне в подарок, Софья Аркадьевна — молодая, пухленькая, с таким необыкновенно ярким цветом лица, что недоверчивые женщины, знакомясь, присматривались к ней весьма придирчиво, со свежими, как шкурка помидора, не тронутыми краской губами. Она пришла с мужем — членом-корреспондентом Академии наук, специалистом в области физической химии, Олегом Христофоровичем Месаильским — пожилым, обрюзгшим, грибообразным мужчиной, одетым, как одеваются люди, которых не слишком интересует, какое впечатление производит их внешний вид на окружающих. Олег Христофорович и Софья Аркадьевна недавно вернулись из Китая, где Месаильский читал лекции в Пекинском университете.

— Китай — это грандиозно, — говорила Софья Аркадьевна. — Это необыкновенно, это интересно, это как... я забыла, есть такое китайское слово... Это — как вздыбленный конь. Но все равно к концу командировки и муж и я рвались домой, потому что и дым отечества...

Павел на таких вечерах чувствовал себя связанно и неловко. Чаще всего он уходил из дому. А когда оставался — все время молчал, его почти не замечали. Только Косенко, со свойственной ему преувеличенной деликатностью, мучительно переживающий малейшую неловкость, каждый раз заговаривал с Павлом, спрашивал, что он читает, кивал головой, потирал руки, нерешительно отходил, снова возвращался к Павлу и в общем с трудом переносил его присутствие.

Павел никак не мог привыкнуть к мысли, что Косенко, стихотворения которого он учил еще в школе, — прославленный поэт, живой классик, автор гневных, мужественных, резких и уничтожающих стихов, — в жизни такой тихий, такой скромный, возможно даже боязливый человек.

Зато Софья Аркадьевна, когда ее познакомили с Павлом, немедленно оказала ему большое внимание.

Она ни о чем не спрашивала.

Она сама говорила, и поэтому с ней было очень легко.

Она рассказывала, какие замечательные порядки в Китае, как по утрам специальные люди на велосипедах с колясками, похожими на большие клетки, собирают детей и отвозят их в детские сады, что китайцы одеваются очень просто и скромно — в синие хлопчатобумажные костюмы, но зато уж детей одевают ярко и нарядно, и что китайские дети — здоровые, жизнерадостные — одно из самых больших достижений нового Китая.

Павел заметил, что, разговаривая с ним, Софья Аркадьевна как бы наступает на него своей пышной грудью. Он отодвинулся. Она слегка покраснела и предложила:

— Почему же мы стоим? Присядем. Пусть они беседуют о своих ученых делах, — она кивнула на мужа, который разговаривал с только что вошедшим профессором математики Айзенштадтом, — а я пока расскажу вам о Китае.

Они сели рядом на диване, и Павел сразу же ощутил у своего колена нежное и мягкое колено Софьи Аркадьевны.

«Сколько ей лет? — думал Павел. — Это она со всеми так или только со мной? Тьфу ты черт, как жарко».

Софья Аркадьевна не умолкала.

— Как жалко, что вы не были в Китае, — повторяла она, часто поправляя обеими руками пушистые темные волосы с редкими серебряными нитями.

Павел с удивлением заметил, что у пухленькой Софьи Аркадьевны сухие, жилистые, не женские руки.

— А теперь давайте я вас познакомлю с моим мужем, — вдруг предложила она. — Вы ведь еще не знакомы. Мы привезли очень интересную коллекцию фарфора. Вы должны ее посмотреть. И мы надеемся, что вы обязательно нас навестите. Вас это очень заинтересует. Ведь мы ваши ближайшие соседи, живем прямо над вами, этажом выше. Так что, когда я танцую, — кокетливо добавила она, — то вам слышно.

— Познакомься, — обращаясь к мужу, пропела Софья Аркадьевна. — Это Павел Михайлович, друг Алексея Константиновича. Теперь он наш сосед.

Павлу показалось, что Олег Христофорович не очень доволен знакомством.

— Очень рад, — рассеянно сказал он и протянул Павлу болезненно-белую руку с толстыми пальцами, заканчивающимися синеватыми ногтями, рассеянно отвернулся и сердито буркнул профессору Айзенштадту: — Да, да, тысяча двести атмосфер. . . И тенденция к расслоению достигнет значительной степени. . .

Айзенштадт в ответ вытянул губы и засвистел совсем по-мальчишески:

— Это вы, батенька, загнули. . .

За чаем Софья Аркадьевна села между Павлом и Алексеем. Павла удивило отчужденное, словно похудевшее лицо Алексея. Разговор за столом был общим, он переходил от соседа к соседу, как сахар, варенье и печенье, которые гости ловко передавали друг другу, пользуясь способностью стола легко поворачиваться.

Говорили о современной опере. Не переставая есть, пить и похваливать многочисленные сорта варенья, которые подвигала ему Олимпиада Андреевна, Айзенштадт громко высказывал свои взгляды на этот вопрос. Он, Айзенштадт, считает, что современная опера вообще не может существовать. Ему думается, что когда на сцену выходит человек в современном костюме и вместо того чтобы попросить у жены — простите — свежие носки, поет об этом, — зрителю только смешно.

Марья Андреевна возражала.

— Нет, нет, — весело ответил Айзенштадт, — при

всем моем уважении к вам, скажу прямо... — Он смешливо прищурился. — На этот вопрос могут быть только две точки зрения: одна — моя и другая — ошибочная...

Ни на минуту не умолкала и Софья Аркадьевна. Ее грудной смешок тревожил и волновал Павла.

— ...Очень просим, — говорил Барской своим высоким и вместе с тем приглушенным голосом Косенко. — Очень вас просим. Это такое большое для всех нас удовольствие...

Барская отказывалась, но, сдавшись на просьбу Марьи Андреевны, села за пианино.

Павел, как вынул спичку, собираясь зажечь ее, так и замер посреди комнаты. Пианистка играла ту самую песню, которую пел женский голос там, в парадном, когда он вышел из тюрьмы.

...Над пыльной, раскаленной закатной степью, поросшей тревожно шумящей полынью, распластав огромные крылья, парил орел. В безысходной тоске он рвал когтями покрытую жесткими серыми перьями грудь, и капли крови — одна за другой — кап-кап-кап — падали в горькую пернатую полынь, и не было конца этой боли и этой муке...

По телу у Павла пробегал морозец удивительного ощущения. Хотелось не то заплакать, не то стукнуть кулаком по столу: «Еще не все пропало! Верьте мне! Я еще сделаю что-то очень хорошее!..»

Когда Барская, привычно улыбаясь, обернулась на аплодисменты, к ней подошел Павел.

— Что это вы играли?

— «Жаворонок» Глинки — Балакирева.

— «Жаворонок»? — с сомнением повторил Павел. — И песня есть такая?

— Романс.

Между небом и землей
Песня раздается —
Неисходною тоской... —

негромко запела пианистка.

— Не может быть! — убежденно сказал Павел.

— Что не может быть? — не поняла Барская.

— Не может быть — жаворонок, — повторил Павел. — Как же так — жаворонок?.. Вы слышали — как он поет? Это веселая, весенняя птица, и поет она весело, радостно. А это... это другая песня.. Это совсем не похоже на жаворонка...

Он чувствовал себя обманутым.

Барская потом осторожно осведомилась у Марьи Андреевны о Павле.

— Это наш друг, — лаконично ответила Марья Андреевна.

— Очень оригинальный человек, — заметила Барская, для которой, как это часто бывает у музыкантов, музыка никак не была наполнена конкретным содержанием.

Прощаясь, Софья Аркадьевна задержала в своей жесткой, сильной руке руку Павла и лукаво улыбнулась.

— Так мы вас ждем, — сказала она подчеркнуто громко.

...— Павел дома? — спросила Софья Аркадьевна, придя на следующий вечер.

— Дома, — ответил Алексей, который открыл ей дверь. — Входите, пожалуйста. — Вслед за ним вышла в переднюю Олимпиада Андреевна. — Сейчас я его позову.

— Пожалуйста. Такая беда! У нас перегорели пробки, и нет света. Я хотела попросить его починить.

— Там тебя просит Софья Аркадьевна, — сказал Алексей сухо.

Павел надел пиджак и, ощущая неловкость даже в спине, словно за ворот попали остья, отправился вслед за соседкой.

В передней со свечкой в руках стоял Олег Христофорович.

— Добрый вечер, — сказал он рассеянно Павлу. — У нас нет света. Перегорели пробки.

— Да, — сказала Софья Аркадьевна, — Павел Михайлович обещал помочь. Я очень на это рассчитываю. Вы понимаете в электричестве?

— Да нет, — ответил Павел, — не очень. Но давайте, попробую... Пробок запасных у вас нет?

— Нет. Скоро год, как прошу домработницу купить. Хоть бы ты позаботилась, — сказал жене Олег Христофорович.

Павел вывинтил пробки, осмотрел их, поставил «жучков». Свет по-прежнему не загорался.

— Вы не беспокойтесь, не беспокойтесь, — сказал Олег Христофорович. — Мы вызовем монтера. Где только найти его вечером?

— А у вас раньше не было там «жучка»? — спросил Павел.

— Был, — ответил Олег Христофорович. — Я сам как-то вставил. Собрался на следующий же день заменить настоящим предохранителем, но по рассеянности забыл.

Павел снова осмотрел счетчик. Он заметил, что один из вводов у клеммы перегорел и оплавился.

— Нельзя же ставить такого «жучка», — стал он выговаривать Олегу Христофоровичу. — У вас вся проводка могла сгореть. А она у вас скрытая, заделана в стенку. Попробуй потом почини...

— Так я ведь — тоненький волосок, — удивился Олег Христофорович.

— Да. Но он тоже перегорел, и я туда втиснула головную шпильку, — созналась Софья Аркадьевна.

— Так, выходит, и вы — электрик, — улыбнулся Павел. — Ну что ж, тогда помогите мне. Вот, придержите, пожалуйста, этот ввод.

Сам он взялся левой рукой за клемму, а правой, словно невзначай, прикоснулся к свободной руке Софьи Аркадьевны.

— Ой, — испуганно вскрикнула Софья Аркадьевна и отдернула руку. Пришла в себя и спросила дрожащим голосом: — Вас не убьет?.. Вы ужасно наэлектризованы!

— В самом деле? — удивился Павел. — А я и не заметил...

Зажегся свет. Софья Аркадьевна пригласила Павла осмотреть коллекцию фарфора и выпить чаю.

Комната, куда проводила его Софья Аркадьевна, была убрана на восточный лад: на полу и на стенах — ковры, огромная, в полкомнаты, тахта с

подушками в виде валиков, над тахтой на ковре винтовка со снайперским прицелом и немецкий кортик.

— Что это за пушка у вас? — заинтересовался Павел.

— Это моя винтовочка, — ответила Софья Аркадьевна. — Уже такая же старушка, как я. А сознайтесь — трудно сейчас поверить, что я когда-то из нее стреляла?

— Нет, почему же? — откровенно солгал Павел. Он и сейчас не верил.

Софья Аркадьевна капризно надула губы.

— Как вам не стыдно! Вот я вам сейчас альбом покажу.

В альбоме были собраны фотографии Софьи Аркадьевны чуть ли не со дня рождения. Но Павел возвращался к ним, этим детским фотографиям, от фотографий фронтовых, где Софья Аркадьевна изображалась то со снайперской винтовкой, то в компании офицеров, с кубиком в петлице, затем с тремя звездочками на погонах, с орденами и медалями.

— Вот. Снайпер Первого Украинского фронта. А вы-то пороха, наверное, и не нюхали?

Огорошенный Павел молчал.

Как безобразно должна была сложиться жизнь этой Софьи Аркадьевны, — думал он, — чтобы она стала такой... — он не мог подыскать слова. — Зачем ей понадобился этот старик!

— Вы работаете? — спросил он резко.

— А зачем вам это нужно знать? — задорно рассмеялась Софья Аркадьевна своим грудным, волнующим смехом. — Работаю. В институте химии...

Фарфор не понравился Павлу. Чашки как чашки. Тонкие.

— Замечательная коллекция! — сказал он довольно равнодушно. — Как в музее.

За чаем Олег Христофорович, обращаясь к Павлу, назвал его Алексеем Михайловичем.

— Какой же ты рассеянный, — укоризненно заметила Софья Аркадьевна. — Павел Михайлович.

— Извините, извините, — пробормотал Олег Христофорович. — Я запоминаю тысячи химических фор-

мул. Но запомнить имя — выше моих сил. Просто несчастье...

— Мы вам очень признательны за помощь... с этим электричеством, — сказала Софья Аркадьевна, спокойно и бесхитростно посмотрев на Павла — был у нее такой взгляд для подобных ситуаций. — Иначе нам пришлось бы сидеть в темноте...

Неужели это мне показалось? — думал Павел, спускаясь по лестнице. — Почему мне показалось, что пробки перегорели не случайно?.. Пробки... Чашки... Черт его знает что!..

12

Существует мнение, что редко встречаются женщины, которые ни разу не изменяли мужу, — морщась, думал Олег Христофорович. — И совсем не бывает женщин, которые изменяли мужу только один раз... Так что не на что и рассчитывать...

Когда в тот вечер он неожиданно вернулся домой, — научная конференция была перенесена на другой день, — он не застал ни Софьи, ни домашней работницы. В квартире было темно. Что-то случилось с электричеством. Он разыскал свечку и занялся ремонтом, но в это время вошли Софья и Павел.

Он сделал вид, что сам пригласил, как его... Павла помочь починить освещение. Софье он не напоминал о том, что это, мягко выражаясь, не совсем соответствует истине. Она тоже не напоминала. И ладно. Важно, что она знает... Ну, а если бы не Павел? Если бы кто-нибудь другой пришел чинить эти... пробки? Тут уже ничего не поделаешь. Главное, чтобы все обошлось... Тихо обошлось...

Он рассеянно натянул один рукав пальто, вышел из своего кабинета, прошел длинным коридором и спустился вниз по лестнице к машине в волочащемся за ним пальто.

О рассеянности Олега Христофоровича ходили легенды.

Это о нем рассказывали, что он встретил знакомого и пожаловался: не знаю, что со мной делается,

начал хромать. Знакомый увидел, что Месаильский шагает одной ногой по тротуару, а другой — по мостовой.

Это он говорил о себе в студенческой аудитории: приснилось мне на днях, что я сижу на заседании Ученого совета, где идет обсуждение докторской диссертации на тему, в которой я ничего не понимаю, — что-то по электричеству. Просыпаюсь — и оказывается, что я действительно на заседании и что диссертация в самом деле по электричеству.

Это ему случалось, расписавшись в ведомости, оставлять деньги, забирать ведомость и с убитым видом извиняться потом перед потрясенной рассеянностью профессора молоденькой кассиршей.

В действительности же Олег Христофорович не был рассеянным ни в малейшей степени. У него был ясный, холодный, немного ленивый ум и очень развитый инстинкт самосохранения. Лет двадцать тому назад он сделал довольно значительное открытие в области гетерогенного катализа, эффектно доказав, что американские исследователи просто шляпы. С тех пор он занимался только своей узкой областью в химии и считался в ней крупным специалистом. Но проходили годы, а новых открытий не было. Отдел, которым он бессменно руководил на протяжении многих лет в научно-исследовательском институте, постоянно поругивали за отсутствие научной продукции. Люди, которые пришли в науку намного позже его, сделали значительно больше. Положение его становилось все более неустойчивым. И репутация рассеянного, чудаковатого ученого, которую он сам себе терпеливо и настойчиво создавал, служила ему надежной защитой, помогала обходить острые углы. А их немало на пути ученого, который много берет и мало дает.

Он вошел в парадное и лицом к лицу столкнулся с Павлом. Павел настороженно, немного напряженно поздоровался.

— Здравствуйте, — ответил раздраженно Олег Христофорович. — Но я еще не написал заключения по вашей статье. Прошу завтра в институт.

Павел так и не понял, узнал ли он его.

За минуту до этой встречи Софья гладила ему руки, рукава пиджака и горячо, жадно шептала:

— Подожди... Подожди еще немножко... Обними меня еще раз... Крепче... Мне хорошо... Мне очень хорошо, когда ты меня так обнимаешь...

В тюрьме, в камере много и грязно говорили о женщинах. Особенно отличался Жора Унгиадзе, вихлястый парень с бледным лицом, украшенным орлиным носом и почти лишенным подбородка.

— Я тогда еще работал в санатории, — рассказывал однажды Жора, закатывая томные глаза. — Инструктором по физкультуре. И вдруг приезжает певица Алла Царькова. Соловей. Такая певица! Раз со мной говорит — какую физкультуру делать, другой раз говорит — какую физкультуру делать. Я предполагаю. Но молчу. И она мне сама говорит: генацвале, зайди ко мне в комнату после обеда. Отдельная комната, понимаешь. Певица, понимаешь. Соловей. Покой нужен, понимаешь. Прихожу. Лежит в кровати. Под простыней. Лето, понимаешь. Говорит: подойди сюда. Подхожу. Садись, говорит. Сел, а она снимает простыню и совсем голая бежит к двери. Закрывает на ключ, прячет ключ в карман...

— Это голая — в карман?! — не дали закончить Жоре. — Ах ты, падло...

А может, Жора этот правду рассказывал? — подумал Павел.

В первый же вечер, который они провели вместе, Софья сразу спросила:

— Когда вам нужно вернуться домой? Вы можете совсем не возвращаться? Олег Христофорович на два дня уехал во Львов. В командировку.

До чего она была бесстыдна! Бесстыдна и развращена!

Марья Андреевна разговаривала с Павлом попрежнему мягко и приветливо. Но Павел впервые ощутил в этой приветливости какой-то холодок. Как бывает после того, как съел мятную конфету. Вроде бы и ничего, а вдохнешь — и как-то прохладно во рту.

Никто — ни Олимпиада Андреевна, ни тем более Марья Андреевна — не показывали и виду, что им известно о его отношениях с Софьей Аркадьевной и что им это неприятно. А Алексей вообще последнее время мало бывал дома — рано уходил, поздно возвращался.

И все-таки Павел ощущал, и ясно ощущал, общее неодобрение.

Быть может, просто он сам был недоволен собой.

Во всяком случае, он решил переехать к товарищу по бригаде — к Васе Заболотному.

Когда он сказал об этом Марье Андреевне, у нее дрогнули губы, но она сдержалась и тихо ответила:

— Как вам угодно.

Маленькая комната Васи не была обременена мебелью — узкая железная кровать, застеленная серым солдатским одеялом, два стула — один из них венский с плетенным из соломки продавленным сиденьем, сверху на него была положена крышка от посылки, табурет, стол, покрытый газетой, тумбочка без дверцы, на которой стоял роскошный, дорогой радиоприемник с тремя динамиками; в книжонке, приданной к приемнику, указывалось, что это клубная радиола (и верно, Вася как-то включил на полную мощность — к ним прибежал милиционер с поста на углу), на подоконнике — полузасохшая герань: узловатый стебель и несколько листьев. Для Павла поставили раскладную, из алюминиевых трубок койку.

Павел рано вернулся с работы. Спешил переодеться — и к Софье. Очевидно, Софья была не очень перегружена своей работой. Достаточно было сказать, что идет в научную библиотеку, и можно совсем не приходить в институт. Теперь Павел встречался с ней каждый день. В тюрьме его как-то втянули в игру в очко. Это было похоже. Ненужно и гадко, а тянет.

Дверь без стука открылась, и на пороге показался Яков Семенович, старик, с которым Павел когда-то начинал свою работу у мебельного магазина.

— Еле нашел, — сказал он. — Здравствуй.

Яков Семенович принес четвертинку и завернутую в бумагу жареную печенку.

Павел, зная, как легко пьянеет старик, пить отказался.

— Ну хоть по маленькой! А я только понюхаю.

Он плеснул себе водки на самое дно стакана и выпил ее маленькими глотками. Глаза у него сразу посоловели.

— Нет заработка, — пожаловался он Павлу.

Яков Семенович хотел, чтобы Павел взял его в свою бригаду.

— Да мы ведь сейчас на строительстве работаем, в штате, — возразил Павел. — Тяжело вам будет. Вовремя приходи, вовремя уходи...

— Все равно, — упрямо твердил свое старик.

— А для чего вам работать? — спросил Павел. — Да еще — такелажником. Годы уже... пенсию получаете...

Яков Семенович помолчал, пожевал губами.

— Семья, — сказал он. — Для семьи.

И старик неторопливо, улыбаясь какой-то отсутствующей, мечтательной улыбкой, стал рассказывать о своей семье. У него были только жена и дочка. Дочка — красавица, на пианино играет, на киностудии работает. Жена — на машинке шьет. Дома — всего вдоволь. Но главное — хорошее отношение. Он, Яков Семенович, еще когда женился, все хорошо продумал. Распланировал, как дальше жить. Прежде всего — по мелочам не ссориться. Всеми делами — что купить, куда пойти — управляет жена. Он никогда не спорит. Но уж если он сказал слово — и жена и дочка знают, что это — кончено. Нужно было только с самого начала сделать, чтобы это слово было правильным. Но уж зато дома никаких споров, никаких раздоров.

В каждой семье кто-то должен быть главным — жена или муж. В их семье главный — муж. Его авторитет непререкаем. Но он никогда им не злоупотребляет. Взять хоть дочку. Красавица. На пианино играет. За ней многие ухаживают. Он понимает — любовь и все такое... Но дочка знает, — замуж она выйдет

только за человека, которого одобрит отец. Он прошел жизнь, он разбирается в людях, он не допустит несчастного замужества. И она это понимает и верит ему.

Главное в семье — чтобы все уважали друг друга, верили друг другу, не сомневались один в другом, не ссорились. У него — такая семья. У него нет нужды работать. Им хорошо живется и так. Но все-таки, когда подзаработаешь, принесешь дочке отрез на платье, или духи, или коробку конфет, или возьмешь билеты в театр и пойдешь всей семьей... Очень приятно, когда жена и дочка порадуются. Да и вообще лишняя сотня в семье никогда не помешает.

Павел слушал старика со смешанным чувством удивления и радости за него. Он никогда не предполагал, что Яков Семенович, да и кто бы то ни был, мог так разумно, так правильно и хорошо организовать жизнь в семье. Для такой семьи действительно стоит работать, — думал он.

Он договорился с Яковом Семеновичем, что тот завтра придет на стройку, а Павел поможет ему оформиться в бригаду.

Старик с трудом, нетвердо ступая, пошел к двери.

— Нельзя мне пить, — сказал он. — Даже нюхать нельзя. Слишком много было выпито, когда по морям ходил. В Голландии — джин, в Британии — портер, в Америке — виски, под Южным Крестом — ром. Плохо мне, Павлуша... Плохо мне, Павлуша. Тоска у меня...

Павел больше чем на час опоздал к Софье. Не мог же он так спровадить старика. Теперь он очень спешил. В лифт он не сел, а быстро прошмыгнул мимо лифтерши и — вверх по лестнице, через три ступеньки, чтобы не встретиться с кем-нибудь из Вязмитиных. Особенно с Марьей Андреевной.

Фр, фр, фр — поскрипывали на ступеньках его новые ботинки.

— Что же это ты так опоздал? — недовольно спросила его Софья. — Скоро придет Олег Христофорович.

— Так получилось, — ответил Павел. — Не мог раньше. — Ему не слишком хотелось встречаться с мужем Софьи. — Тогда я пойду...

— Зачем же? Он пообедает и уйдет. — Софья прищурилась так, что ее длинные ресницы сомкнулись, и презрительно сложила свежие губы: — На совещание.

Незадолго до прихода Павла она мыла голову. Волосы еще были чуть влажные.

— Соскучилась, — сказала она, прижимаясь к Павлу, часто и горячо дыша у его груди.

Павел собирался ответить, но так и не сказал ничего, а только успокаивающе погладил ее по голове.

С испугом он вдруг увидел, как под его рукой седеют волосы Софьи. Что это? — подумал он.

— Что это? — вырвалось у него.

— О чем ты? — спросила Софья.

— Да нет, я ничего.

Очевидно, это я их раздвинул, а у нее вся седина спрятана, — подумал Павел. — Не может же быть...

Софья отошла от него, стала по другую сторону стола. В передней щелкнул замок. Олег Христофорович рассеянно поздоровался с Павлом, так, словно прошло несколько часов, как расстался с ним. Затем поморщился и, как бы извиняясь за гримасу, поднес ко лбу руку и пожаловался на сильную головную боль.

Павел стал выражать сочувствие, преувеличенно и неестественно, сам стыдясь этого. Между прочим, он сказал, что у него ни разу в жизни не болела голова.

— У дятла тоже никогда не болит голова, — потирая виски, серьезно сказал Олег Христофорович.

— Почему? — глупо спросил Павел.

— Не знаю. Очевидно, такая крепкая голова. Ведь как долбит деревья.

Павел неловко усмехнулся, потом вдруг сжал зубы, наспех попрощался и пошел к выходу.

В передней Софья шепнула ему:

— Ты вернешься?

— Нет.

13

— Как же вы думаете поступить дальше? — спросил Григорий Леонтьевич, когда Лена рассказала ему, что Маша Крапка все же существует.

— Не знаю, — призналась Лена. — Я уже по-всякому думала. Может, пойти прямо на фабрику, к директору, и откровенно рассказать ему обо всем? — предложила она.

— Нет, — ответил Григорий Леонтьевич. — Это не годится. В конце концов, в письме, которое мы получили, выдвигалось обвинение против самого директора. — Он помолчал. — Мы сделаем иначе. Я вас свяжу с ОБХСС.

Лена не решилась спросить у Григория Леонтьевича, что такое ОБХСС, и была очень удивлена, когда узнала, что это один из отделов милиции.

— Короче, — несколько раз предлагал ей сотрудник ОБХСС, молодой майор в очках с толстыми стеклами. — Ох уже эти мне журналисты!

Выслушав Лену, он спросил:

— Вы много писем получаете с жалобами на хищения?

— По-моему, нет, — ответила Лена.

— Ну, а я — очень много. А хищений, поверьте мне, значительно меньше, чем писем. Много... ох, как много еще пишут у нас люди всяких доносов. — Он помолчал, нахмурился. — Статью вашу о фабрике я читал и помню ее. Хорошая статья. А вот вся эта ваша пинкертоновщина с Машей Крапкой — пустая и ненужная затея. — Его выразительные, слегка припухшие губы оттянула книзу легкая усмешка. — Не проще ли было сразу пойти к этой девушке и спросить у нее прямо, писала она такое письмо или нет? А может, это кто-то за нее написал? Такие случаи тоже бывают. На фабрике никаких хищений не выявлено, костюм — чепуха, а эта Маша действительно могла просто уехать в свою деревню. Мало ли какие совпадения случаются. — Он сложил пальцы и сейчас же разнял их. Лена по привычке присмотрелась, но не могла разобрать, какой палец сверху. — В общем,

скажу вам прямо, мы здесь люди дела и занимаемся делами, в которых имеется большая ясность. Но раз уж так сложилось — мы проверим, попробуем выяснить, куда делась эта ваша Маша Крапка.

В те дни в редакцию непрерывным потоком шли отклики читателей на статью Валентина Ермака: «Будем ли мы жить в этом доме».

В большинстве писем читатели одобряли статью, возмущались тем, что существуют такие факты, выражали сочувствие людям, о которых писал Ермак.

Однако в редакции статья эта вызвала большие разногласия, некоторые сотрудники категорически возражали против нее еще до опубликования.

— Вам это покажется странным или, может быть, вы подумаете, что я преувеличиваю, — говорил Валентин Николаевич Лене после того, как статья была опубликована, — но, к сожалению, в среде журналистов, так же как в среде актеров, художников, писателей, еще очень сильна зависть. Талантливых людей — немного. И они, как правило, независтливы. Но в любой творческой организации (а газета — организация прежде всего творческая) немало людей бездарных. И они всегда восстают против всего яркого, против всего талантливого, потому что хотели бы непременно подвести все под свой уровень. Яркое бесит их, как бесит быка красный плащ матадора... — Он тяжело вздохнул. — Вы, Лена, человек способный, и, к сожалению, вам еще не раз придется столкнуться с этим явлением, и еще будут дни, когда вы пожалеете, что избрали творческую профессию.

Лена отвела взгляд — так странно изменилось его лицо.

Он заставил себя улыбнуться.

— Во всяком случае, «хвалу и клевету приемли равнодушно» — мой вам совет. Совет старого газетного волка. Особенно хвалу. «Суть бо кияне льстиви даже до сего дне», — сказано в какой-то летописи. Летописец словно побывал в нашей редакции.

В статье В. Ермака рассказывалось о том, как строили дом для коллектива станкостроительного завода. Как медленно, с трудностями шло это строи-

тельство. Но вот, когда наконец оно было завершено, приступили к распределению квартир. В новом доме получили квартиры некоторые руководители завода, передовые рабочие, многие из тех, кто особенно остро нуждался в жилье. Но удовлетворить смогли не всех. Ермак рассказал, как он посетил квартиры двух рабочих из тех, которые подавали заявления на жилплощадь. Они жили в настоящих трущобах. Молодой слесарь Алексеев жил в комнате размером в двенадцать квадратных метров с двумя детьми и стариками — родителями жены. Помещение подвальное. Под полом собиралась вода — ее вычерпывали ведрами.

Именно тем двум семьям, которые больше всего нуждались, квартир не дали.

На летучке выступила заведующая отделом культуры Александрова, член редколлегии. Она особенно возражала против этой статьи еще до ее опубликования.

Александрова — немолодая женщина с постоянно поджатыми губами — о статье Ермака говорила с неожиданной злостью и негодованием.

— Для нашего коллектива большая радость, когда читатели живо откликаются на опубликованный в газете материал. Но отклики на статью Валентина Николаевича меня не радуют. Да, действительно, у нас трудно с жильем. Да, действительно, строим мы дома еще недопустимо медленно, и, если побывать в квартирах тех людей, которые состоят в списках горсовета, мы убедимся, что многие из них живут в тяжелых, недопустимо тяжелых условиях. Наконец, справедливо и то, что при распределении квартир допускаются и ошибки и злоупотребления. Обо всем этом газета должна говорить мужественно и прямо. Но какую цель должны мы при этом преследовать? Конечно — помочь делу, добиться ускорения строительства, призвать к ответу виновных в злоупотреблениях. Но ведь статья товарища Ермака преследует совсем другие цели. Прежде всего она исполнена самолюбования — ах, какой я хороший, как я сочувствую людям, как я умею все заметить: и плесень на раме портрета

Шевченко, и желтизну под глазами у ребенка, и особый запах, похожий на тот, что издает осенью застоявшаяся в болоте куга. Во-вторых, статья эта написана в чуждом нашей прессе сенсационном тоне и рассчитана на дешевый эффект. В ней сгущены краски, это злая статья. — Александрова оглянулась, отыскала глазами ответственного редактора и пристально посмотрела на него, как бы проверяя, достаточно ли внимательно он слушает. — Валентин Николаевич, как я знаю, гордится тем, что его материалы часто цитируют заграничные газеты. Ему кажется, это делают потому, что он очень хорошо пишет. А я думаю, совсем не поэтому. Я думаю — цитируют его потому, что в каждой его статье буржуазный пропагандист может найти для себя выигрышный материал...

— Это уж чересчур!.. — крикнул обиженный, покрасневший Валентин Николаевич. — Вы думайте, что говорите!

— Я много думала об этом. И пришла к простому выводу: если что-то у нас нравится нашим врагам — значит, это у нас плохо.

Александрова была чуть ли не единственным человеком в редакции, к которому Лена с самого начала своей работы почувствовала антипатию. Лене не нравилось сухое, без улыбки лицо Александровой. Ей было неприятно, что при встречах Александрова всегда коротко, словно неохотно, отвечала на ее приветствия, что, когда Лена передавала Александровой в отдел письма, та принимала их молча, ни о чем не спрашивая, словно не замечая Лену. И сейчас, когда Александрова так резко высказалась о статье, которая произвела на Лену большое впечатление, Лена решила выступить с возражением.

Она была настолько убеждена в несправедливости того, что говорила Александрова, что совершенно забыла о своем страхе перед публичным выступлением.

— Почему умение заметить самые точные и убедительные детали называется «самолюбованием»? — спрашивала она. — Конечно, Валентин Николаевич

писал в своей статье о том, что он видел собственными глазами, и поэтому у него много раз встречается «я». Но ведь это не потому, что он хотел выставить себя, а потому, что статья, написанная от первого лица, выглядит убедительней, вызывает больше доверия. И ведь так написаны многие статьи и очерки, это совсем не новая форма. Не могу я согласиться и с обвинением в сенсационности. Ведь наша газета не раз писала о недостатках в жилищном строительстве... Вот даже в передовой статье говорилось о чуткости, которую надо проявлять при распределении квартир. Но эти же самые мысли в статье Валентина Николаевича больше запоминаются потому, что она просто очень хорошо, художественно написана...

Лена хотела еще что-то добавить, но никак не могла вспомнить, что именно, растерялась и села на место.

Редактор газеты в заключительном слове, подводя итоги обсуждения, заметил, что, конечно, в какой-то части замечания Александровой следует признать справедливыми: в статье действительно несколько сгущены краски. Но в этом же номере опубликована информация об успешном строительстве жилья для трудящихся в Донбассе. Газета систематически помещает материалы, в которых рассказывается о новых поселках и целых новых городах. Были опубликованы фотографии домов и квартир. Конечно, всего этого буржуазные газеты предпочитают не замечать. Когда же у нас рассказывается о недостатках, они — вполне естественно — подхватывают такой материал. Но из этого вовсе не следует, что нам не нужно писать о недостатках.

Вечером на заседании редколлегии Александрова сказала редактору:

— Я категорически не согласна с вашей оценкой статьи Ермака. Но особенно меня тревожит то влияние — на мой взгляд очень вредное влияние, — которое оказывает Ермак на наших молодых работников.

— Дело ваше, — возразил Дмитрий Владимирович. — Но на вашем месте, чем обвинять кого-то

в плохом влиянии, я бы сам попытался оказать хорошее.

На щеках у Александровой появился кирпичный румянец.

— Хорошо, — сказала она. — Я попробую.

14

— ...С любой, — сказал Вася. — Стоит только захотеть.

— Что же ты ей скажешь? — спросил Павел.

— А вот посмотришь.

В воскресенье Павел и Вася, у которого он теперь жил, вышли погулять на Крещатик. Вася — рыжеволосый, веснушчатый паренек, с тонким, чуть-чуть свернутым набок носом, с лицом, постоянно сохранявшим смешливое выражение, уверял, что может в два счета познакомиться с любой девушкой и что в этот же вечер пойдет с ней в кино. Он предложил Павлу:

— Ну вот, выбери такую, что тебе понравится. Я ее еще и с тобой познакомлю. Только ты подожди в сторонке, не подходи сразу.

Павел стал всматриваться в лица встречных девушек. Как только он подумал о возможном знакомстве, не нравилась ему ни одна.

— Ну, вот хоть с этой, — сказал он наконец, злорадно предвкушая поражение Васи.

Им навстречу шла нарядная, высокая молодая женщина с гордо посаженной головой, украшенной взбитыми, словно пена, светлыми волосами.

— Хорошо, — сказал Вася. — Сию минуту. — Он догнал женщину и спокойно, с достоинством спросил:

— А где ваша труба?

Та от удивления даже приостановилась.

— Какая труба?

— Ну эта, большая, медная... На которой вы играли в прошлый раз...

Павел втянул голову в плечи и отошел в сторону. У женщины в руках была сумка, и к этой сумке было приковано все его внимание.

«Ударит она его сумкой или нет? — думал он. — Нет, видимо, уже не ударит».

Он искренне пожалел об этом.

Тем временем Вася продолжал что-то оживленно говорить, затем быстро зашагал рядом с женщиной. Павел следовал за ними невдалеке.

Вдруг Вася подозвал Павла.

— Знакомьтесь, — сказал он с неожиданной светскостью. — Это мой друг — Павел. Знаменитый демонтажник, передовик производства.

— Наташа, — назвала себя женщина. — А что такое — демонтажник?

— Неужели не знаете? — спросил Вася тем тоном, каким говорят, лишь когда сталкиваются с крайним невежеством. — Ну, хоть что такое монтажник — понимаете?

— Понимаю, — не очень уверенно ответила Наташа.

— Ну так вот. Демонтажники — это... ну, как бы вам попроще объяснить?.. Демонтажниками называются самые лучшие, самые образованные монтажники...

Они продолжали путь втроем. И Павел и Наташа почти непрерывно хохотали. Вася весь искрился весельем, он так забавно рассказывал о том, как они живут вместе с Павлом, о том, как готовят себе еду, что Наташа смеялась до упаду. При этом Вася, казалось, больше всего высмеивал самого себя, а симпатия к нему все возрастала.

— А мандариновое желе вы когда-нибудь готовили? — допытывался Вася у Наташи.

— Нет.

Лицо Васи приобрело свойственное ему в такие минуты нарочито простоватое выражение.

— Так, значит, вам неизвестна самая интересная еда. Основное блюдо холостяков, можно сказать. Когда мы с Павлом почувствовали, что можем убить человека, который только скажет слово «колбаса»,

когда мы стали закрывать в магазине глаза, чтобы не видеть банок с консервами, мы решили каждый день готовить себе новую еду. И вот Павел принес три такие небольшие коробочки. «Что это?» — спрашиваю. «Должно быть, хорошая штука. Мандариновое желе. Только очень сложный способ приготовления».

А на коробочке напечатана инструкция. Вскипятить воду, высыпать в нее желе и варить при температуре не выше 85 градусов, затем остудить. Я сбегал в лабораторию строительства, добыл термометр; вставили мы его в кастрюлю, держим — 85 градусов, а на газовой плите — это каторжная работа. Но приспособились. Варили, варили, затем остудили. И получился такой красивый розовый холодец. Целая кастрюля. Пригласили мы соседскую бабушку и ребятишек. Стали угощать. Сильная штука! Сожмешь зубы, откроешь рот, а челюсти у тебя сами — щелк. Как автомат! Между зубами застревают кусочки клея, из которого желе делают, они как резинки растягиваются. А соседская бабушка заявила, что подаст на нас в суд. За хулиганство. Мы же не знали, что у нее челюсти вставные. Мы думали — это настоящие зубы. И теперь мы с Павлом у всех новых знакомых спрашиваем: а у вас свои зубы? На всякий случай...

Спустя некоторое время Вася подмигнул Павлу, показал глазами — сматывайся, мол.

Павел попрощался и ушел.

Ну и находчив же, черт, — думал он. — Такое сказать. Где ваша труба? Если бы я попробовал это же самое спросить у любой встречной девушки, она бы, в лучшем случае, позвала милиционера... Ну и черт!

Домой Павлу не хотелось, и он решил пойти в кино. У самого входа в кинотеатр он лицом к лицу столкнулся с Виктором.

Павел побледнел, вздрогнул, но сдержался и не подал виду, что узнал его. А Виктор улыбнулся обрадованно и схватил Павла за руку.

— Вышел? Ну, слава богу! Как хорошо, что я тебя встретил! Где ты живешь? Что делаешь?

Он не выпускал руки Павла и был так обрадован,

что Павел заметил на его лице новое, прежде чуждое Виктору, мягкое, ласковое выражение.

Павел рассказал о том, что живет у товарища, что руководит бригадой демонтажников, которая сейчас работает на строительстве компрессорной станции газопровода под Киевом, а также переносит и устанавливает несгораемые шкафы.

— Может, лучше было бы организовать бригаду, которая открывает эти шкафы? — чуть прищурился Виктор. — Ну да ладно. Ты сейчас куда собирался?

— Да никуда особенно. Думал в кино.

— Пойдем в ресторан, — предложил Виктор, — и там обо всем поговорим.

Когда они уселись в самом углу за столик, Виктор, просматривая ресторанную карту, небрежно спросил:

— Ты обо мне так и не упоминал?

— Нет.

Виктор выслушал короткий, бессвязный рассказ Павла о том, как он отбывал срок, как ему за хорошую работу засчитывали день — за три, как неожиданно он был вызван в Киев на доследование, а затем отпущен. О семье Вязмитиных ему почему-то говорить с Виктором не хотелось.

— Хорошо, Павлуша, — сказал Виктор. — Главное, что ты вышел.

Подошел официант. Виктор неторопливо, со знанием дела заказал ужин.

К их столику, слегка покачиваясь, направился худосочный, прыщавый хлюст, карикатура на картинку из журнала мод, — все вроде бы так, но очень преувеличено.

— У вас свободно? — спросил он уверенно.

— Нет, — ответил Виктор. — Занято.

Хлюст постоял, тупо раздумывая о том, ввязываться ли в скандал, посмотрел на плечи Павла, пробормотал что-то не слишком почтительное и ушел.

— Ну что ж, за тебя, Павел, — сказал Виктор, чокаясь.

Подряд, не закусывая, он выпил три рюмки водки, понюхал хлеб, разрезал пополам редиску, намазал ее маслом и посолил. Когда он снова заговорил, его

чуть мурлыкающий, негромкий голос зазвучал с затаенным волнением.

— Если бы мы были на фронте... Если бы пошли в разведку... И если бы одному из нас — мне — пришлось отходить, а ты бы прикрывал мой отход... Я бы шел спокойно. Не оглядываясь. Ты — из тех людей, которые стреляют до последнего патрона. Из надежных людей... Ты ешь, — прервал он сам себя. — Не смотри на меня. Я обедал.

Он закурил.

— Но уж поверь мне: если бы ты отходил, а я остался, — ты бы тоже мог не оглядываться.

Он задумался, переплел и стиснул пальцы маленьких детских рук, затем достал из кармана конверт и положил его на стол.

— В этом конверте десять аккредитивов на предъявителя по три тысячи рублей каждый. Я хочу их дать тебе. У меня плохое предчувствие. Я хочу, чтобы ты взял их. Они тебе пригодятся. Один можешь израсходовать сейчас, а остальные пусть у тебя будут в целости год, начиная с сегодняшнего дня. Если я через год не обращусь к тебе, поступай с ними как знаешь.

— Я их не возьму, — сказал Павел.

Виктор улыбнулся печально и понимающе. Конверт он спрятал в карман и больше к разговору об аккредитивах не возвращался.

— Выпьем, — предложил он, наполняя рюмки. — Главное — что ты вышел. Теперь тебе предстоит избрать свой путь в жизни. Самым правильным будет — если ты пойдешь учиться. Чему угодно учиться. Хоть художественной гимнастике. Моя жизнь устроилась сложно, запутанно... Очень мне не хотелось, чтобы у тебя было так же. А начало у тебя вышло плохим. По моей вине. И я очень рад, что у тебя не осталось обиды. Очень рад. Но встречаться с тобой мы не будем. Не нужно этого. Так выпьем, пока мы вместе...

Из ресторана они ушли чуть ли не последними — около половины второго ночи. Перед тем как расстаться с Павлом, Виктор протянул ему вырванный из блокнота листок.

— Здесь номер телефона, по которому ты сможешь меня найти, если я буду тебе нужен. Если буду очень нужен. У меня «ксива». Зовут меня Владимир Иванович Смирнов. Не забудешь? А телефон лучше всего если ты запомнишь и листок сожжешь. Так будет спокойнее.

Когда Павел вернулся домой, он с удивлением обнаружил, что Вася еще не приходил.

— Ох и гуляка же, — сказал он вслух. — Но завтра ты у меня попляшешь! Все равно разбужу вовремя и на работу поедем вместе.

Вася пришел только под утро. Павел не спал. В блюдце, заменявшем им пепельницу, было полно окурков.

— Почему ты не спишь? — спросил возбужденный Вася.

— Так, — неохотно ответил Павел.

— Ты думаешь, это я с Наташей ходил? Ничего похожего. Я у Кати был. Эта Наташа не мной, а тобой интересуется. Все время о тебе спрашивала, кто ты да что ты. Просила познакомить получше. И чем ты ей так понравился — не пойму. Все время молчал, шел в сторонке. Может, и мне в другой раз нужно так попробовать?.. — спросил Вася. — Может, когда молчат — больше нравятся?..

...Силуэт башенного крана рядом с громадой цеха казался особенно стройным.

Совсем еще молодые хлопчики — пареньки в форме ремесленного училища — переставляли высокие трехъярусные леса. Павел отметил про себя, что эта, казалось бы самая несложная, операция отнимает много времени и труда. Все делалось вручную, падали длинные балки, ломались прибитые гвоздями щиты подмостей.

Распоряжался плотниками начальник участка Савельев — пожилой человек с маленькими выпуклыми глазами и ушами неправильной формы, торчащими, как плавники. Он был в суконном пыльном костюме. Команды плотникам подавал жестами — взмахивал руками, кивал головой, показывал что-то пальцами.

Его не понимали.

Наконец он знаками заставил рабочих спуститься вниз, подозвал их к себе и еще сильнее замахал руками.

Чего он хочет от этих плотников? — досадливо морщась, подумал Павел.

Из-за штукатуров задерживалась работа монтажников, и бригада Павла простаивала. Вася пристроился с самого утра на обшитых черным гидроизолом ящиках, в которых лежали части многотонных махин — компрессоров, и сладко спал.

Когда Павел подошел поближе к начальнику участка, плотники снова полезли на леса, а Савельев все так же размахивал руками.

— Здравствуйте. Когда же мы работу сможем начать? — обратился к нему Павел.

Савельев в ответ только молча кивнул и указал пальцем на плотников.

— А почему вы не поставили леса́ сразу вокруг всего цеха?

Савельев показал рукой на горло.

— Оси́п, — прошипел он. — В такую погоду. Пива выпил. И кричу.

Приблизив красное потное лицо к лицу Павла и выпучив под бесцветными бровями маленькие блестящие круглые глазки, он ласково зашептал:

— А какой дурак сказал тебе, что можно поставить сразу все леса? Где я столько леса возьму? И что бетонщики будут делать?

Павел поежился. Предложение его было совершенно бессмысленным. Конечно, сплошные леса помешали бы бетонщикам. Как он сразу не сообразил.

— Плотников, плотников забрали, а дали школьников, — перейдя с шепота на какой-то смешной писк, горячился Савельев. — Плотники на жилье нужны, а я и так обойдусь...

Он ткнул пальцем в сторону подмостей.

— Вот как я обхожусь! Оратория, а не работа. Ору — и все без толку. Охрип.

Грузной рысцой он побежал к молодому плотнику. Тот в одиночку пытался оттащить в сторону тяжелый

щит. Махнув рукой, Савельев подозвал двух рабочих-подсобников. Они подхватили щит и отнесли его подальше.

Вверху заискрился провод, переброшенный через ферму. Плотники задели его, снимая леса. По узкой лестнице, прислоненной к стене, к проводам полез электромонтер. Он пристроился на широкой балке мостового крана и, ухватившись одной рукой за ферму, начал чинить проводку.

Павел стал взбираться вверх по лестнице.

— Куда ты?! Это тебе что — цирк?! — закричал электромонтер.

Но Павел быстро добрался до балки и осмотрел ферму. А затем медленно, цепляясь руками за частые перекладины, спустился и снова пошел к начальнику участка.

— Тут можно штукатурить без этих подмостей...

— Можно, можно, — шепотком согласился Савельев. — На веревочках штукатуров подвесить, понимаешь?

По щекам Павла прокатились желваки.

— Да, только не на веревочках, а выгнуть из арматуры подвесные подмости и зацепить за фермы. Как закончите штукатурку стены, сразу можно перевесить на другую ферму. И в других цехах подвесные леса будут нужны...

— Нужны, нужны, — снова охотно согласился Савельев. — Как на баню — гудок.

Он развел руками.

— Кто ни придет — все советы дают. У всех душа за дело болит, понимаешь. Только у меня не болит. Все советуют. А я — работаю.

Савельев сипло откашлялся, неожиданно сорвался с места и тяжело побежал в противоположный конец цеха, где штукатурили откосы окон.

15

В эти напряженные дни строительства Павел вместе с другими членами бригады решил не уезжать домой. Их поместили в общежитие.

После работы Павел вышел погулять.

Он был недоволен собой.

Обманывать этого чудаковатого старика — мужа Софьи — было так же неловко и гадко, как ударить ребенка. И зачем? В Софье не было ни одной черты, которая нравилась бы ему. Кривляка. Как все неискренние люди, желающие казаться не тем, что они есть на самом деле, она постоянно пересаливала и бывала несносна.

...Павел уже одевался. В комнату Софьи вошла домработница Паша — Прасковья Сергеевна, пожилая женщина с блестящими мигающими глазами и глухим голосом, с круглым лицом без румянца.

— Павел Михайлович, — сказала Софья, — только зашел. У него оборвались все пуговицы. Некому пришить ему, бедному... — И вдруг добавила: — Вы, Паша, можете взять себе это пальто...

Паша вышла. Павел не решался поднять глаза.

— Ты меня не уважаешь, — с обидой сказала Софья. — А ведь я всем для тебя пожертвовала. Ты должен ко мне относиться с уважением. С таким, с каким ты говоришь о Марье Андреевне...

Павла передернуло.

Бесстыжая и развратная бабенка. Развратная и бесстыжая гадина с чистой и мягкой душистой кожей, умная и опасная. Он нахмурился и вдруг усмехнулся криво и невесело, как человек, который собирается сделать что-то такое, за что ему самому стыдно перед собой.

А что, если поехать к ней? — подумал он. — В последний раз...

Нет, — решил Павел. — К черту. Если я сейчас не остановлюсь... Если я сейчас не остановлюсь, — я никогда больше не смогу посмотреть в глаза Марье Андреевне...

У молодого соснового леска Павел догнал Петра Афанасьевича Сулиму — бригадира монтажников, который вышел погулять со своим сыном — четырехлетним Петей.

Некоторое время Павел с интересом прислуши-

вался к разговору отца с сыном. Петя шагал впереди, а за ним медленно — Петр Афанасьевич.

— Так куда нужно повернуть, чтобы выйти к станции? Направо или налево? — спрашивал Сулима-старший.

— Направо, — отвечал Петя.

— Правильно. А к дому?

— А к дому — прямо.

— А потом?

— А потом — опять прямо.

— Вот и неправильно, — сказал Петр Афанасьевич. — Что лежало у дороги, когда мы в первый раз тут ходили?

— Галка дохлая.

— Да нет, сынок, труба большая.

— И галка тоже.

— Верно, но я о трубе говорю. Так вот, помнишь, мы возле трубы повернули направо?

— Чуть-чуть повернули.

— Правильно, Петро, чуть-чуть. — Петр Афанасьевич неопределенно хмыкнул. — Ну хорошо, веди, только смотри, чтобы мы не заблудились.

Павел догнал путников.

— Что это вы сына муштруете, Петр Афанасьевич? — спросил он, здороваясь.

— Приучаю ориентироваться. Мать избаловала — всюду за руку водит.

Петр Афанасьевич взглянул на сына, губы его тронула застенчивая усмешка отца, который гордится первыми успехами ребенка.

— Посмотри, Петя, какой жук ползет, — сказал Павел.

Петя умело подобрал жука, но у него не хватило сил удержать его, большой рогатый жук вырвался, упал на дорогу и быстро пополз.

— Заверни его в платочек, — предложил отец. — Где у тебя платочек?

Петя достал из кармана рубашки чистенький платочек и, сразу измарав его в пыли, посадил в него жука.

— А что это за жук, дядя?

Павел стал рассказывать, любуясь свежим, умытым лицом мальчика и чистыми серьезными глазенками.

Петр-маленький был очень похож на Петра-большого. Так же как у отца, у него ежиком торчали коротко остриженные белесые волосы, так же вокруг вздернутого носика были разбросаны редкие веснушки.

Отец едва заметно прихрамывал на правую ногу, раненную в дни обороны Севастополя. Чуть-чуть прихрамывал и сын, перенявший походку отца.

— Пока цех оштукатурят, не меньше недели пройдет, — сказал Петр Афанасьевич так, словно продолжал начатый разговор.

— В три смены работают, — ответил Павел. — Может, и быстрей будет.

— Бетонируют в три смены, а штукатурят в одну. Глупость у них получается. Штукатурными машинами раствор на стены набросают, вручную затрут, а потом плотники три часа на новое место подмости переставляют.

— Да, — сказал Павел. — Я вот ихнему начальнику участка говорил подвесные подмости сделать, да он и слушать не хочет.

— Какие подвесные?

Павел рассказал. Они стояли на повороте, «где лежала дохлая галка»... От молодого сосняка шел крепкий и густой хвойный дух. Темнело. С писком заметалась над ними какая-то маленькая птаха. И вдруг от леса через дорогу понесся заяц — ушастый комок.

— Смотри, смотри, Петя! — с азартом закричал Петр Афанасьевич и пронзительно, по-разбойничьи, засвистел, как это умеют делать только верхолазы, в грохоте клепки на высоте подающие таким путем сигналы. Заяц наддал.

Вечером Павла вызвали к начальнику строительства Сергею Ивановичу Бушуеву. Павел был удивлен и встревожен.

— Может, это не меня? — спросил он у бородатого старика сторожа, который пришел за ним в об-

щежитие. — Может, на строительстве есть другой Сердюк?

— Да нет, тебя, — ворчливо ответил сторож. — Монтажника. Из общежития. Сказали, чтоб сейчас же и шел.

Как только Павел открыл дверь в небольшую, с устоявшимся запахом табачного дыма комнату перед кабинетом начальника строительства, он увидел, что в кабинет быстро вошла невысокая женщина. Он хотел было последовать за ней, но передумал.

Подожду, — решил Павел. Сквозь неплотно прикрытую дверь до него донеслась скороговорка:

— Сергей Иванович, я к вам на минутку, по очень важному делу, вас никогда не застанешь, вы все время на стройке...

К Бушуеву пришла начальник санчасти строительства, совсем молодой врач Вера Гурина.

— Здравствуйте, Вера Ивановна. Садитесь, пожалуйста, — прервал её Бушуев. Он любил всегда взволнованного начальника санчасти именно за это волнение, за то, что Гурина, видимо, даже не представляла себе, что могут быть какие-нибудь дела более важные, чем дела ее санчасти, и, вероятно, совершенно искренне считала, что строительство специально создано для того, чтобы она и ее медсестры предохраняли строителей от всех существующих болезней.

— Здравствуйте, — нахмурила Вера свой гладкий и выпуклый лоб. — Так дальше продолжаться не может!..

— Что случилось, доктор?

— Вы даже не знаете! Брюшной тиф! — выпалила Вера.

— Были случаи заболевания?

— Что вы, Сергей Иванович! — возмутилась Вера. — Если бы хоть один случай — разве я могла бы так спокойно разговаривать? — Не давая возразить, она веско добавила: — Но такие случаи возможны. Представьте себе, на строительстве имеются люди, которые до сих пор не сделали прививки...

Бушуев опустил глаза.

— Что вы говорите, доктор? — серьезно удивил-

ся он. И убежденно добавил: — Этого не может быть! Что угодно — только не это!

В голосе его не было и тени улыбки.

— Это факт, Сергей Иванович. Только на первом участке из ста тридцати четырех рабочих — двадцать восемь человек не сделали прививки. Двадцать процентов. И среди них сам начальник участка Савельев, хотя он это упорно скрывает...

— Ай-ай-ай, — укоризненно покачал головой Сергей Иванович. — Савельеву обязательно нужно сделать укол... Он вполне заслужил это. — Настраиваясь на серьезный лад, он спросил: — Что же вы предлагаете?

— Нужно издать приказ по строительству, — горячо потребовала Вера, — что люди, не сделавшие прививки, будут рассматриваться как злостные нарушители трудовой дисциплины. Вплоть до увольнения...

— Административными мерами такие вопросы не решаются, — возразил Бушуев. — В конце концов, делать или не делать прививку — личное дело каждого.

— Это не личное дело, — отрезала Вера. — Профилактика болезней не личное, а важнейшее общественное дело!..

Глаза ее заблестели, как у человека, готового заплакать.

— Вы не волнуйтесь, доктор, — миролюбиво посоветовал Бушуев. — Нужно больше заниматься разъяснительной работой.

— Я не волнуюсь. Но вот вы, Сергей Иванович, вы сделали прививку?

— Да... понимаете... не успел как-то, — нерешительно ответил начальник строительства.

— Ну вот! Что же спрашивать с рядовых рабочих?

Бушуев больше всего ценил в людях настойчивость. «Уж если тебе поручили пришивать пуговицы, — часто повторял он, — пришивай их так, словно на эти пуговицы будут пристегивать северное полушарие земли к южному!» Вера крепко пришивала порученные ей пуговицы.

— Не сердитесь, Вера Ивановна, — обезоруживающе улыбнулся Бушуев. — Мир! Обещаю вам, что и сам сделаю прививку и на участках заставлю людей сделать ее, проклятую. Но без приказа. Просто возложим ответственность за это дело на всех бригадиров...

До Павла доносились из кабинета отдельные слова.

Неужели начальник строительства вызвал меня почти ночью, чтоб заставить сделать прививку? — с удивлением думал он. — Не может же этого быть...

— Извините, Вера Ивановна, но...

— Это вы извините, что я так поздно. Большое спасибо...

Вера успокоилась: всем было известно, что если уж Бушуев что-либо пообещал — выполнит. Начальник строительства пошел к двери, чтобы проводить ее, и увидел Павла.

— Вы Сердюк?

— Я.

— Что же вы тут сидите? А я вас давно жду... Это вы предложили подвесные подмости?..

На следующий день, когда Павел утром пришел в компрессорный цех, он увидел, что штукатуры работают на подвесных подмостях.

Начальник участка то хрипло шипел, то в голосе его неожиданно прорывался густой бас.

— Зачем нужно было этот шум поднимать?.. Подвесные леса, подвесные леса... Я бы их и сам сделал... Ты что, обиделся?

— Да нет, — с деланным равнодушием ответил Павел. — Какая тут обида...

16

Две похожие головы — одна большая, Петра Афанасьевича, и другая маленькая, Пети, — склонились у радиоприемника «Родина».

Батареи разрядились, и приемник работал так тихо, что нужно было подставить ухо к самому динамику, чтобы разобрать что-либо.

Москва передавала сводку погоды.

— Слышишь, — не оглядываясь, с увлечением говорил Петр Афанасьевич жене, — она сидела у окна и вязала замысловатое покрывало на подушку. — Во Владивостоке — двадцать пять.

— Жарко, — равнодушно отозвалась Клава.

— А в Донецке — пятнадцать, — через минуту радовался Петр Афанасьевич.

— А в Киеве — девятнадцать, — обрадованно повторял маленький Петя.

Петр Афанасьевич любил слушать сводку погоды.

Ведь вот, казалось бы, простая радиопередача — города и температура воздуха. А как много говорит она сердцу!

Вслушиваясь в это деловитое перечисление, особенно ясно представляет себе советский человек Родину — огромную страну, где в один и тот же час на юге от полуденного жара плавится асфальт и соленая морская волна становится теплой, как парное молоко, а на севере не тает вечная мерзлота и огромные сверкающие льдины плывут по вечно холодному океану.

— Нужно будет сменить батареи, — решил Петр Афанасьевич, выключая приемник.

— Другое радио нужно, — возразила Клава, не поднимая глаз от рукоделия. — Только у нас с батареями. У соседей, у кого ни посмотришь... Включаешь — и играет, как хочешь — и громко и тихо...

— Зато на новом месте, пока нет тока, те приемники молчат. А этот — хоть в чистом поле поставь — будет работать.

— Сколько же тех новых мест будет?

— Ладно. Говорили-переговорили, — строго оборвал Петр Афанасьевич. Он подошел к столу и взял газету.

— Ты бы облигации проверил. Трехпроцентный тираж был. Михаил Прокофьевич четыреста рублей выиграл.

— Тираж?.. Что ж, давай проверим. Может, мы сейчас не четыреста, а целых двадцать пять тысяч...

Петр Афанасьевич открыл дверцу дешевого платяного шкафа из плохо отполированной фанеры, крытой светлым лаком, и достал крупную шкатулку. Эта резная, карельской березы шкатулка тонкой переборочкой, изготовленной рукой Петра Афанасьевича, делилась на две неравные части. В меньшей лежали деньги, облигации, сберегательная книжка, какие-то квитанции. В большей части Петр Афанасьевич хранил дорогие для себя вещи и документы.

Тут лежали ордена, значки «Отличник соревнования», грамоты, пожелтевшее и подклеенное на сгибах полосками бумаги письмо за подписью Серго Орджоникидзе. Нарком обращался лично к монтажнику: «Прошу Вас, Петр Афанасьевич, приехать в Челябинск со своей бригадой и показать, как работают настоящие монтажники-верхолазы». (Сулима был тогда еще монтажником-верхолазом, и Петром Афанасьевичем его назвали чуть ли не впервые.)

А сверху лежала тоже пожелтевшая, сложенная во много раз карта Советского Союза. На ней, с присущей ему аккуратностью, Петр Афанасьевич при каждом переезде на новое место работы наносил тоже памятным, хранившимся в шкатулке карандашом (Сулима получил его на приеме стахановцев в Кремле) проделанный путь. И чернилами проставлял даты приезда и отъезда.

Прямые и четкие, проведенные по линейке красные стрелы соединяли Донбасс с Дальним Востоком, Москву с Челябинском, Днепропетровск с Ленинградом, устремлялись в Магнитогорск, снова возвращались на Дальний Восток и, пересекая необъятные просторы, шли к Баку.

— Папа, покажи орден с Лениным, — попросил Петя.

Он каждый раз обращался к отцу с этой просьбой, когда видел, что Сулима открывает шкатулку.

— Хорошо, — согласился Петр Афанасьевич, — сейчас покажу.

Он бережно снял карту и достал потускневший, немного потертый орден старого образца, без ленты. Орден крепился на одежду винтом.

— Держи, Петро.

Укладывая обратно содержимое шкатулки, Петр Афанасьевич взял в руки изогнутую, плохо обкуренную трубочку. Он неприметно улыбнулся и снова положил ее на место.

Петр Афанасьевич курил папиросы. Но оседлую, спокойную жизнь он представлял обязательно с трубочкой, с колючими, непонятно устроенными кактусами в глазированных глиняных горшках, с душистой ночной фиалкой под окнами.

Специальность, которой в совершенстве владел Петр Афанасьевич, очень ценилась на строительстве. Во многих городах Советского Союза, на многих стройках знали и помнили Сулиму — в прошлом отважного верхолаза, а затем выдающегося мастера сложного и ответственного дела — монтажа мощных дизелей и газомоторов.

Естественно, что эксплуатационникам, хозяевам смонтированного Петром Афанасьевичем оборудования, очень хотелось бы оставить такого мастера у себя. Знаток механизма, собравший своими руками каждый винтик многотонной махины, был бы незаменимым человеком при ее эксплуатации и особенно при ремонте.

Петр Афанасьевич решительно говорил жене:

— Ну, жинко, тут мы остаемся...

— Наконец-то, — радовалась Клава. — А не будет, как в прошлый раз?

Петру Афанасьевичу, как лучшему мастеру, выделяли хорошую квартиру. Клава хлопотала о мебели, разыскивала семена цветов, из шкатулки извлекалась трубочка.

Так продолжалось месяц-другой, пока машины нуждались в дальнейшей наладке, в отработке режимов, пока новые машинисты еще не овладели как следует своим делом.

Эти месяц-два Петр Афанасьевич после работы вовремя возвращался домой, вечерами часто ходил с женой в кино, в театр.

Но вот наступало время, когда Клава замечала, что муж все чаще хмурится, вспоминает строитель-

ство; читая газету, удивленно вскидывает брови: «Ты подумай, какую стройку горьковчане завернули...» или: «Ты посмотри, Бушуев — начальником строительства... Помнишь его?..»

Мало этого, Клава с огорчением чувствовала, что не только мужу, но и ей как-то не по себе на тихом месте — она выросла на строительстве, привыкла к шумной, напряженной жизни наших строек.

А тут тишина, покой, муж ходит злой и сонный.

И не особенно удивлялась уже, когда Петр Афанасьевич получал из главка, или из треста, или от знакомого начальника строительства письмо с предложением возглавить бригаду монтажников на какой-нибудь новой, чрезвычайно интересной, по мнению мужа, стройке.

Конечно, получалось «как в прошлый раз». Трубочка укладывалась в шкатулку, а шкатулку Клава, тяжело вздыхая, опускала в большой, видавший виды чемодан.

На новом строительстве Клава безрадостно осматривала маленькую, неудобную комнату, где им предстояло жить, — новые дома только закладывались.

— И долго так будет? — ожесточалась Клава.

— А что нам, малярам? — отшучивался Петр Афанасьевич, обрадованный тем, что снова попал в родную стихию. — Детей-то у нас нет. Чего же жить как старикам — чай пить да на прогулки ходить? Вот будет ребенок — сразу остановимся и с места не стронемся.

Впоследствии Петр Афанасьевич перенес этот срок до того времени, когда Пете нужно будет в школу, в первый класс, и дал Клаве слово, что это — окончательно.

...— Нет, Клава, плохо мы играем, — сказал жене Петр Афанасьевич, укладывая на место облигации. — Ничего не выиграли. Близко есть — на два номера, а нашего нет.

— Жалко, — искренне огорчилась Клава.

Она слегка нахмурилась, словно к чему-то прислушиваясь. Петр Афанасьевич погрузился в газету. Петя вытащил из-под своей кроватки ящик с игрушками.

Он уселся на коврике — настолько потертом, что в центре его проглядывали толстые нити основы, а по краям от ярких цветов остались лишь бледно-розовые пятна, — и принялся сооружать из кубиков компрессорный цех.

Внезапно Клава побледнела, закусив губу, привычным движением сложила вязанье, осторожно поднялась и подошла к кровати — снять со спинки грелку.

Петр Афанасьевич глянул на нее, встал и, морщась от боли, которая словно передалась ему, спросил:

— Опять печень?

— Да, — коротко выдохнула Клава.

— Что же ты... за грелку, — сказал он досадливо. — Я сам согрею и дам.

— Поменьше воды налей в чайник... Чтоб скоро...

— Знаю.

Когда он вернулся из кухни, Клава лежала на диване, неудобно опустив голову рядом с подушкой. Завернув грелку в полотенце и подавая ее Клаве, Петр Афанасьевич ворчливо начал:

— Когда ты, наконец, по-настоящему за лечение примешься? Говорим, говорим — и все без толку...

— Ты мне скажешь об этом в другой раз, — сверкнула Клава расширенными от боли зрачками.

Присев на край дивана, Петр Афанасьевич поправил подушку, достал из кармана платок и осторожно вытер Клаве лоб.

— Тише! — прикрикнул он на Петю, затарахтевшего игрушечным поездом. — Подойди сюда!

Петр Афанасьевич посадил малыша на колени и ласково погладил его по голове своей большой, сильной рукой.

Петя посмотрел на маму, утих.

С острой жалостью взглянув на терпеливое лицо жены, Петр Афанасьевич провел платком по ее шее.

Никто бы не узнал теперь в этой легкой, худой, плоскогрудой женщине с острым лицом и ча-

стыми морщинками на лбу веселой хохотушки, кругленькой и подвижной, как шарик ртути, девушки-штукатура.

Петр Афанасьевич познакомился с Клавой за четыре года до войны в Грозном, на строительстве новых нефтепромыслов. Клава, как, впрочем, и Петр Афанасьевич, очень любила сладкое, и он быстро разгадал эту ее слабость, ловко оттеснив своих довольно опасных соперников.

В начале войны Петр Афанасьевич ушел в армию. Клава вместе со своими подругами поступила на краткосрочные — по военному времени — курсы медицинских сестер. Вскоре она была призвана.

Каптенармус — старшина из сверхсрочников, мрачный, брюзгливый человек — записывал на карточку размеры одежды.

— Нога? — сказал он.

— Тридцать два, — ответила Клава.

— Я спрашиваю размер обуви, — сказал старшина.

— Тридцать два, — повторила Клава.

— Да ты что, не понимаешь, что у тебя спрашивают? — обозлился старшина. — Покажи ногу.

Клава показала. Старшина захлебнулся от негодования.

— Тут что тебе — детский сад? Где я такие сапоги возьму? Вот тебе сапоги недомерки сорокового размера, а на портянки постарайся добыть пару простынь. Может, тогда они и не спадут...

И все-таки сапоги спали, когда Клава, которая участвовала в боях на севере, в Карелии, однажды под огнем тащила раненого в холодном осеннем болоте.

Она тяжело простудилась. Долго лежала в госпитале.

С этого времени начались у нее болезни, так иссушившие тело, приглушившие звонкий голос...

От веселой красавицы Клавы остались только глаза — мягкие и глубокие. Лоб пожелтел и покрылся морщинами, щеки втянулись, губы увяли. Но что

было особенно больно, особенно обидно — не могла Клава иметь детей.

Долго совещались Петр Афанасьевич и Клава и решили взять ребенка на воспитание.

Дело это оказалось вовсе не таким простым и легким, как об этом часто говорят и пишут. Потребовалось много хлопот, справок о здоровье, о семейном положении, заработке, квартире и прочих справок.

Наконец они пришли в детский дом, где молодая, официально строгая заведующая предложила им выбрать ребенка.

Между Петром Афанасьевичем и Клавой еще дома по вопросу о выборе был серьезный спор.

Что мальчика — это было решено с самого начала, но муж настаивал на том, что мальчика нужно взять крепкого, а Клава говорила — ласкового.

— Откуда же видно, ласковый он или нет? — возмущался Петр Афанасьевич.

— Я узнаю, — упрямо твердила Клава.

В детском доме у Клавы разбежались глаза.

В младшей группе были белокурые, розовощекие девочки, словно сошедшие с картинок, черноглазые мальчики с уморительными нежными рожицами — веселые и лукавые, бойкие и тихони.

И вдруг Клава увидела на руках у няни маленького, редковолосого мальчика с удивительно знакомым профилем.

— Да ведь это твоя копия! .. — воскликнула она и протянула руки к малышу. Он к ней охотно пошел.

Петр Афанасьевич, как всегда в минуты волнения, слегка посапывая носом, осторожно убрал со лба малыша влажную прядку, конфузливо улыбнулся, согласился:

— А нос и впрямь как у меня. . .

Это решило судьбу малыша. При переезде на новое место они никому не рассказали, что ребенок взят в детском доме. Да если бы и сказали — им не поверили. Сходство маленького Пети с Петром Афанасье-

вичем — такое заметное с самого начала — со временем, казалось, все увеличивалось.

Веселый, здоровый мальчик вскоре стал главным членом небольшой семьи, — на нем были сосредоточены лучшие чувства старших: их любовь и забота, надежды и тревоги.

Особенно радовался мальчик немногим часам, которые он проводил с отцом. Выходного дня он ожидал, как праздника, и часто, подвинув стул к стенке, выискивал в отрывном календаре красные числа.

Отношения его с Клавой были более обыденными. Но когда Пете нездоровилось или, как это случилось однажды, он ожегся, прикоснувшись рукой к раскаленной дверце печки, он прижимался к матери, словно искал у нее защиты от боли.

И когда после купания ребенка Клава прижимала чистую, с влажными, коротко остриженными волосами головку к груди, — невозможно было даже предположить, что мальчик вскормлен не этой грудью.

...Боль у Клавы, видимо, уменьшилась; она задремала. Задремал и Петя на руках у отца.

Надо ее лечить, — думал Петр Афанасьевич, глядя на похудевшее лицо жены. — Все чаще припадки... Но как ее лечить, когда она сама говорит, что скорее гадюку проглотит, чем кишку эту?.. А без кишки лечить не могут... Нет, надо взяться всерьез...

Грелка сдвинулась. Петр Афанасьевич повернулся, чтобы поправить ее. Клава открыла глаза, слабо улыбнулась.

— Что, лучше тебе?.. Или доктора позвать?

— Нет, уже прошло... Только слабость — будто сто километров пешком...

Она приподнялась.

— Петю покормить нужно и спать ему...

— Ты лежи, я сам.

— Ничего, уже не болит... Это не припадок сегодня, а так... предупреждение. Не ешь, дура, селедку, не обманывай медицину...

Петр Афанасьевич осторожно положил Петю на диван, но он проснулся, широко открыл глаза и вдруг спросил:

— А от кислорода взрыв больше, чем от пушки?

Отец не удивился.

— Взрыв, Петро, не от кислорода, а от водорода, я тебе говорил. Если смешать их. А вообще, можно и больший сделать, чем от снаряда.

— Чем ты забиваешь ребенку голову?! — возмутилась Клава.

Как-то недавно в выходной день Петр Афанасьевич ходил с Петей гулять на строительный участок и между прочим показал ему баллон с кислородом и газосварочный аппарат. Он положил себе за правило не оставлять без ответа ни одного вопроса мальчика, и Петя злоупотреблял этим. С трудом приспосабливаясь к представлениям ребенка, Петр Афанасьевич объяснял, что если смешать эти два газа и туда попадет искра — произойдет взрыв и получится капля воды.

— Садись ужинать, Петя.

Петя уже допил свое молоко, когда в дверь постучали. Вошел Павел, поздоровался, погладил Петю по голове.

— Весь в отца, — сказал он одобрительно. — Как вылитый!

Петр Афанасьевич переглянулся с Клавой. Конечно, это не имело большого значения, и не за это так любили они мальчика. Но все же каждое упоминание о сходстве Пети с отцом радовало их и трогало.

— Ну, а стихи какие-нибудь ты знаешь? — спрашивал между тем мальчика Павел, как это некогда делали гости, когда приходили к ним в дом и желали доставить удовольствие его матери.

— Знаю, — смело отвечал Петя.

— Расскажи, — попросил Павел, оглядываясь на Петра Афанасьевича.

Петя стал на коврик перед своей кроваткой и уверенно начал:

Оля с Колей были в поле,
Там, где овощи растут,
Рассказали детям в школе,
Что они видали тут.
Красный мак, красный мак,
Он кивает ветру так...

— Ты, Петя, другие, — недовольно сказал Петр Афанасьевич. — Про рассеянного.

— А это какие стихи? — спросил Павел.

— Жена ему купила. Знает, что покупать, — сердито посмотрел Петр Афанасьевич на Клаву. — И до чего прилипчивые они, — пожаловался он Павлу. — Как репей. Я вчера проходил полем и сразу вспомнил: «Оля с Колей были в поле, там, где овощи растут...» И где ты видела, чтобы овощи росли в поле? — снова обратился он к жене.

— Разве я виновата, что такие книжки продают? — смутилась Клава.

— Покупать не нужно глупых стихов.

Клава уложила мальчика в кроватку, накрыла стол и пригласила Павла поужинать.

— Спасибо, только недавно ел.

— Ну хоть чаю...

За чаем Петр Афанасьевич сказал Павлу:

— Видишь, какая штука... Я хочу тебе такое приглашение сделать... Ну, чем ты сейчас занимаешься? Демонтажники — это только название. Вы же просто грузчики. Ты не обижайся — я верно говорю.

Павел молчал.

— А я посмотрел, как ты работаешь, — из тебя люди могут получиться. И компрессоры, я вижу, тебе по душе. И голова у тебя есть — вот ведь как правильно сообразил с подвесными лесами. Нужно тебе квалифицироваться. Настоящих монтажников-компрессорщиков нам не хватает, а если ты поработаешь да позанимаешься, так из тебя настоящий монтажник выйдет. И вот еще — общественного лица у тебя нет. Поработаешь, в партию вступишь...

— Я... в тюрьме сидел.

Петр Афанасьевич сделал вид, что не заметил усилия, с каким Павел сказал это.

— Знаю, что сидел. Что ж с того? Ошибки — они бывают. А сейчас ты дельно работаешь. Я бы тебе сам и рекомендацию дал.

— Спасибо, — сказал взволнованный и растроганный Павел.

— Нужно тебе совсем на стройку переехать. Вот тут рядом с нами освобождается комната... Я думаю, что смогу договориться, чтоб тебе ее передали. Будем жить соседями. И столоваться, если захочешь, сможешь у нас, пока сам не женишься. А то по этим столовым и забегаловкам и дорого и спиться можно.

— Переезжайте, Павел, — поддержала мужа Клава.

...Утром Клава сидела у распахнутого окна и, быстро вращая ручку швейной машины, шила Пете синенькую в полоску рубашку. Машина стояла на подоконнике. По временам, оставляя шитье, Клава поднималась и поглядывала в окно — смотрела, как Петя с девочкой соседки, Варенькой, лепит из влажного песка бабки.

Варенька была старше Пети — в будущем году родители собирались отдать ее в школу, в первый класс. Бабки она лепила, подражая неторопливым и точным движениям своей мамы, домовитой хозяйки Марты Павловны.

— А тебя в дождь из хаты не выпустили, — подразнила Петю Варенька. — А я вся промокла от дождя...

— А знаешь, отчего дождь бывает? — вскинув голову, но оставаясь на корточках, спросил Петя.

— Всякий знает — от туч.

— А тучи из чего?

— Тучи?.. — растерялась Варенька.

— Тучи из газа, — убежденно сказал Петя. — Есть тучи белые — это из водорода, а черные — из кислорода. Когда они сойдутся, выходит такой взрыв — гром и огонь. А от этого получаются капли воды. И так всякую воду делают.

17

— Из чего твой панцирь, черепаха? —
Я спросил и получил ответ:
— Из нарощенного мною страха.
Ничего прочнее в мире нет!

Эти стихи были подписаны под карикатурой, очень похоже изображавшей Александрову в виде черепахи. Карикатуру кто-то повесил на доске, где вывешивались «лучшие материалы».

Никто не знал, чья это проделка, но подозревали Валентина Николаевича. Он был чуть ли не единственным человеком в редакции, который весело рассмеялся, когда прочел эти стихи, и тут же заметил:

— Справедливо сказано.

Александрова в этот день пришла в редакцию позже, и к ее приходу карикатуру уже сняли.

Ее спрятала в свой стол технический секретарь редакции Лида, молодая женщина, известная тем, что за несколько минут могла разрушить репутацию, складывавшуюся годами.

В этот день Лида словно похорошела, как бывало с ней всегда, когда она узнавала какую-нибудь сногсшибательную новость. Она отозвала Александрову в сторону и зашептала.

— Такой ужас... Вы уже слышали?..

— Нет, — ответила Александрова резко и неприязненно.

— Такой ужас... Неизвестно, кто это нарисовал, но вся редакция уже знает... На вас карикатура.

— Какая карикатура?

— Вот она... Такой ужас...

— Похоже изобразили, — надев очки и снова снимая их, сказала Александрова. И молча ушла.

Когда Лена увидела вывешенную «на заборе» карикатуру на Александрову, она покраснела и втянула голову в плечи. За несколько дней до этого Валентин Николаевич прочел ей стихи, которые сейчас были подписаны под карикатурой.

Вот уже третью неделю Лена работала в отделе культуры.

Перед тем как Лену перевели в новый отдел, ее вызвал к себе редактор.

— Вам интересно работать в отделе писем? — спросил он.

— Интересно, — ответила Лена. — Только хотелось бы почаще получать задания... Ну, писать в газету...

— А стихов вы больше не пишете?

Лена замялась.

— Ну ладно, я вижу — вы человек неисправимый. Но посмотрим, как вам удастся писать стихи под руководством Александровой. Мы решили перевести вас в другой отдел, где у вас будут бо́льшие возможности для творческой работы.

Лене казалось, что улыбка, с какой разговаривала с ней Александрова, когда Лена пришла в отдел, была натянутой и неестественной.

Первое задание, которое она получила, было изложено Александровой подчеркнуто терпеливо, длинно и подробно. Нужно было написать репортаж о молодой, талантливой певице оперного театра Кобызевой под названием «Поет Кобызева». Следовало кратко рассказать о том, как Кобызева из самодеятельного кружка попала в консерваторию, как она училась у выдающихся мастеров, с каким волнением исполняла свою первую большую роль.

Лене Кобызева не понравилась. Певица встретила ее не то чтобы враждебно, но очень холодно, предложила прийти в другой раз, а когда Лена пришла снова, Кобызева посоветовала:

— Все это уже было написано в местной вечерней газете. Вы посмотрите и возьмите то, что вам нужно. А я ничего другого рассказать не могу.

Как непохожа была эта девушка с тусклыми безразличными глазами, с ломким, глухим голосом на ту очаровательную красавицу, на веселую, задорную Наталку-Полтавку, какую Лена видела на сцене.

Лена никак не могла придумать первой фразы своего репортажа.

«Когда раздвинулся занавес...» Она зачеркнула.

«Когда Антонина Кобызева еще училась в школе...» Она снова зачеркнула.

Так она перепробовала с десяток вариантов и закончила тем, что написала: «Большим успехом пользуется у зрителей молодая певица Антонина Кобызева...»

Александрова прочла материал, сняла очки и, не глядя на Лену, сказала:

— Очень сухо и не очень грамотно. О певице, в частности, следует говорить «партия», а не роль. И вообще, после такого репортажа зрителям не захочется слушать эту певицу. А ведь у нее замечательный голос, и, быть может, со временем она станет славой нашей оперной сцены...

— Мне она не нравится, — неожиданно для самой себя сказала Лена.

— Вот оно что! — Александрова посмотрела на нее весьма критически. — А почему вы сразу не сказали об этом?

— Потому что... потому что это уже после знакомства.

— Что же... Вы получите другое задание, — решила Александрова...

— Как вам работается на новом месте? — спросил Лену при встрече Григорий Леонтьевич.

— Ничего, — довольно неопределенно ответила Лена.

— Вы, Елена Васильевна, — сказал Григорий Леонтьевич с неожиданной теплотой, — будете еще работать в разных отделах редакции. Может быть, со временем вы станете и ответственным редактором. Но где бы вы ни работали, в конце концов вы поймете, что главное в любой советской газете — отдел писем, что нигде и ни в чем не проявляются так ярко, так интересно особенности нашей демократии, как в работе этого отдела...

Лена не решилась сказать ему, что очень жалеет о том, что перешла в другой отдел.

В конце рабочего дня Александрова спросила:

— Вы домой?

— Да, — нерешительно ответила Лена.

— Подождите меня — пойдем вместе.

Валентин Николаевич, когда увидел, что Лена спускается по лестнице вместе с Александровой, понимающе улыбнулся, с преувеличенным сочувствием закивал головой и ушел.

Но Алексей, как всегда, встретил Лену у выхода из редакции, и ей пришлось познакомить его с заведующей отделом.

— Вязмитин? — подняла брови Александрова. — Уж не тот ли, о котором была ваша статья в газете? — обратилась она к Лене.

— Да, — сказала Лена.

— И вы что, давно знакомы?

У Лены что-то подкатило к горлу.

— Да! — сказала она резко. — Очень давно! Задолго до того, как я писала в газету! Извините, но мы спешим, — она схватила за руку недоумевающего Алексея и повернула в другую сторону.

...Как раз в ту минуту, когда Лена остановилась перед карикатурой, подошел редактор газеты. Сохраняя непроницаемое выражение лица, он прочел подпись, затем сказал:

— Ох уж эти мне поэты...

Лена почувствовала, что упрек этот относится непосредственно к ней.

На следующий день Лену пригласили на заседание партийного бюро. Это ее очень встревожило. Секретарь парторганизации — Григорий Леонтьевич, открывая заседание бюро, сказал:

— В партбюро поступила жалоба от товарища Александровой на то, что товарищ Ермак вывесил карикатуру, которая, как мне кажется, известна всем присутствующим. Поскольку такой метод критики нельзя признать удачным — у нас есть другие способы для того, чтобы выразить свое мнение по поводу того или другого работника, — я посоветовался с членами нашего партийного бюро, и мы решили рассмотреть этот вопрос... — говорил он мерно, если закрыть глаза, казалось бы, что он читает. — Но прежде всего, мне

кажется, нам следовало бы выслушать товарища Ермака...

Валентин Николаевич ткнул папиросу в пепельницу, тщательно потушил ее, встал и сказал негромко, со скрытым раздражением:

— Мне кажется, что тут нечего рассматривать. Я не рисовал этой карикатуры.

Лена медленно и густо покраснела. Ей показалось, что Валентин Николаевич говорит просто неправду и даже не пытается сделать ее убедительной. И одновременно ей показалось, что об этом так же думают все остальные. Она потупилась. Она боялась встретиться с кем-нибудь взглядом. С той минуты, как она пришла на заседание партийного бюро, она почти непрерывно зевала, прикрывая ладонью рот. Так всегда бывало с ней, когда она волновалась.

— Нет, я все-таки не могу согласиться с Валентином Николаевичем, — возразил Григорий Леонтьевич. — Рассмотреть заявление, поступившее в партбюро, мы можем и должны. Если даже мы не выясним, кто нарисовал карикатуру, мы все же можем высказать свое мнение по поводу этого рисунка и надписи.

— Я хочу сказать несколько слов, — глядя в стол и не вставая с места, сказала Александрова.

Она на минуту задумалась, помолчала.

— Каждый день мы читаем в газетах и сами пишем о «холодной войне». Но, мне кажется, мы часто забываем о том, что это значит. О том, что холодная война — это война с нами. Самая настоящая война — с сражениями, с неожиданными атаками, с применением новейших технических средств, с убитыми и ранеными. Идеологическая война! А мы — на самом переднем крае...

Она говорила голосом ровным, очень спокойным, но слушали ее не шевелясь и напряженно.

— В дни Отечественной войны мне как-то случилось некоторое время жить в Ташкенте. Я там бывала в компании — на первый взгляд — очень милых, очень интеллигентных людей. Но когда они рассуждали о новаторских приемах Гершвина в те самые дни,

когда наша армия оставила Ростов; когда обсуждали моды, которые будут приняты в следующем году, а вокруг ходили раздетые люди; когда утонченно сервировали чай, а вокруг голодали, — ох, как они мне были ненавистны!..

Лена впервые подняла глаза. В том, что говорила Александрова, было что-то очень важное, очень серьезное и очень искреннее.

— Скажу прямо: некоторых из этих людей, причем не лучших, мне напоминает наш товарищ — член партии Валентин Николаевич Ермак. Не в карикатуре тут дело. Я верю, что не он ее нарисовал и повесил. Если бы это сделал он, ему бы, конечно, не было нужды это скрывать — ведь ничего страшного или особенно плохого в самом этом поступке нет... Но это еще хуже, что нарисовал не он. Значит, это сделал кто-то под его влиянием. Значит, не только он придерживается неверных мыслей и неверного направления... Сейчас среди некоторых журналистов, работников искусства, писателей пошло такое поветрие — требовать смелости и воображать себя особенно смелыми. А нас, стоящих на твердых позициях, они готовы обвинить в трусости. Но то, что в этих случаях называют смелостью, — это вовсе не смелость, а трусостью — вовсе не трусость. И, что хуже всего, многие из них даже не догадываются о том, что этот представляющийся им смелостью дух скептицизма, дух всеобщей критики делает их нравственными калеками. И нам придется приложить еще много труда, чтобы их вылечить...

— Врачу, исцелися сам, — буркнул Валентин Николаевич, закуривая новую папиросу.

18

Улыбаясь своей напряженной улыбкой, которая так не шла к его серьезному лицу, Алексей снял очки, близоруко прищурясь, посмотрел на Лену, протер стекла, надел очки и снова искоса, быстро и внимательно взглянул на нее.

В этот день Лена была почему-то задумчивой и печальной и часто потирала лоб рукой, как делала всегда в минуты усталости.

Они зашли в кино на летнюю площадку. Показывали хороший старый фильм «Тринадцать». Незадолго до конца картины Алексей взглянул на печальный, задумчивый профиль Лены, и вдруг такая острая, горячая жалость и нежность шевельнулись в его сердце, что, почувствовав его взгляд, Лена бессознательно наклонилась, прижалась головой к его плечу.

Алексей опустил голову, взял легкую трепетную руку Лены и прикоснулся губами к ладони.

Это продолжалось мгновение. И сразу же Лена высвободила руку, а Алексей невидящими глазами уставился на экран. И все равно — это было объяснение, не менее полное, чем всякое другое.

После, возвращаясь домой, они долго шли молча, и это молчание связывало ноги, путало мысли.

В парадном Алексей обнял Лену и поцеловал в глаза и в губы, которые потянулись к нему.

Лена ощутила у виска острый выступ дужки очков, счастливо рассмеялась и спросила:

— Пойдешь к нам?

Так впервые она сказала ему «ты».

— Пойду, — ответил Алексей.

В квартире у Лены царила постоянная атмосфера влюбленности, которая прежде смущала Алексея, а теперь удивительно совпадала с его настроением.

Отец Лены — Василий Егорович — пожилой, немного обрюзгший полковник, заведующий кафедрой тактики Военной академии, был совершенно по-юношески влюблен в свою жену — моложавую, с лукавинкой в глазах Евгению Львовну.

Младший брат Лены, худощавый кудрявый Володя, с бледным лицом и большими, нежными и задумчивыми глазами юного поэта, чем-то похожий на Пушкина, часто в присутствии Алексея прижимался щекой к щеке матери, целовал ее.

Василий Егорович иногда брал Евгению Львовну

за руку, перебирал ее пальцы и глядел на нее преданными, влюбленными глазами.

Алексею вначале все это казалось странным — члены его семьи вели себя очень сдержанно, все чувства, особенно нежность, было принято не выказывать.

Он помнил только один случай, когда мать его поцеловала, после того как он поступил в школу, — это, когда он перенес тяжелую скарлатину, после кризиса; и отношения Лены и ее родителей, где постоянно целовались в присутствии чужого, малознакомого человека, казались ему неестественными.

Но сейчас эти отношения, так совпадавшие с его настроением, привлекали его и радовали. С благоговением и сердечной теплотой смотрел он на ее родных.

— Папа, мама и Володя, — сказала серьезная и словно бы взгрустнувшая Лена. Она взяла Алексея за руку. — А как вы думаете, что будет, если я выйду замуж?..

Лицо Василия Егоровича расплылось в улыбке, он открыл рот, чтобы ответить, — Алексей чувствовал, что он очень полюбился Лениному отцу, — но посмотрел на Евгению Львовну и так и остался с открытым ртом.

Евгения Львовна вспыхнула, словно это ей сделали предложение, и сразу удивительно похорошела.

Володя улыбнулся, но глаза его хмуро, с недоверием ощупывали Алексея.

Евгения Львовна подошла к Алексею и молча, со слезами на глазах поцеловала его в лоб. Она смотрела на него с надеждой и тревогой.

— Скажу вам, — наконец промолвила она, — лучшего мы для Леночки и не желали. Мы вас все полюбили и рады, очень рады...

Василий Егорович что-то шепнул Володе, тот исчез и сейчас же появился с бутылкой водки.

— Нужно бы шампанского, — пробасил Василий Егорович. — Да уж ладно...

Лена повернула к Алексею свое милое, напряженное лицо, закрыла глаза и поцеловала его.

После ужина родители Лены нерешительно переглянулись.

— А вы маме говорили? — припрятав беспокойство, спросила у Алексея Евгения Львовна.

— Еще нет, — нерешительно ответил Алексей. — Я сегодня хотел сказать...

Все это было слишком неожиданно.

Алексей любил Лену. Часто думал о ней. Но никогда не думал о Лене как о своей жене, и сейчас ему было радостно и тревожно.

Есть ли в этом мире девушка лучше и чище ее, — думал Алексей, — если первый поцелуй означал для нее мое решение немедленно жениться на ней и ее согласие... И он смотрел на Лену с радостью и тревогой. Никогда еще он не был так отзывчиво настроен на все хорошее, как сейчас.

Алексей пришел домой поздно. В столовой сидели Марья Андреевна и Олимпиада Андреевна, обе с книжками в руках, обе спокойные и холодные.

— Я хочу вам сообщить одну новость, — напряженно и тихо сказал Алексей.

— Господа, я собрал вас для того, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие, — перебила его Олимпиада Андреевна.

Алексей нахмурился.

— Если бы ты знала, о чем я собираюсь говорить, ты бы не сказала этого, — недовольно посмотрел он на тетку. — Я женюсь на Лене.

— Очень рада за тебя, — спокойно и благожелательно ответила Марья Андреевна. — Очень рада. Надеюсь, что жить мы будем вместе?

— Ну, это мы еще решим, — сказал Алексей, вдруг ощущая, как невыгодно отличается обстановка в его доме от дома Лены.

В дверь кто-то позвонил. Алексей открыл и увидел Павла. Он держал в руке цветами вниз огромный букет роз. Алексею показалось, что Павел слегка пьян.

— Можно? — спросил Павел. — Ничего, что я так поздно?

— Ничего.

— Это вам розы, — сказал Павел Марье Андре-

евне и Олимпиаде Андреевне, ставя букет на стол попрежнему цветами вниз.

— Спасибо, — улыбнулась Марья Андреевна, и Алексею вдруг показалось, что она обрадовалась цветам значительно больше, чем известию о согласии Лены выйти за него замуж.

— Как дела? — спросил он у Павла, невнимательно выслушал ответ, извинился, сказал, что ему нужно еще подготовиться на завтра к лекции, и ушел в свою комнату.

Павел рассказывал о себе, размахивал руками, хвастался успехами. Ему обязательно нужно было доказать Марье Андреевне, а главное самому себе, что дела у него идут хорошо, что он на правильной дороге.

— На восемь соток подгоняем зазор, — говорил он с той непроизвольной улыбкой, какая бывает только на лицах добрых и здоровых людей. — На восемь сотых миллиметра. Машина такая, что как эта комната, — он широко провел рукой вокруг себя, — а точность — как в ваших часиках (на руке у Марьи Андреевны были крохотные золотые часы). Вот. Будем гнать газ в Москву.

Он рассказал о том, что трубки масляных лубрикаторов перевиты почище, чем кишки в животе, что монтажники — первые люди на стройке, их труд высоко оплачивают, но «вкалывать приходится по-настоящему».

Марья Андреевна слушала все это, улыбаясь и радуясь. Но особенно обрадовались сестры известию, которое Павел приберег к концу.

— Вот какую я бумагу сегодня получил, — сказал Павел. — Аттестат зрелости. Это не какая-нибудь «ксива». Только по русскому, по грамматике и по немецкому тройки, а остальные — сплошь пятерки.

И он положил на стол свернутый в трубку и перехваченный черной ниткой аттестат зрелости.

— Я бы и по-немецки пятерку или четверку получил, — самоуверенно продолжал Павел, — да немец какой-то вредный попался. Я, говорит, впервые в жиз-

ни слышу такое замечательное, такое ясное русское произношение в немецком языке.

Олимпиада Андреевна подошла к буфету, вынула оттуда рюмки и узкий хрустальный графин с водкой.

— За это бы шампанского нужно выпить, — сказала Марья Андреевна. — Ну да ладно. Мы еще в другой раз...

19

Петр Афанасьевич вернулся с работы поздно. По тому, как он посапывал носом и слегка жевал губами, Клава поняла, что муж чем-то расстроен. В таких случаях она всегда начинала разговор о Пете-маленьком. Петр Афанасьевич знал, что этим она старается отвлечь и успокоить его. Иногда это его трогало, иногда — сердило.

— Петя сегодня посуду мыл, — посмеиваясь и словно не замечая насупленнюго лица Петра Афанасьевича, проговорила Клава.

— Как мыл?

— Я в магазин вышла и сказала, чтоб он посидел тихонько. Возвращаюсь, а он грязные тарелки в миску с водой сложил — я оставила, сама мыть собиралась — и трет их, воду плещет. Я рассердилась сначала, а потом смотрю — ни одной разбитой... Говорит — хотел помочь.

— Молодец, — хмуро улыбнулся Петр Афанасьевич. — Спит уже?

Прихрамывая больше, чем обычно, он подошел к кроватке мальчика. Петя-маленький улыбался во сне. Согнутая нога с ссадиной на коленке выглядывала из-под легкого одеяла.

— Спит богатырь.

Петр Афанасьевич сел за стол, на который Клава уже поставила разогретый ужин. Он молча, без аппетита, но торопливо ел, а Клава сидела рядом, время от времени вставая, чтобы дать мужу молоко (Петр Афанасьевич пил чай с молоком), сахар.

Клава знала, что Петр Афанасьевич поужинает

и обязательно заговорит о том, что его взволновало. Для этого нужно было соблюсти только одно условие: ни о чем его не спрашивать.

Так было и в этот раз. Петр Афанасьевич отпил несколько глотков нестерпимо сладкого чая пополам с молоком, посмотрел на невозмутимое лицо жены и вдруг горячо сказал:

— В партию собирался его рекомендовать!.. А он — сукин сын — на работу не вышел! Прогулял! А у нас опять график срывается!..

Перед возвращением домой Петр Афанасьевич был на партийном собрании участка и все еще оставался под тяжелым впечатлением критики, какую пришлось ему выслушать.

Монтажный участок срывал план. Бригада Павла несколько раз работала не в полном составе, члены бригады в рабочее время уходили куда-то «подхалтурить». А сегодня Павел вообще не вышел на работу. Сулиму упрекали в том, что партийная группа — а он был партгрупоргом — не заботилась об укреплении трудовой дисциплины на участке, что по его рекомендации совсем еще молодого монтажника Павла Сердюка поставили бригадиром, а Павел не оправдал доверия — прогулял.

Клава внимательно слушала мужа, лишь изредка прерывая вопросами.

Петр Афанасьевич допил чай.

— Безобразие, — сказал он строго. — Ты вот Петю избаловала, а теперь Павла балуешь. Возишься с ним. Ты думаешь, я не вижу, что, с тех пор как он у нас столоваться начал, ты книжку эту кухарскую купила? Я все вижу...

Клава сердилась на мужа всегда неожиданно и всегда, по его мнению, беспричинно. Не обижаясь на что-нибудь серьезное, она вдруг вспыхивала из-за чего-то незначительного. В душе Петр Афанасьевич считал это одной из особенностей женской половины рода человеческого и искренне думал, что так поступают все женщины.

Вот и сейчас глаза у Клавы сузились.

— Какой ты разумный стал, — протянула она. —

А забыл, как в Грозном, помнишь, на старом нефтепромысле, когда ты в техникум поступал, как ты перед экзаменом три дня прогулял. А теперь ты вот как разговариваешь. У Павла, может, тоже сегодня экзамен...

— А почему он ни у кого не спросил?

— А почему ты тогда ни у кого не спросил?

Петр Афанасьевич ответил резко, и спор между супругами разгорелся вовсю.

Их прервал приход монтажника Хейло. Он сравнительно недавно работал на стройке, дома у Петра Афанасьевича не был ни разу, и его появление в половине двенадцатого ночи было странным и свидетельствовало о какой-то срочной надобности.

Хейло снял у порога свою маленькую круглую мышиного цвета кепку, и Петр Афанасьевич заметил, как странно изменилось его худощавое лицо. Он еще, пожалуй, никогда не видел Хейло без шапки. Голова этого человека лет двадцати пяти, от силы — тридцати, была совершенно лысой, без малейшего следа волос.

— Мне поговорить с вами надо, — обратился Хейло к Петру Афанасьевичу. — Может, выйдем?

— Я как раз чай кипятить собиралась, — покраснела и посмотрела искоса на гостя Клава. — Если такой секрет — можете тут.

И ушла на кухню. Хейло помолчал, выждал, пока закрылась дверь, затем спросил:

— Можете вы мне дать слово... что я расскажу вам одно дело... А вы — никому не скажете?.. — Хейло смешался. — То есть, скажете... но не про то, что это я рассказал...

Он выжидающе посмотрел на Петра Афанасьевича, но не в глаза, а в рот.

— Нет, — твердо ответил Петр Афанасьевич. — Не дам такого слова. Я как-никак коммунист, партгрупорг, а не поп. Хочешь — говори. Нет — само раскроется.

— Ну, как хотите, — обиженно протянул гость. Встал, надел кепку. — Значит — не сошлись. Я к вам со всей душой, а вы...

Он направился к двери, но у порога остановился, вернулся к Петру Афанасьевичу.

— Ладно. Пусть будет что будет.

Рассказ Хейло содержал так много неожиданного, что Петр Афанасьевич был совершенно огорошен. Хейло мялся, почти к каждому слову добавлял «этот» и «как его», сбивался в сторону. Он рассказывал о том, что Павел и члены его бригады на стройке «только маскируются», что Хейло сам видел, как они в мастерских под руководством Сорокина готовили какие-то инструменты, чтобы открывать сейфы, разговаривали об этом, что Павел, как узнал об этом он, Хейло, уже сидел в тюрьме и взял в свою бригаду татарина этого... Гибайдулина, бывшего бандита, тоже вышел из тюрьмы, сидел вместе с Павлом.

— Что он сидел, это я знаю,— ответил Петр Афанасьевич.— И что Гибайдулина взял — тоже знаю. Но вот, что сейчас он такими делами занимается — этому поверить я не могу...

Вошла Клава.

— Кончились секреты? — улыбнулась она недовольно.— Чай пить будете?

— Нет, я пойду уже.— Хейло встал и надел шапку. Лицо его сразу неузнаваемо изменилось.— Я, конечно, говорю только то, что сам видел и слышал... Подозрительно это,— добавил он.— Но раз вы теперь в курсе дела — так решайте, как быть. До свидания.

— До свидания,— не слишком сердечно ответил Петр Афанасьевич.

Когда Хейло ушел, Петр Афанасьевич подошел к двери Павла, подергал ее, удержал готовое сорваться грубое слово, вышел на улицу, сел на ступеньке перед домом, закурил.

Тихи ночные пыльные дороги. Придорожные деревья, чуть шелестя листвой, плывут в насыщенном сочными запахами воздухе — упругом и густом.

Павел шел со станции, легко взмахивая, словно загребая, руками. Ему казалось, что его несут над землей теплые волны.

На ступеньке перед домом сидел Петр Афанасьевич. Он опустил голову на руки и, казалось, дремал.

— Петр Афанасьевич,— негромко позвал Павел.

Петр Афанасьевич поднял голову, медленно встал.

— Гуляешь все,— сказал он с угрозой.— Ты почему сегодня на работе не был?

Павел подал Петру Афанасьевичу свернутый в трубку аттестат зрелости. Петр Афанасьевич подошел поближе к фонарю, развернул лист. Лицо его разгладилось.

— Сдюжил все-таки,— сказал он.— Хорошо.

Он помолчал, сворачивая лист. Затем снова развернул его, прочел вслух отметки.

— Я вот уже давно узнать хотел — почему эта штука «аттестатом зрелости» называется? — спросил он вдруг.— При чем тут зрелость-то?

— Не знаю,— задумался Павел.

— Что же ты не спросил, когда получал?

— Да как-то не сообразил.

— Странные эти ученые названия... Зрелость... Или еще кандидат... А куда он кандидат, к чему кандидат — так и не поймешь... Но ты все-таки ответь: почему это все у тебя — молчком?

— Боялся,— прямо ответил Павел.— Похвастаюсь, а потом не выдержу.

— Гм... Оно, может, и правильно... Так и я, когда в техникум поступал...— Он снова помолчал.— А теперь скажи мне, что это за инструменты для сейфов вы в мастерских готовили?

— Да это Сорокин все новые приспособления изобретает, чтоб таскать было полегче... Петр Афанасьевич,— горячо сказал Павел,— послушай, ведь какой умный парень. Инженер ведь! А работает монтажником. Помочь бы ему как-нибудь.

— Думал я об этом. Попробуем что-нибудь сделать. Только больно уж он ненадежный. Так и ждешь от него каждую минуту, что он сейчас что-нибудь такое отколет, что только ахнешь. Знаешь, что он сегодня сделал?

— А что? — с тревогой спросил Павел.

— Да вот перед самым компрессорным цехом среди бела дня уселся... А напротив какая-то женщина остановилась, говорит ему: бесстыдник ты такой-сякой, а он ей: у меня, тетушка, живот болит, дальше не добегу. Ну и целый скандал.

— Опять он сливы ел, — сказал Павел с искренним огорчением.

— А где эти инструменты, что вы готовили?

— Да там же, в мастерских.

— Пошли сейчас в мастерские.

— Зачем это?

— Узнаешь.

Возвращаясь из мастерских вместе с Павлом, Петр Афанасьевич ворчливо спросил:

— Ты Хейло знаешь?

— Какого Хейло?

— Монтажника... Ну, знаешь, в кепочке всегда ходит.

— Маленький такой?

— Да. Так он рассказывал, что твоя бригада не переносит сейфы, а открывает их, и что вы инструменты для этого готовили.

Павел покраснел.

— Морду ему набить или как? — спросил он.

— Нет, бить его не надо, — возразил Петр Афанасьевич. — Этот из таких, что ты его раз стукнешь, а потом месяц по судам будешь ходить. Ты его отведи в мастерскую, покажи ему все, растолкуй, чтобы он осознал свою ошибку, чтоб все понял, а потом уж тряхни его хорошенько разок, чтоб получше запомнил.

— ...Но до чего же я боялся, — неожиданно заулыбался Павел. — Ох и боялся! На следствии первый раз был — и то так не боялся. Тащу билет по математике и чувствую — ничего не помню...

— Это не ты боялся, — сказал Петр Афанасьевич философически. — Это гордость твоя боялась.

20

На стене висела единственная в этой комнате картина — полотно Коровина «Вечером после дождя», с яркими и определенными, характерными для этого художника красками, с блестящим асфальтом и желтыми фонарями, с женскими и мужскими фигурами, такими не похожими на людей вблизи и такими знакомыми издали.

Лена долго смотрела на картину, затем подошла к окну, распахнула его и выглянула на улицу.

Дворники поливали тротуары, сюда, на шестой этаж, едва доносился плеск воды и шелест шин троллейбусов.

У нее закружилась голова. Она снова окинула глазами комнату, тесно уставленную дорогой мебелью, с коврами на полу и на стенах, подошла к тахте и легла лицом к стенке.

Перед глазами стояла картина Коровина и вечер, похожий на эту картину, — с такими же яркими красками, такой же тревожный и немного безумный, как эта картина.

Максим Иванович сегодня ушел рано. Ей тоже пора было собираться на работу. Две недели, нет, шестнадцать дней жила она в этой комнате, и, как в первое мгновение, ей казалось, что зашла она сюда на минутку, случайно и что сейчас же уйдет. Все вокруг нее было зыбко, неясно и ненадежно.

В такой же, совсем в такой же вечер, как на картине Коровина, Максим Иванович пришел в редакцию. Лена испугалась, когда увидела, как он переменился. У него втянулись щеки, а глаза, даже когда он неестественно, болезненно усмехался, сохраняли то мучительное выражение, какое бывает только у людей, переживающих большое, непоправимое горе.

— Мне нужно с вами поговорить... Мне очень нужно с вами поговорить, — твердил он настойчиво. — Поедемте куда-нибудь... Хоть на час...

Они сели в «Москвич». Максим Иванович вел машину молча, сжав губы, не отпуская ноги с акселе-

ратора. Казалось, он стремился обогнать все машины, которые ехали впереди...

Асфальт блестел после дождя, зажглись первые фонари, и в асфальте отражались и становились темнее красные, синие, зеленые платья женщин и темные костюмы мужчин.

На набережной Максим Иванович неожиданно резко затормозил и остановился у самого парапета.

— Выйдем, — предложил он. И, странно, только ртом улыбаясь, учтиво добавил: — Если вам угодно.

Он прикурил, открыл коробок, прикоснулся горящей спичкой к темным спичечным головкам, — с гудением вырвалось пламя, — и отбросил коробок в сторону.

— Только выслушайте меня... Не отвечайте, если не хотите. Я бы молчал... Я бы молчал, если бы не узнал, что вы... Что вы выходите замуж за Алексея Константиновича.

— Это не секрет, — не вдруг и негромко сказала Лена.

— Я знаю. Так же, как знаю, что я — не могу без вас. Все это время... Все время — от первой минуты, когда вы меня спросили, не сшил ли я бесплатно костюма, и до сегодняшнего дня — я думал о вас. Мне очень плохо. Мне никогда не было так плохо. Вы видите, каким я стал. У меня никого нет. У меня были жена и дочка... Они погибли в войну. То, что я вам скажу, — ужасно. Но даже когда я получил известие о их смерти, — мне не было так плохо. Поступайте как знаете. Но не выходите замуж. Не лишайте меня последней надежды...

...Лена боялась Максима Ивановича. Ей казалось, что она живет с сумасшедшим и что сама тоже сходит с ума.

Переехала она к нему неожиданно, тайком от родителей, от Алексея, а может быть, и от самой себя.

Отец звонил в редакцию, звонил Вязмитиным, ее разыскивала милиция.

Наконец дома узнали, что она у Максима Ивановича. Каким путем — Лене было неизвестно до сих пор.

Отец пришел сюда.

Как сейчас, Лена легла на тахту и отвернулась к стенке. Затем превозмогла себя, поднялась и сказала:

— Я, папа, останусь здесь.

Отец ушел испуганный и подавленный.

Когда за ним закрылась дверь, Лена почувствовала, как сердце медленно поднимается вверх, куда-то к горлу, и бьется там часто и больно.

На следующий день Алексей позвонил по телефону.

— Я не пойду, — сказала Лена, когда Максим Иванович ее позвал. — Я не могу...

Пришла мама. Максима Ивановича не было дома. Очевидно, ждала на улице, пока Лена останется одна. Спокойная, сдержанная, уверенная в себе. Только под глазами, всегда лукаво прищуренными, а теперь усталыми и печальными, нависли мешки...

— Я не могла иначе, — сказала Лена ей и себе. — Если бы человек лежал на рельсах... И только два выхода — раздавить его или... Или жить с ним. Я не могла иначе. Мне хорошо...

Она сказала неправду. Все это было иначе. Но как же все-таки это было?

Жалость?.. Да, жалость. А вдруг... А вдруг он в самом деле... в самом деле погибнет... И она пошла с ним. В эту комнату. И пила с ним крепкое и сладкое вино. И позволила себя поцеловать...

А потом — это было, как в страшном, давящем бреду... Она знала об отношениях полов. Наслушалась от подруг. Читала. Но не знала, не догадывалась, что может быть такое. Что могут так целовать. Сначала было стыдно. Невероятно стыдно. Потом — страшно. Очень страшно. Потом страшно и не стыдно. Все равно. Все равно — после этого уже никому нельзя смотреть в глаза.

Слава Максима Ивановича росла, метод изготовления одежды, впервые примененный им и Алексеем, получал все большее распространение, на фабрику приезжали делегации со всех концов страны и из-за границы, Максима Ивановича приглашали делать

доклады о новом методе, но он не радовался этому, а мрачнел и худел все больше и твердил:

— Нам нужно уехать отсюда... Нам нужно скорее уехать, и тогда все будет хорошо. Я вижу, как все они на меня смотрят... Я знаю, что они не простят твоей любви ко мне...

Любви не было. Был только страх перед непонятностью чужой жизни, перед тем, что жизнь эта почему-то вручена ей. Что наступит ночь, и все начнется сначала. Все было зыбко, тревожно и расплывчато, как эти световые блики на асфальте, на картине Коровина.

В редакции она молча садилась за свой стол, и так проходили дни. Ее отчужденное лицо отпугивало людей.

Заведующий промышленным отделом редакции Бошко, шамкая и словно сердясь на Лену, предложил ей написать очерк о работницах шелкового комбината, которые освоили новое производство — изготовление тончайшего шифона.

— Вам эта тема должна быть близкой, — заключил он свое предложение.

Лена машинально отметила про себя, что когда Бошко переплел пальцы крупных, некрасивых рук — большой палец правой руки оказался сверху. В первый раз она убедилась в том, что действительно есть люди, которые так складывают пальцы. И этим человеком был Бошко.

Чепуха, — решила она. — Я ведь знала, что это — чепуха...

...Никогда еще Лена так не писала. Она стремилась сделать зримой пляску коконов в корытце с водой, когда машина сматывает с них тончайшую шелковинку, а ловкие музыкальные руки работниц плавными, красивыми движениями подбрасывают новые коконы, и жесткость тонкого, похожего на металлическое сито сырого шифона, и невесомость готового, — и все это ей удалось. Не сумела она лишь одного — рассказать о радости людей, впервые изготовивших эту красивую ткань, об их надеждах и намерениях.

— Хорошо, — сказал Бошко, когда прочел материал. — Придется немного сократить — слишком увлеклись технологией. И дадим в газету.

Бошко сократил очерк наполовину. Когда его опубликовали, Лене никто в редакции не сказал и слова. Очевидно, очерк не понравился.

Вечером они с Максимом Ивановичем пошли в театр. Лена не рада была театру. Она испытывала глухое, непонятное ей самой беспокойство и, как это иногда бывает, не могла сразу определить, чем оно вызвано. И вдруг поняла: она боялась встретиться с кем-либо из знакомых.

Они смотрели «Учителя танцев», пьесу, которая прежде Лене казалась веселой, жизнерадостной, а сейчас — пустой и ненужной.

В антракте они вышли в фойе. К ним подошел человек в строгом черном костюме, с темным галстуком и с белым платочком, торчавшим из кармана пиджака.

— Знакомьтесь, это моя жена, — неохотно представил Лену Максим Иванович.

Лена не расслышала фамилии подошедшего к ним человека, но ей показалось, что, когда он посмотрел на нее, в глазах у него промелькнуло какое-то презрительное сожаление.

— Максим Иванович, — сказал он с подчеркнутым, с преувеличенным почтением, — у меня к вам всего два слова. Если вы позволите, — холодно и учтиво обратился он к Лене.

— Нельзя ли завтра? — нахмурился Максим Иванович.

— Боюсь, что — нет.

— Одну минутку, — извинился перед Леной Максим Иванович. Они отошли немного в сторону, и Лена заметила, что человек в черном костюме говорит Максиму Ивановичу сквозь стиснутые зубы что-то резкое и неприятное, а Максим Иванович, переминаясь, улыбается одним краем рта и мучительно щурится. Затем, не прощаясь, он подошел к Лене и сказал устало:

— Пойдем в зал.

После спектакля Максим Иванович предложил:

— Поедем в ресторан.

Слова его прозвучали неестественно оживленно.

— А может быть, лучше домой? — нерешительно возразила Лена.

— Очень тебя прошу. Хоть ненадолго.

Они сели за крайний столик у окна. Из соседнего большого зала ресторана доносился высокий женский голос в сопровождении саксофона. С поддельным весельем он напевал:

А сердце мое пик-пик-пик,
Пик-пик-пик и тик-тик-тик,
А сердце мое тук-тук-тук.

Максим Иванович внезапно побледнел.

— Здесь пахнет рыбой, — сказал он. — Жареной рыбой...

— Да, пахнет, — подтвердила Лена.

— Я не выношу этого запаха, — поморщился Максим Иванович.

Странно улыбаясь, он рассказал Лене, что в детстве однажды отравился грибами. Ему было очень плохо. На кухне в это время жарили рыбу. И ему казалось, что именно от этого запаха его выворачивает, от этого у него леденеют пальцы и к сердцу подступает холод.

— Может быть, пойдем отсюда? — предложила Лена.

— Нет. Не нужно. Мне уже лучше.

Максим Иванович выпил рюмку коньяка и закусил лимоном. Лена ела мороженое. Когда Максим Иванович уже собрался расплачиваться, к их столику, твердо ступая, подошел Валентин Николаевич.

Я раньше не замечала, что он косит, — подумала Лена. И вдруг вспомнила, что о пьяном иногда говорят «окосел», а когда Валентин Николаевич заговорил, поняла, что он действительно пьян.

— Позвольте присесть? — обратился он не к Лене, а к Максиму Ивановичу.

— Пожалуйста, — обрадовался тот.

— Костя, — подозвал Валентин Николаевич официанта. — Вы что пьете? — спросил он у Максима Ивановича.

— Коньяк.

— Принеси нам коньяку и крымских яблок.

Он помолчал, закурил.

— Ваша жена меня презирает, — сказал он Максиму Ивановичу. — За то, что я промолчал об авторе карикатуры. Или — будем точны — не промолчал, а солгал. Она еще молода, и для нее вся жизнь делится на «да» и «нет», а что сверх того — от лукавого. Но мы-то с вами знаем, что жизнь сложней, что она диалектична, что «да» и «нет» в ней перемешаны, как овощи в винегрете.

— Да, этого она не понимает, — согласился Максим Иванович. — И чем позже поймет она это — тем лучше.

— Для нее. Но не для вас, не для меня, не для творчества. Вы думаете, что я не люблю Александрову? — неожиданно спросил он у Лены.

Лена молчала. Принесли коньяк.

— Да, не люблю! — сказал он, наливая три рюмки.

— Я не пью, — отстранила рюмку Лена.

— Выпьем сегодня, — тихо попросил Максим Иванович.

— Да, не люблю! — повторил Валентин Николаевич и выпил коньяк. — Но — уважаю. И вы, Лена, похожи на нее. Для вас так же, как для нее, есть только «да» или «нет». А жизнь сложнее, намного сложнее...

Я не знаю этой жизни, но она сложней —
Утром — синих, на закате — голубых огней, —

прочел он нараспев, слегка закатив глаза и дирижируя себе то одной, то другой рукой.

— Да, сложней, — подтвердил Максим Иванович, проникаясь все большей симпатией к Валентину Николаевичу.

— Подслушал я недавно — совершенно случайно, конечно, — сказал Валентин Николаевич, — интерес-

ный разговор. — Он наполнил рюмки коньяком, чокнулся с Максимом Ивановичем и, прожевывая яблоко, продолжал: — Разговаривали мальчишки. Лет, может, по шесть-семь. Один говорил другому: «А вот у моей мамы есть такие духи, что просто фокусы можно показывать». — «А какие?» — «Красная Москва». Сколько бы ты ни мылся, возьмешь на ватку немножко этих духов, потрешь руки — и ватка становится черная...» А я подумал — как хорошо, что многим из нас не приходится тереть руки этой ваткой...

— Да, это хорошо, — подтвердил Максим Иванович.

21

Алексей поднялся и с негодованием почувствовал, что стул тащится за ним. Он приклеился. Это было очень смешно, но никто из присутствующих даже не улыбнулся.

— Так вы порвете... — запинаясь, сказала молодая сотрудница лаборатории Зина, настолько стыдливая, что даже не решилась назвать, что именно может порвать Алексей. — Я сейчас принесу растворитель.

— Не нужно, — нетерпеливо и раздосадованно ответил Алексей.

Он с силой толкнул стул, подозрительно посмотрел на сиденье — не осталось ли там куска ткани — и ушел.

Сотрудники лаборатории ему сочувствовали, и его это не радовало, а сердило. Откуда им все было известно?

Он старался поменьше бывать дома, где Марья Андреевна и Олимпиада Андреевна, которые делали вид, словно ничего не произошло, раздражали его так же, как знакомые, которые своим поведением подчеркивали, что что-то произошло.

Эти медленные дни тяжелых раздумий были днями больших успехов Алексея. Его, кандидата химических наук, избрали членом-корреспондентом рес-

публиканской академии. О нем часто писали в газетах, а на обложке «Огонька» появился его портрет. Его скромность, его искреннее стремление не выделять себя, его трудолюбие и добросовестность вызывали симпатию.

Клееная одежда получала все большее распространение. Новый метод, предложенный Алексеем и Максимом Ивановичем, начали применять многие фабрики страны. Газеты писали, что швейные машины скоро станут таким же анахронизмом, как граммофон с трубой.

В эти трудные дни ему почему-то очень хотелось увидеться с Павлом. Когда он сейчас перебирал в памяти друзей и знакомых, он вдруг с удивлением подумал, что Павел — единственный человек, которому он мог бы и хотел рассказать о том, что произошло. Это желание было настолько сильным, что после работы он, не откладывая, отправился на вокзал, сел в вагон электрички и поехал на стройку.

В вагоне было душно — в это время дня много людей, живших под Киевом, возвращалось к себе после работы; Алексей весь день ничего не ел, болела голова, и его тошнило.

Лицо Алексея застыло в озабоченном и отчужденном выражении, на запавшие глаза от надбровных дуг упала тень, щеки и свежевыбритый подбородок казались синеватыми.

Он не скоро выяснил, где живет Павел, а потом оказалось, что всего минут пятнадцать назад Павел на попутной машине уехал в Киев.

Хмурый и разочарованный, Алексей вернулся домой.

Вечером пришел Павел.

Он выглядел смущенным и озабоченным.

— Я хотел, понимаешь, посоветоваться с тобой по одному делу, — сказал он Алексею.

— Хорошо, — сдержанно ответил Алексей. — Да и я с тобой, кстати, хотел поговорить.

Он поднялся, собираясь пригласить Павла в свою комнату, но Марья Андреевна предложила:

— А может быть, вы прежде чаю попьете? Ты, Алеша, сегодня и не обедал.

— Хорошо, — согласился Павел. — Да у меня дело не секретное.

С аппетитом уплетая буженину, щедро положенную на его тарелку Марьей Андреевной, Павел рассказывал:

— Вот, понимаешь, какая штука... У меня — такая мысль... вроде рационализации... или не знаю, как сказать... С перегонной системой этой...

— Какой системой?

— Ну, которая стояла в твоей лаборатории... Не знаю, как она правильно называется... Когда я, — он улыбнулся смущенно, — когда я уборщицей там работал... Так вот, если эту печку электрическую, которая сжигала кислород, перенести вперед, а баллоны с жидким воздухом поднять наверх и сделать вроде змеевика — так система эта, я думаю, будет лучше работать...

Углубленный в себя Алексей с отсутствующим и сухим выражением худого лица медленно размешивал ложечкой чай.

— Профессор Порайкошица уже пробовал это сделать в своей лаборатории, — рассеянно ответил он. — Ничего не вышло.

Павлу показалось, что он уже где-то слышал эту фамилию. Но где? Он не мог припомнить.

— А почему? — спросил он.

Алексей с легким усилием стал объяснять, почему такая схема неосуществима.

— Не понимаю, — сказал Павел. — Не понимаю я этих формул. Но вот если бы на практике попробовать...

Марья Андреевна внимательно посмотрела на Павла. У нее дрогнули губы. Неужели Алексей не понял? Не понял, что, если Павел предлагает то, что — пусть ошибочно — предлагал крупный химик Порайкошица, значит, он...

— Вы, Павел, читали статью профессора Порайкошицы? — спросила Марья Андреевна.

— Нет. Я ведь...

— Как же вам пришла в голову эта мысль?

— А в самом деле, — вдруг резко отодвинул и расплескал чай Алексей. — Как это ты придумал?

Он с живым интересом взглянул на Павла.

— Не знаю, — ответил Павел. — У нас там система охлаждения на компрессорах... Немножко похожа. Не очень, но похожа. А я вспомнил лабораторию и подумал, — может, из этого что-нибудь и получится...

— Нет, — сказал Алексей. — Химия совсем другая область. Механические системы сюда мало подходят. И для того чтобы разобраться почему, нужно быть знакомым хотя бы с основами химии...

Подперев голову ладонью, Марья Андреевна переводила взгляд с Павла на Алексея, как бы сравнивая их.

Павел покраснел, силился улыбнуться...

— Ну что же... Не получилось — не нужно, — сказал он.

После ужина они перешли в комнату Алексея.

Алексей открыл готовальню, вынул циркуль и стал проводить на бумаге быстро, одну за другой, пересекающиеся окружности. Павел сел у стола, наблюдая за тем, как они постепенно образуют сложный узор. Наконец Алексей сказал:

— Я сегодня ездил к тебе на строительство. Только мы разминулись... Помнишь девушку, которую я провожал, в парадном, когда мы с тобой в первый раз встретились?

— Помню.

— Я собирался жениться на ней. Но она вышла замуж за другого.

Лицо его побледнело, губы сложились в некрасивую, словно застывшую улыбку. Он взял новый лист бумаги, немного сдвинул ножки циркуля и снова принялся за окружности.

Павел молчал.

— Конечно, проще всего было бы плюнуть и забыть. Обманула — ну и ладно. Но не могу я как-то поверить в это. В то, что она обманула меня. Есть в этом что-то непонятное... Что-то просто дикое...

У Алексея сорвалась ножка циркуля, по листу прошла неровная, изломившаяся дуга. Он бросил циркуль, встал из-за стола, сел на тахту, поджав одну ногу, а другою упираясь в пол, и стал подробно, как говорят о постороннем, рассказывать Павлу всю историю своего знакомства и своих отношений с Леной. При этом в жестах его появилась несвойственная ему размашистость, слова звучали необычно резко и отрывисто.

— Не может быть, — говорил Алексей, — не верю я, что такая девушка могла так просто говорить сегодня, что выйдет замуж за меня, завтра — выйти за другого... Я хочу тебя попросить, чтобы ты с ней увиделся. Чтоб поговорил, узнал, что с ней. Не нужно ли ей помочь...

Павел посмотрел в уменьшенные стеклами очков и без того небольшие голубовато-серые глаза Алексея. Ему польстила эта просьба.

— Хорошо, — сказал он. — Поговорить я, конечно, могу. Только, по-моему, лучше сделать так...

Он поднял руку и резко опустил ее.

— Не так это, выходит, просто, — негромко и мрачно заключил Алексей.

Не так это, выходит, просто, — думал Павел, возвращаясь домой. — Сколько уже времени прошло. А хотелось подняться на этаж выше. Посмотреть, как она там... И как этот — Олег Христофорович.

Он вспомнил мужа Софьи с внезапной симпатией.

Только нет. Больше это не повторится... А почему не повторится?..

Павел вдруг вспомнил Петра Афанасьевича. Как прислушиваются на стройке к каждому его слову! Все. И вчерашний фезеушник, и начальник строительства. Петр Афанасьевич. Обыкновенный монтажник. Ну, скажем, не совсем обыкновенный. Ну, скажем, очень хороший монтажник. Но Гольцев, который монтирует насосную, может, не хуже. Не в этом дело. Не только в этом дело. Дело в том, что никому не придет в голову, что этот человек может в чем-то поступить не по правде. Здорово все-таки, что есть такие люди. Очень здорово.

Утром Клава кормила своих мужчин завтраком. Петя-маленький закапризничал и сказал сердито:

— Не хочу марципана! Хочу сухарь с молоком.

— Не модничай, Петушок! — ответила Клава ходким в их семье словом.

— А ты знаешь, что такое марципаны? — с интересом спросил Павел.

— Всякий знает, — ответил Петя, проглатывая молоко. — Булка такая.

— Верно, булка, — согласился Павел. — И еще конфеты такие есть.

— Я ему покупала, — заметила Клава.

— А вот меня, — сказал Павел, — когда я в детстве капризничал, есть не хотел, отец отстегал ремнем и все приговаривал: «Так тебе марципанов захотелось?» А какие они, эти марципаны, я только недавно узнал...

Петр Афанасьевич с лаской взглянул на Петю. Малыш потянулся к отцу, задел локтем ломоть хлеба, лежавший на краю стола. Хлеб упал на пол. Павел наклонился поднять, но его остановил строгий голос Петра Афанасьевича:

— Не нужно! Подними ты, Петя.

Лицо Петра Афанасьевича было необыкновенно строгим.

— Так. А теперь поцелуй.

Петя поцеловал хлеб.

— Положи на стол.

Петр Афанасьевич улыбнулся спокойно и взял Петю на руки.

Павел отвернулся. У него что-то подкатило к горлу. И он не мог понять — почему.

22

Несмотря на то что Петя-маленький слышал о существовании таких сложных вещей, как марципаны и кислород, он не знал, что окружающие его предметы при всем своем многообразии укладываются в определенные системы.

Наоборот, каждый из них существовал самостоятельно, имел свой характер и мало подходил для обобщений.

Стол — это был определенный, их стол, за которым обедали, а другой стол — это и был другой стол, а не «стол» вообще.

Петя был глубоко убежден, что все вещи вокруг него живут какой-то своей жизнью, движутся и разговаривают, но делают это, только когда люди не могут увидеть — ночью или когда никого нет в комнате.

Он часто заглядывал в замочную скважину или отворачивался к стенке, а потом резко поворачивал голову, и каждый раз стол, стулья, швейная машина, подушки сразу замирали.

Они прекрасно понимали его намерение застать их врасплох.

И только однажды ему удалось увидеть, как ведут себя вещи, когда думают, что за ними никто не наблюдает.

Он поздно лег в свою кроватку, прищурил глаза, потом, когда все в комнате успокоилось, потихоньку открыл их.

За окном висела круглая, как фонарь, луна, что-то посвистывало на кровати, где спали родители, где-то за стеной играла негромкая, плавная, красивая музыка, а по временам словно кто-то вздыхал.

И вдруг стол, неторопливо ступая всеми своими четырьмя ногами, направился к дивану.

Немножко полежу, — решил он. — Устал за день. Стол начал переворачиваться на спину.

Петя еще шире раскрыл глаза.

Стол лег на диван, задрал ноги и принялся понемножку раскачиваться на мягких пружинах.

Стулья остались посреди комнаты, на тех местах, где они стояли вокруг стола. Под плавную музыку, которая была слышна из-за стенки, они медленно закружились в танце, а когда музыка замерла — выстроились в ряд.

Старший стул (на нем всегда сидел Петр Афанасьевич) тихонько подошел к окну, где ясно выде-

лялся силуэт швейной машины, поднял переднюю ногу и начал медленно, а потом все быстрее и быстрее вращать колесо. Машина застрекотала: «Шью, шью, шью...»

Петя тихо, приглушенно рассмеялся.

Клаву словно что-то в сердце толкнуло.

Раздетая, сонная, она вскочила с кровати, подошла к ребенку, поправила легкое одеяльце и прижалась губами ко лбу.

Мальчик весь горел.

...Несмотря на поздний час, Вера Гурина — начальник санчасти строительства — не спала. Она сидела за столом и аккуратно проставляла цифры на крупном, в полстола, бланке отчета. К делу своему она относилась ревностно и старательно перемножала число головных болей за квартал на число рабочих строительства, как этого требовали формы отчетности райздравотдела.

В дверь постучали.

— Войдите, — предложила Вера и поставила цифру не в ту графу.

— С Петей что-то плохо, — сказал испуганный и расстроенный Петр Афанасьевич.

У него часто дергалось веко и дрожали крупные руки. Он все пытался застегнуть пуговицы надетого прямо на нижнюю рубаху пиджака и не попадал в петли.

— Не узнаёт никого...

Клава быстро двигалась по комнате — взад-вперед, взад-вперед, она поднесла воды, чтобы Вера вымыла руки, бегала из угла в угол, разыскивая полотенце, и только тихо, беззвучно приговаривала:

— Боже мой... боже мой...

Горячее тельце мальчика было чистым, без малейших признаков сыпи. Странным и особенно страшным казалось выражение лица, улыбка на пересохших губах... Посиневшие крылья вздернутого носа все время раздувались. Но особенно поразили Веру отброшенная назад голова и напряженная шея. Вера хорошо помнила, что это — признаки менингита.

Она испуганно оглянулась.

Клава, опираясь рукой на стул, с надеждой смотрела на нее своими большими, красивыми глазами.

Вера измерила температуру — серебряный столбик ртути поднялся до сорока.

Пульс показывал сто сорок ударов.

Дыхание учащенное.

Она прижала к груди ребенка фонендоскоп и услышала легкий, едва уловимый, нежный, равномерный хруст.

Это могло быть признаком крупозного воспаления легких.

Нужно было обязательно выслушать повторно, при глубоких вдохах и кашле, но мальчик не приходил в себя.

— Петя кашлял сегодня? — спросила она у Клавы, сворачивая резиновую трубку фонендоскопа в кольцо.

— Нет, не кашлял, ни на что не жаловался... Совсем не было заметно, что он болен... Что же с ним? Что делать?..

С горечью Вера подумала, что она не детский врач и вообще молодой еще врач. А здесь распознать, что с ребенком, было особенно трудно и страшно — мальчику было очень плохо.

С усвоенным выражением деловитой озабоченности Вера сказала возможно более спокойным голосом:

— У мальчика воспаление легких. Положение довольно серьезное, и я сейчас же вызову детского врача из больницы. Тогда решим, что делать дальше.

Юлия Семеновна, седая, немолодая женщина, старая дева с нервным и худощавым лицом, уже через полчаса была у постели мальчика.

Ее привезла санитарная машина.

Вера заметила, что один из седых локонов Юлии Семеновны остался накрученным на бумажку, но сразу же забыла об этом.

Юлия Семеновна взяла руку мальчика с маленькими, тонкими пальцами — на ногтях проступила синева. Пощупав пульс, она поспешно извлекла шприц, вскипятила воду и ввела малышу камфару. После тихо шепнула Вере:

— Я тоже склоняюсь к крупозной пневмонии. Хотя, как вы это заметили, имеются признаки менингита. Посмотрим еще утром. Пока нужно оставить здесь медицинскую сестру.

Клава наклонилась над мальчиком, всматриваясь в изменившееся лицо, и осторожно утерла с его щеки слезу, скатившуюся из ее глаз.

У Пети все раздувались крылья носа, он посапывал, и от этого Клаву не покидало ощущение, что ему не только плохо, а он еще и сердит на что-то.

Это бессознательное чувство было вызвано тем, что так посапывал и муж, когда нервничал.

...Под утро начальника строительства Бушуева разбудил настойчивый звонок. Телефон стоял у него в изголовье. Не раскрывая глаз, Бушуев снял трубку и услышал взволнованный голос Веры Гуриной.

— Сергей Иванович, дайте, пожалуйста, указание Васе, чтобы он немедленно поехал со мною в Киев... Мы постараемся привезти профессора Григорович.

— Хорошо. Но что случилось?

— Тяжело заболел мальчик Сулимы. Очень серьезное положение. Очень.

— Идите в гараж. Я позвоню и пришлю шофера.

Павел, вызвавшийся привезти Олимпиаду Андреевну, и Вера пошли в гараж.

Начался дождь. Разбрызгивая лужи, широкий, просторный лимузин мчался по дороге. Свет сильных фар терялся в мелких дождевых струях.

Им открыла Олимпиада Андреевна.

— Что случилось? — спросила она.

— Мы за вами, — сказал Павел.

— У нас заболел ребенок... По-видимому, крупозная пневмония в очень тяжелой форме... Но есть признаки менингита, — заторопилась Вера.

Олимпиада Андреевна сдержанно заметила, что ребенка следует привезти в больницу, где, раз случай такой тяжелый, она его и осмотрит.

— Ребенок в Боярке. Я — начальник санчасти строительства. Это сын нашего рабочего. Олимпиада Андреевна, мы не можем вернуться без вас...

— Позвольте, коллега... Но ведь там есть боль-

ница, есть педиатры, которые сделают все, что нужно. Ведь вы сами понимаете, что я не могу оставить все дела в Киеве и выехать к вам на стройку... У меня обход в больнице и лекция в институте...— Олимпиада Андреевна начала сердиться.— Это совершенно исключено!

— Но ведь ребенок может погибнуть!

— Как вам не стыдно!—вспыхнула Олимпиада Андреевна.— Ведь вы — врач. Неужели вы не знаете, что я — не чудодей, что могу сделать только то же самое, что сделает местный педиатр...

— Как хотите, профессор, но мы не уйдем, пока вы не согласитесь,— проговорила Вера, сдерживая слезы.— Мы не можем вернуться без вас,— добавила она тверже.

— Поедемте, Олимпиада Андреевна,— попросил Павел.

На их голоса в переднюю вышла Марья Андреевна.

— Нужно ехать, Липа,— сказала она.

...Олимпиаду Андреевну встретила осунувшаяся Клава.

— Скорей, скорей...— горловым рыдающим голосом торопила она.— Ему совсем плохо, он не дышит...

Они прошли в комнату, где у постели мальчика неподвижно сидела медицинская сестра Фенечка. Ее опущенные руки бросились в глаза Вере, что-то кольнуло в сердце и заставило замедлить шаги.

Олимпиада Андреевна прошла вперед, наклонилась к мальчику, прислушалась к едва ощутимому дыханию, просунула ладонь между затылком и влажной подушкой и лишь затем стала расспрашивать сестру о состоянии ребенка и о принятых мерах.

— Так отвечайте, пожалуйста,— требовала она.

Испуганная ее сухим тоном, Фенечка, наслышанная об Олимпиаде Андреевне, отвечала бестолково и невразумительно.

Олимпиада Андреевна пожала плечами.

Клава зашла за спинку кровати и все старалась встретить взгляд Олимпиады Андреевны. Ей каза-

лось, что она приедет и сразу что-то сделает, чтобы спасти ребенка. Но Олимпиада Андреевна ничего не делала, а только расспрашивала, избегая ее взгляда, и Клава быстро переходила от надежды к отчаянию.

Олимпиада Андреевна повернулась к Клаве и сказала мягко и сочувственно:

— Положение очень серьезное. Но мы сделаем все возможное.

У Клавы по неподвижному землистому лицу покатились слезы. А Олимпиада Андреевна снова склонилась над ребенком, выслушивая его. Как большинство педиатров, делала она это не трубкой, а прижимаясь ухом к груди ребенка и поглядывая на Клаву, нарушавшую тишину тихими всхлипываниями.

— Вы правы, — сказала она Вере. — Это не менингит.

Перейдя на латынь, она сообщила о том, что согласна с предварительным диагнозом — крупозная пневмония.

Олимпиаде Андреевне с ее огромной практикой было хорошо известно, что этой болезнью заболевают почему-то чаще всего крепкие, здоровые дети. Но в этом случае ее беспокоило, выдержит ли сердце ребенка: ее привычное ухо слышало шумы, в работе сердечка были нарушения.

Олимпиада Андреевна особенно подробно расспрашивала о перенесенных мальчиком болезнях, так как собиралась ввести новые лекарства в повышенных дозах — такой метод лечения только испытывался в ее клинике.

Петя открыл глаза и сознательно посмотрел на окружающих.

— Хочу пить, — сказал он. — Мама...

Фенечка быстро подала поильник, подхватила головку мальчика, но Петя повторил: «Мама»... — и поильник взяла Клава.

Усталыми глазенками, выделявшимися на бледном, прозрачном лице, Петя посмотрел в ее заплаканные глаза.

— А где папа?

— Сейчас придет, сейчас придет, Петушок, солнышко мое, — зачастила Клава, а Вера почувствовала, что у нее щекочет в горле и застилает взор.

— Я здесь останусь, — сказала Олимпиада Андреевна. — Есть тут телефон, чтобы я могла сообщить об этом в Киев?

— Есть, Олимпиада Андреевна, — благодарно ответила Вера.

Петр Афанасьевич в этот день несколько раз приходил домой и снова возвращался на работу — он не находил себе места.

Вечером Пете стало легче, он выпил киселя. У его постели сидела уже другая сестра — Маша Убийбатько, толстая, добродушная девушка.

Клава вышла в кухню вскипятить чай. За ней вышел и Петр Афанасьевич. Он обнял жену, крепко прижавшуюся лицом к его груди, прикоснулся губами к мягким волосам и сказал вполголоса:

— Будет здоров Петя. Ему еще жить и жить. И тебе нужно быть здоровой. Держись крепче.

...Около трех часов ночи Веру разбудила испуганная сестра. Пульс у ребенка почти не прощупывался.

— Быстро зовите профессора! — приказала Вера сестре и закусила губу.

Случилось то, чего больше всего боялась Олимпиада Андреевна, — сдавало сердце мальчика.

— Камфару! — коротко сказала Олимпиада Андреевна сестре.

Под ее нетерпеливым взглядом Маша разбила ампулу. Дико посмотрев на неуклюжую сестру, Олимпиада Андреевна сама схватила шприц.

Ребенка еще долго кололи, вводя ему лекарства, усугубляя страдания и без того сжигаемого болезнью тельца.

Медленно и тяжело подняла Олимпиада Андреевна голову и сказала как приговор, как всегда произносились и будут, вероятно, долго еще произноситься эти слова:

— Медицина бессильна!

За свою долгую и трудную жизнь она много раз говорила людям эти слова. Но почему-то еще никогда ей не было так горько, так больно и стыдно, как сейчас.

Клава стояла у изголовья кроватки, уцепившись руками за спинку, молча, недвижимо, только лицо ее все больше и больше чернело. И вдруг, когда Олимпиада Андреевна поднялась, она упала, забилась головой о пол и закричала так, что этот нечеловечески громкий и тонкий звук как ножом полоснул по сердцам присутствующих, сорвал с постелей соседей, и сторожа, задремавшего у склада, как ветром сдуло с узенькой приступочки. В испуге подхватил он свою берданку без патронов и долго прислушивался, наставив к ветру волосатое, более чуткое, правое ухо. Затем снова опустился на приступочку, запустил пальцы в бороду и, засыпая, пробормотал:

— Привидится же такое...

23

— По какому праву вы меня об этом спрашиваете?

— Без всякого права!

Лене вдруг показалось, что этот человек с грубоватым, хмурым лицом, с недоверчивым, недобрым взглядом может ее ударить.

Они стояли в коридоре редакции, у окна, выходившего во двор с волейбольной площадкой. Играли девушки. Одна из них принимала картинные позы и часто мазала.

— Без всякого права! — повторил Павел. — Но совесть какая-то должна у вас быть? Обманули человека. Стукнули его ногой ниже живота. Надо же хоть сказать — почему...

Лена решила, что сейчас она молча повернется и уйдет. Но вместо этого она почему-то спросила:

— Где я вас видела?

— В парадном. Вы там с Алексеем о книгах говорили.

Румянец, как всегда, выступил у нее вокруг глаз, а потом разлился по всему лицу.

— Я не желаю с вами разговаривать, — сказала она и ушла.

На этих днях Лену перевели в промышленный отдел редакции. Сделали это по ее просьбе. Она поговорила с Бошко, потом вместе с ним пошла к редактору.

— Я думаю, — подергал себя за усы Бошко, — что нам нужно поддержать желание молодого журналиста потрудиться в промышленном отделе. Все выпускники факультета журналистики стремятся работать в отделе культуры. Им нравится ходить в кино, в театры, на выставки собак. А Елена Васильевна — наоборот — хочет ездить на шахты, на стройки.

— Хорошо, — сказал Дмитрий Владимирович, — мы это обдумаем. Кстати, вы говорили Александровой о своем желании перейти в другой отдел?

— Говорила.

— И что же она?

— Не возражает.

Дмитрий Владимирович сейчас же, как только от него ушли Бошко и Лена, пригласил к себе Александрову.

— Как же так? — спросил он. — Вы взяли к себе молодого работника, собирались будто бы оказывать на него хорошее влияние?.. А теперь, как я слышал, не возражаете против перехода этого работника в другой отдел?

— Да, не возражаю, — ответила Александрова. — Санькина меня очень разочаровала. Она заражена скептицизмом...

— Ай-ай-ай, — посочувствовал Дмитрий Владимирович. — Какое чудовище мы взяли в редакцию! И как же вы полагаете — она пришла к нам такой испорченной или здесь на нее оказали плохое влияние?

— Не знаю. Но думаю, что зерна неверия и скепсиса, брошенные Ермаком, упали на благодатную почву.

Дмитрий Владимирович внимательно, с заметным любопытством посмотрел на Александрову.

— А не скажете ли вы мне — почему вы так озлоблены? Что с вами случилось?

— Со мной — ничего, — в ее голосе прорвались нотки раздражения. — И я ничуть не «озлоблена», как вы изволите квалифицировать мое состояние. Я просто непримирима к идейным противникам. К ревизионистам...

— Да, это я замечал, как и то, что все, что вам не по вкусу, вы готовы называть этим словом. Не слишком ли легко вы им разбрасываетесь? Тем более что — насколько мне это известно — как в своих многочисленных научных трудах, так и в своей выдающейся общественно-политической деятельности Лена Санькина в лучшем случае, умело скрывала свою приверженность к ревизионизму.

— Вы можете шутить. А мне не до шуток, когда я вижу, что поколение журналистов, призванное сменить нас с вами, будет таким, как эта Лена.

— А я очень рад этому! — выпалил Дмитрий Владимирович с внезапной яростью.

Александрова хотела ответить, но удовольствовалась тем, что сжала губы, приподняла брови, молча повернулась и ушла.

Когда Лена перешла в новый отдел, Бошко, хитро прищурившись и собрав в складки лоб и лысину надо лбом, спросил:

— Вы плавать умеете?

— Нет.

— А как лучше всего научить человека плавать, знаете?

— Не знаю.

— Бросить его в воду. Он побарахтается и выплывет. Так вот. Поезжайте на строительство компрессорной станции газопровода. Это тут недалеко, под Киевом. Разберитесь в причинах отставания этого строительства и не возвращайтесь в редакцию до тех пор, пока не напишете об этом корреспонденции...

Он сложил руки и постучал пальцами одной руки по косточкам другой.

Лена поморщилась. Она никак не могла отвязаться от этой глупой привычки — примечать, как человек складывает руки.

Чудаковатый, длинноногий Сева Кружков с их курса объявил однажды, что он вычитал в старом учебнике графологии верный способ определять, сильный или слабый характер у человека. Если человек складывает пальцы так, что большой палец левой руки у него оказывается сверху, — значит, слабый характер. И наоборот: если сверху правый — сильный. У всего курса, если верить этому признаку, характер был слабый. Лена понимала, что это — чепуха. И все же с тех пор присматривалась — складывает ли кто-нибудь пальцы иначе, чем она.

— А может... — нерешительно сказала Лена.

— Справитесь, справитесь, — прервал ее Бошко. — Поезжайте.

...В компрессорном цехе шел монтаж трех последних газомоторных агрегатов. Огромные машины встали на предназначенные для них места. Основной бригадой, занятой на регулировке и ревизии компрессоров, была бригада Петра Афанасьевича.

На лице Петра Афанасьевича после смерти сына появилось несвойственное ему усталое, безразличное выражение. Павел видел однажды, как он присел на корточки, чтобы подогнать поршень одного из цилиндров, задумался и просидел так полчаса или час, пока начальник участка не обратился к нему с каким-то вопросом.

После того непереносимо тяжелого дня, когда похоронили Петю-маленького, никто из рабочих, с которыми Петр Афанасьевич трудился, из соседей, с которыми жил, не выражал ему сочувствия и соболезнований. Однако общее сочувствие и заботу Петр Афанасьевич ощущал во всем — и в том, как бережно разговаривали с ним товарищи, как дома он всегда заставал какую-нибудь женщину, пришедшую к Клаве, чтобы не оставлять ее наедине с тяжелыми мыслями.

После смерти мальчика Клава серьезно заболела. Несколько дней она почти не приходила в себя. Никогда не забудет Петр Афанасьевич, как ночью, под утро, она зажгла свет и, присев на кровати, спросила:

— За что?.. Что мы ему сделали?.. За что он убил мальчика?..

Петр Афанасьевич осторожно, чтобы не испугать жену резким движением, приподнялся. Ему казалось, что она сходит с ума.

— О ком ты говоришь?

— Бог...— тихо, глядя перед собой в одну точку, ответила Клава.

— Клавочка, милая... Что с тобой? Какой бог?..

Она прижалась к мужу и, часто всхлипывая, горячо заплакала, впервые за эти дни.

Ее бледное лицо, пристальный и странный взгляд широко раскрытых, как темные пятна, глаз вспомнились ему, когда, тяжело прихрамывая, он бесцельно прошел в конец цеха и остановился у окна, протирая пальцем запачканное известкой стекло.

На стене висел большой плакат: «Товарищи строители! Уйдите из компрессорного цеха! Не срывайте графика монтажных работ!» В одном конце цеха монтажники уже закончили сборку машин и приступили к ревизии — тщательной проверке и подгонке каждой части, а в другом конце — строители только бетонировали десять огромных болтов, удерживающих компрессор на фундаменте.

Когда уложили прокладки и, выверяя установку компрессора по уровням, стали затягивать болты, два болта на углу неожиданно полезли — выдвинулись на несколько миллиметров из фундамента. Бетон взялся недостаточно хорошо, а это недопустимо. Компрессор крепится к фундаменту намертво — иначе вибрация, испытываемая многотонной махиной, разнесет фундамент на части.

Лена пришла в компрессорный цех в день, когда на стене цеха появилась «молния»: «Позор бракоделам!» Монтажники снова сдвинули компрессор в сторону.

Лена, напрягая голос, спросила одного из монтажников, для чего пневматическими молотками выдалбливают болты. Он прокричал ей в ответ:

— Семь лет рак по воду ходил! А потом за порог зацепился, перевернул ведро. И сказал: вот так черт быструю работу любит!

От пневматических молотков стоял адский грохот. У всех в этом цехе, как показалось Лене, было

подавленное, мрачное настроение. И лишь у одного человека, заметила Лена, на веснушчатом лице с чуть-чуть свернутым набок носом было написано блаженство.

...Вася очень любил петь. Но он был совершенно, органически лишен музыкального слуха. При каждой его попытке запеть товарищи по бригаде затыкали ему рот, швыряли в него всем, что подвернется под руку, грозились убить. И сейчас, когда грохотали пневматические молотки, Вася испытывал настоящее удовольствие. Он пел.

Начальнику строительства Бушуеву, очевидно, было не до корреспондента. Нахмуренные, клочковатые, сросшиеся на переносице брови придавали его лицу угрюмое и внушительное выражение.

— Никакого отставания нет, — сказал он. — В процессе работы бывают накладки, но мы их устраняем. А производственное совещание сегодня действительно будет. Только не думаю, что вам это будет интересно.

Лена все-таки пришла на производственное совещание. Проводил его начальник строительства.

— Сколько вам нужно для того, чтобы забетонировать болты второй раз? — спросил он начальника участка Савельева, поднимая от бумаг лицо, сразу принявшее сухое, колючее выражение.

— Неделю, — виновато затоптался Савельев. — За меньший срок опять браку наделаем. Пока бетон схватится.

— Хорошо, запишем...

Петр Афанасьевич, не поднимаясь, негромко, но так, что услышали все, сказал, что болты можно забетонировать за день и сразу укрепить компрессор. Савельев посмотрел на него с сожалением как на человека больного.

— Каким образом? — поднял брови Бушуев.

— До войны в Челябинске у нас примерно такой же случай вышел, — Петр Афанасьевич встал. — На стройке тогда консультантом был немецкий инженер — видный специалист, может, слышали, — Иван Августович Штейн. Он посоветовал состав крепче бетона — затвердевает сразу, и изготовить его очень легко.

— Что за состав?

— Пятьдесят процентов серы-порошка и пятьдесят процентов песка. Перемешать и сварить в котле. Потом залить. И все.

— Загорится сера, — неуверенно сказал Савельев.

Бушуев, строитель с огромной практикой, никогда не слыхал о таком составе. Осторожно спросил у присутствующих:

— Больше никто не знает такого способа?

Все молчали.

— Мало ли чего немцы придумают, — отозвался наконец Савельев. — Нам эти заграничные штучки ни к чему. Сделаем по-своему — хоть дольше, а надежнее.

— Это неверно. Неправильно. Почему нам не поучиться, если за границей есть что-то хорошее. Не нужно свое охаивать. Но если чему хорошему — поучиться всегда стоит. — В голосе Петра Афанасьевича появились резкие, внушительные нотки, от которых за последние дни уже отвыкли. На него посмотрели с удивлением.

— Хорошо. Прошу внимания.

Бушуев всегда быстро принимал решение. Он дал указание начальнику лаборатории сегодня же приготовить и испытать такой состав.

Совещание закончилось поздно вечером. Лена ушла с совещания еще более растерянной, чем пришла сюда. Ни одного знакомого термина. Ни одного знакомого лица.

Конечно, — думала Лена, — человека можно бросить в воду, чтобы он научился плавать. Но может случиться так, что он утонет. И я — тону...

Она села в вагон электрички у окна. В вагоне было много людей, очевидно знавших друг друга, — они переговаривались, шутили.

Лена улыбнулась какой-то шутке, отвернулась к окну, прижала руки к лицу и, вздрагивая плечами, горько заплакала.

— Не нужно, девочка, — осторожно и нежно сказал большой, грузный старик. Он вынул из корзины фунтик с дешевой карамелью, «подушечками», взял

несколько штук темными, плохо гнущимися пальцами и протянул Лене.

— Спасибо, — сказала Лена, улыбаясь сквозь слезы, и взяла конфеты.

С этого вечера, когда недоверчивый, осторожный Савельев сначала посмотрел на бумажку лаборатории, потом взял в руки темный, черно-серый кусок нового состава и, несколько раз ударив по крепкой, как гранит, массе, убедился, что состав небывало прочен, — с этого вечера Петр Афанасьевич снова включился в работу, и все реже замечали окружающие, что бригадир, как это было с ним в первые дни после смерти сына, разговаривает о деле, а сам мыслями далеко-далеко...

Утром Петр Афанасьевич допил свой чай с молоком, взглянул на часы и переставил стул ближе к опершейся на руку пригорюнившейся жене.

— Ничего, Клава, — проговорил он негромко и твердо. — Будем жить.

Положил папиросу в пепельницу и горячо, убеждающе добавил:

— Мы не сделаем, как эта докторша — Юлия Семеновна. Мы не возьмем мохнатую собачку, чтобы возиться с ней, на руках носить и готовить ей отдельно морковные кисели. Мы не такие люди... — Помолчал. — Двух детей возьмем. Опять в детдоме. Будешь лучше себя чувствовать — трех. Я тоже... Тоже понял, что нужно больше помогать тебе. Больше помогать, чем прежде. И вырастим людей.

Встал, сунул руки в карманы и молча, посапывая носом, прошелся по комнате, остановился у стола.

— Конечно, как Петю — больше никого не полюбим. Был бы родной... — ему сдавило горло, — был бы родной... наш с тобой ребенок — и то не любили бы больше. Уж какие-то такие мы с тобой. Однолюбы.

Петр Афанасьевич посмотрел Клаве в глаза упорным, подбадривающим взглядом.

— Но детей — вырастим! И обижать их не будем. Какие мы люди будем, если детей не воспитаем? Не сделаем из них хороших, добрых, настоящих людей? ..

Клава молчала. Только в красивых глубоких гла-

зах ее светилась такая безнадежная тоска, что Петр Афанасьевич унес бы ее, как девочку, на руках, если бы можно было таким путем уйти от пережитого ими горя.

— Хорошо, — с трудом ответила она наконец. — Только не сейчас, Петро. Подождем.

По ее впавшим щекам покатились слезы.

— Я не тороплю тебя, — сказал Петр Афанасьевич. — Важно только, чтобы ты выдюжила, переломила себя...

Как она там? — подумал Петр Афанасьевич, измеряя щупом зазор. — Нужно будет прийти пораньше...

Вечером Лена решила пойти в редакцию и прямо сказать Бошко, что она ничего не может сделать, что из нее ничего не получится. Или еще лучше — подать заявление о том, что она просит освободить ее от работы «по собственному желанию».

Но вместо этого рано утром она приехала на стройку. И сейчас чувствовала себя особенно неуютно в огромном цехе, по которому беспрерывно двигались люди. Рабочие одну за другой подвозили тачки. Шло бетонирование каналов.

— Отойдите, измажу! — сердито посмотрел на Лену рабочий. У него соскочила с катального хода тачка с бетоном, и, покраснев от натуги, он ставил ее на место.

Лена остановилась на доске, переброшенной между двумя каналами. Пожилой сварщик, желая обойти ее, едва не свалился вниз.

— Сойди с дороги! — прикрикнул он на Лену. Взглянув в ее растерянное лицо, добавил: — Какого черта... — и ушел.

— Скажите, пожалуйста, как найти начальника участка? — спрашивала она у встречных.

Каждый раз ей показывали в сторону, прямо противоположную той, куда она шла. Савельев не сидел на месте.

— Вот он, — указал ей наконец пожилой рабочий в брезентовой робе.

Лена подошла поближе.

Невысокая взволнованная девушка ухватила Савельева за рукав пыльного суконного пиджака.

— На вашем участке четыре человека до сих пор не сделали прививки! — стараясь перекрыть шум вибраторов, напрягала она голос. — В том числе и вы...

— Опять прививка! — вырывая рукав, взвизгнул Савельев. — Пусть меня повесят, а я никого заставлять не буду и сам не сделаю! Знаю я эти прививки! В такое горячее время вы мне половину людей вывели из строя!.. Нам сейчас не до прививок!

У него тряслись щеки от негодования.

Не дожидаясь, чем это закончится, Лена тихонько отошла в сторону и отправилась разыскивать Петра Афанасьевича — в управлении строительства ей посоветовали поговорить с ним или с Савельевым.

Петр Афанасьевич, подняв измазанные в масле руки и вытирая сгибом кисти лоб, сказал:

— Я вас очень попрошу — немного попозже. Ну, хоть в обед. А сейчас... Как бы это сделать?.. Вот мы пригласим одного товарища, молодого бригадира, он вам все расскажет.

Павел заметил Лену еще раньше.

Чего она тут лазит? — думал он с раздражением.

Но когда Петр Афанасьевич позвал его, он посмотрел на Лену и вдруг улыбнулся. Он не ожидал, что она так смешается. Лена взялась рукой за маховик компрессора, а затем провела ладонью по лицу — на лбу и на носу у нее остались длинные полосы темной смазки.

Улыбнулась и Лена.

— Вот мы... встретились... — сказала она.

Больше всего он боялся, как бы Лена не заметила, что и для него многое тут внове. Пояснения давал коротко, отрывисто, поглядывая на часы.

— А что это у вас? — спросила Лена, показывая на высокую ажурную мачту возле цеха.

— Молниеотвод.

— Громоотвод? — осторожно осведомилась Лена.

— Молниеотвод, — повторил Павел. — Гром не отводят. Гром — это звук...

24

У Максима Ивановича в глазах зажегся ласковый огонек, и Лена была ему очень благодарна. Никогда еще не нуждалась она в поддержке так, как сейчас.

Она читала Максиму Ивановичу свой очерк о строителях.

Очерк был немного бессвязен. В нем, вероятно, не хватало знания предмета. Но было в нем такое горячее, такое искреннее увлечение, такое неподдельное уважение к труду, что Максим Иванович не мог не поддаться его обаянию, а Лена испытывала большую признательность за то, что он это понял.

Возбужденная, радостная Лена, перед тем как пойти в редакцию, надела свое любимое голубое платье, доставшееся ей таким необыкновенным образом. Она его ни разу не надевала на работу.

— Ах, какая прелесть! — восхищенно сказала секретарь Лида. — Если бы вы только знали — как вам к лицу голубое! Это то самое платье, что склеили вам на фабрике? Позвольте мне пощупать — неужели совсем не чувствуется швов?

— Мне, кстати, в связи с этим платьем тоже хотелось сказать несколько слов. Может быть, пройдем ко мне? — предложил заведующий отделом писем, который проходил по коридору.

Что-то в нем показалось Лене необычным. Со своим высоким лбом, тонким носом, свежим белым воротничком и темным галстуком, Григорий Леонтьевич, как всегда, выглядел спокойным, сдержанным и уверенным в себе человеком. И все-таки. . .

— Почему вы так насторожились? — спросил Григорий Леонтьевич, поглядев Лене в лицо.

— Нет, я ничего. . . Просто как-то до сих пор получалось, что, когда меня приглашали в кабинет к редактору или к вам, всегда случалась какая-нибудь неожиданность.

— Гм. Садитесь, пожалуйста. Насчет неожиданности — это вы, пожалуй, правы. — Он помолчал. — Вы помните, как вы впервые попали на фабрику имени Крупской?

— Помню, конечно.

— И письмо, которое вас привело на эту фабрику, помните?

— Еще бы! Маша Крапка. Так и не узнали до сих пор, что с ней, куда она уехала?

— Узнали. — Григорий Леонтьевич побарабанил своими тонкими, чистыми пальцами по столу. — Крапка убита. Тело ее засосало трубой землесоса, когда производили работы по расчистке днепровского дна.

Лена побледнела. У нее дрожали губы.

— Кто же убил ее? Зачем? Неужели из-за того, что я тогда не была достаточно осторожной?

— Нет, не думаю. Во всяком случае, сейчас ведется следствие...

...Лена ушла в промышленный отдел.

Она думала о том, как странно, как тяжело сложилась жизнь этой Маши Крапки, а когда вспомнила подробности зверского убийства, какие ей рассказал Григорий Леонтьевич, внезапно ощутила, что у нее к горлу подкатил комок, и расплакалась.

— Что с вами? — спросил Бошко. — Не получается материал?

— Нет. Я не из-за этого.

— А по-моему, единственная причина, из-за которой стоит плакать, сходить с ума, кончать с собой, — это когда не получается материал, который нужно поставить в номер, — прошепелявил Бошко. — Я, во всяком случае, если не получалась статья, всегда кончал самоубийством.

Лена улыбнулась.

— Ну, давайте ваше произведение.

Бошко читал страничку за страничкой, хмыкал, поглаживал себя по лысине, дергал за усы.

— Хорошо, — сказал он. — Мне нравится. Мы с вами вместе ее немножко подправим, и можно будет печатать. Но перед тем скажите мне: вы в школе писали сочинения? Ну, скажем, «Евгений Онегин как представитель разлагающегося феодального общества»?.. Или что-нибудь в этом роде?

— Писала.

— А план вы всегда составляли?

— Всегда.

— Ну так вот, теперь попробуйте составить план очерка, который вы уже написали. И вы сами увидите, что некоторые части у вас поставлены таким образом... — он закинул правую руку за голый затылок и взял себя за левое ухо.

Лена составила план. Бошко посмотрел его, покачал головой.

— Вот теперь все видно.

Он быстро перенумеровал пункты плана.

— А ножницы у вас есть?

— Нет.

— Обязательно купите ножницы. Какой может быть журналист без ножниц?

Он достал из ящика стола ножницы с концами длинными и тонкими, как шпаги, разрезал странички очерка на части и склеил их в ином порядке. Не выпуская из рук ножниц, Бошко взял со стола ручку и поставил на страничках другие номера. Некоторые страницы выходили коротенькими, а некоторые — длинными. Описание устройства смазки компрессора он зачеркнул вовсе.

— Вот... Это нужно снова перепечатать на машинке, и запланируем ваш очерк в следующий номер... А теперь скажите мне, сами-то вы понимаете, что не выполнили задания, которое получили? Ведь вы должны были написать корреспонденцию о причинах отставания строительства компрессорной станции, а написали очерк о работе строителей.

Он хитро прищурился.

— Понимаю, — ответила Лена. — Но...

— Вот это «но» — главное в нашей работе. Если вы сумели понять, что, какое бы задание вы ни получили, нужно писать о том, что в действительности является главным, значит, из вас журналист еще получится.

Лена смущенно улыбнулась.

— И еще обратите внимание на то, что у вас неправильно написана фамилия монтажника. Я исправил. Он не Костин, а Костев. Это опечатка или вы ошиблись?

— Опечатка. Но откуда вы знаете?

— Я знаю на память фамилии всех монтажников, всех каменщиков, всех плотников и штукатуров Украины.

Лена широко открыла глаза.

— Шучу, шучу. Я просто вслед за вами поехал на стройку.

...Лена пошла в машинное бюро. Бошко принялся за очередную статью. При этом он тихонько напевал какую-то мелодию сипловатым высоким голоском. Оглянулся на дверь и шепелявя запел громче:

Вперед, заре навстречу!
Товарищи, в борьбе
Штыками и картечью
Проложим путь себе...

Если прислушаться к песням, которые поет человек, когда думает, что находится наедине с самим собой, можно много узнать о его прошлом, о его вкусах и нраве. При взгляде на плотную фигуру, на жирный затылок со складкой посередине, лысую голову и опущенные книзу усы никто бы, пожалуй, не предположил теперь об Иване Даниловиче, что это — комсомолец, горячий, непоседливый, дерзкий Ваня Бошко. А вместе с тем это был именно он, и то же горячее комсомольское сердце билось в его груди, только сдержанней, умней и осторожней был этот старый комсомолец. Сказывались трудные годы. В тридцать седьмом он был арестован по доносу одного человека, которого считал другом. До сорок первого жил на Колыме. Был неожиданно освобожден. Пошел на фронт рядовым солдатом. Тяжело ранили — пулей раздробило верхнюю челюсть. Семья погибла в Киеве, в Бабьем Яру. Сбежал из госпиталя, где его кое-как заштопали. С тех пор шепелявил и завел усы, скрывавшие швы над верхней губой. Вернулся в свою часть. Закончил войну командиром батальона, майором. Возвратился в газету, где совсем молодым парнем начинал работу в этой же должности — заведующего промышленным отделом.

Он редко встречал старых товарищей, членов од-

ной с ним комсомольской ячейки, соседей по общежитию. И только иногда в Центральном Комитете партии, в коридоре дюжий генерал-лейтенант неожиданно обнимал толстого, с одышкой Бошко и после долгих взаимных расспросов вдруг вздыхал:

— Ваня, Ваня, где же твой чуб? Ведь какой кучерявый был...

— Внутрь вошел, — флегматично отвечал Бошко. — Меньше завитков наверху — больше внутри. — И в свою очередь замечал: — А у тебя, Сашенька, что-то брюшко очень заметно стало.

— Ну, да и ты не из самых худых...

И они расставались, чтобы снова встретиться только через несколько лет, эти старые комсомольцы.

...Вернулась Лена. Бошко просмотрел перепечатанные странички и написал вверху на первой: «В набор». Его широкое лицо с мясистым носом, круглым подбородком и большим ртом с черными, опущенными книзу усами, как всегда, выглядело умным и привлекательным.

...Ей было знакомо каждое слово. Все это написала она. И все же, когда Лена увидела свой очерк напечатанным на газетной странице, внизу, подвалом, она перечитывала его так, словно это было сделано кем-то другим. Опубликованный в газете, ее очерк словно приобрел новые качества — он стал значительней и значимей, он был своим, а вместе с тем отделился от нее и зажил уже самостоятельной жизнью.

— Поздравляю, — сказала ей Александрова перед летучкой. — Очерк ваш мне очень понравился. Талантливо сделано.

Со дня встречи в ресторане Валентин Николаевич делал вид, что не замечает Лену, смотрел сквозь нее, мимо, а она опускала глаза, досадуя на себя. Но сегодня он подошел к ней, пожал руку и сказал смущенно:

— Растете, Леночка. Хорошо растете.

На летучке ее материал и дежурным критиком и выступавшими единодушно был признан одним из лучших в последних номерах.

К концу дня в редакцию пришел Павел.

— Что же вы так? — сказал он Лене. — Ведь

договорились, что, перед тем как вашу заметку напечатают, вы мне ее покажете.

Лену обидело название «заметка», употребленное по отношению к ее очерку, но она чувствовала себя виноватой. Она же сама попросила у Павла разрешения прочесть ему очерк перед тем, как отдаст в печать.

— Как-то так получилось...

— Плохо получилось. Вы все-таки нахомутали...

— А что? — в замешательстве спросила Лена.

— Да многое. Прежде всего вы похвалили Хейло, а из него такой монтажник, как из вас...

У Лены в глазах мелькнул испуг. Ей показалось, что Павел скажет: «Как из вас — журналистка».

— ...как из вас чемпион по вольной борьбе.

— Я его не хвалила, — возразила Лена.

— Раз в статье о нем вспомнили — значит, хвалили. И дальше. У вас сказано, что он невысокий, черноволосый. Невысокий — это правильно. Но где он, к черту, черноволосый, когда он лысый, как колено. Все строительство смеется над вами и над ним. Ну, что над ним смеются — мне не жалко, а вот вы... Можно же было спросить...

— Ах, как нехорошо! — сморщилась и опустила голову Лена.

— Конечно, нехорошо. А этот Хейло такой, что он еще к главному редактору с жалобой прибежит, потребует, чтобы опровержение дали.

— Очень плохо... Ну, а в целом материал вам понравился? — спросила она с надеждой.

— Нет, — прямо ответил Павел. — И в целом не понравился. Слишком много вы в нем удивляетесь. А удивляться нечему. Работают люди. Правда, я правильно оценить эту заметку не могу, мне все же приятно, что о нас в газете написано. А вот приятно ли это людям, которые не работают на нашем строительстве, — не знаю. Это надо у них спросить.

— Но атмосфера строительства все-таки чувствуется? — спросила вконец огорченная Лена.

— Атмосфера? — с сомнением посмотрел на нее Павел. — Чувствуется, конечно. Но вот хоть вы и на-

писали и «майна» и «вира», а разговаривают люди по-другому. Лучше разговаривают.

— Совсем вы ничего не оставили от моего очерка, — улыбнулась Лена довольно беспомощно.

— Да нет, — не согласился Павел. — Все-таки здорово, что вы написали. Я вот сколько времени работаю, и нельзя сказать, чтоб неграмотный — среднее образование получил, по сочинениям всегда пятерки были, а вот если бы попробовал написать о компрессорной станции, где я все знаю, — не сумел бы. Нет, в целом эта заметка художественная, вроде рассказа.

Лене показалось, что ни одна из услышанных ею похвал не была ей так важна и дорога, как скупое одобрение этого парня с хмурыми, честными глазами на грубоватом и красивом лице.

— Я вот часто думал, — сказал Павел, — почему люди выбирают себе какое-то дело? Ну вот, один — изобретателем становится, другой — летчиком, третий — водолазом. Как приходят люди к этому? Вот и у вас хотел спросить — вы нарочно стали газетчиком или случайно?

— Не знаю, — задумалась Лена. — Когда я училась в школе, я думала, что пойду в ветеринарный институт. Я очень люблю животных. А потом стала писать стихи. Подруга решила поступить в университет на факультет журналистики и уговорила меня тоже подать туда заявление. Выходит, что случайно. После первой практики мне стало казаться, что журналист из меня никогда не получится. Я даже думала уходить из университета. А вот теперь ни на что не променяла бы своего дела...

Лицо Павла сохраняло хмурое выражение. Он считал своей обязанностью относиться с недоверием к этой Лене, так подло поступившей с его товарищем. Но сейчас она ему нравилась.

— Нигде — ни в школе, ни в университете — мне не было так интересно, как в газете. Здесь каждый день не похож на другой. Здесь все время встречаешься с новыми людьми, с новыми делами, — говорила Лена, ощущая какое-то особенное доверие к этому человеку, который ей когда-то так не понравился. —

Очень интересно. Хотя, когда я впервые пришла в редакцию...

Лена стала оживленно рассказывать о первом задании, которое она получила, о письме Маши Крапки, о том, как она пыталась установить, есть ли такая девушка на фабрике.

Павел слушал ее внимательно, не перебивая. Но когда Лена рассказала о смерти Маши Крапки и о том, как она была убита, Павел внезапно побледнел. Лицо его приняло странное, испуганное и вместе с тем решительное выражение. У него словно перехватило дыхание.

Лене подумалось, что так известие о смерти Маши Крапки мог принять только человек, который убил ее или участвовал в ее убийстве.

— Что с вами? — спросила она испуганно.

— Ничего, — сказал Павел. Его голос стал совсем тихим, сдавленным и страшным. — Ничего. Я потом скажу.

Не прощаясь, он повернулся и ушел.

25

Слова таят в себе опыт многих поколений.

Какие океанские глубины, какие необыкновенные истории замечательных открытий, великой любви и бессильных безумий, гениальных озарений и животных страстей, ошибок и побед стоят за многими из них!

Боже мой, как много заключено в каждом слове!

Но, перекатываясь из уст в уста, перемалывая, подобно жерновам, события и судьбы, слова стираются, стареют и меняются. И вот уже сплющенное в лепешку, смирное, равнодушно-покорное слово попало в картонные тиски словаря.

Какой нечеловеческой мукой отдавались под сводами Тайного приказа стоны людей — им загоняли под ногти деревянные клинышки, чтобы узнать «подноготную» правду... Но на четвертом этаже, над вами, живет Людмила Робертовна с узким без единой морщинки лбом и вишневыми губками.

— Этого не может быть!
— Но я сама видела...
— Я этого не желаю слушать!
— Можете не слушать, но об этом все говорят...
— Это неправда!
— Так выходит — все лгут?.. У них вся семья такая... Я знаю всю их подноготную...

А иногда слова взрываются. «Выстрел», рожденный беззвучным полетом стрелы, стал синонимом самого громкого звука. Неделимый атом, обозначавший самую маленькую, самую ничтожную частичку сущего, с грохотом, в сравнении с которым раскаты грома — цыплячий писк, раскололся и превратился в знамение новой эпохи...

От каменного молотка — к циклотрону. От смолистого факела — к атомной электростанции. От гениального открытия первого колеса к не менее гениальному открытию — ракетоплану, поглощающему пространства между мирами.

Длинный и крутой путь, на протяжении которого слова вбирали в себя весь опыт человеческий, как полову, отсеивали ошибки, выбирали самое нужное, самое главное, а иногда сияющими разведчиками устремлялись в далекое будущее, в незнаемое.

Только одно слово на всем этом пути ничуть не изменилось в своем великом, в своем решающем значении. И если бы существовали весы, на которые можно бросить это слово, — с какой легкостью взлетела бы к потолку противоположная чашка, нагруженная многими судьбами и многими историческими событиями. Это слово — хлеб, о котором повелел человеку разгневанный бог: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят...», бог, созданный человеком по своему образу и подобию только потому, что в поте лица своего всегда человек добывал свой хлеб;

слизняки и полупрозрачные водянистые луковицы неизвестных ныне растений, которыми питались наши волосатые предки с их выпуклыми надбровными дугами и тяжелыми нижними челюстями, и консервированные мясо, овощи и молоко — менее полезные, чем

эти слизняки и луковицы, — обед из них можно получить в любом кафе, вдоль любой из дорог, пересекающих во всех направлениях Новый Свет (великолепный способ сбывать плохие продукты);

трижды благословенные золотые массивы пшеницы, взращенной на пустовавших прежде целинных землях Казахстана и Сибири, и крошечный, как носовой платок, горный надел, куда смуглый афганец с острым, как нож, лицом таскает в полé халата по горсти землю и ограждает ее камнями, чтобы горный силь не снес чахлых стеблей ячменя;

легкий хлеб Бесчиерро, полубезработного грузчика, веселого разговорчивого итальянца, съедающего самый дешевый завтрак из всех, какие ему доступны, — десяток зрелых, сияющих, как солнце, апельсинов, а каждая мышца просит мяса — он вчера разгружал пароход и нет больше сил; и тяжелый хлеб Дюпона, угрюмого миллиардера, каждый день завтракающего одним апельсином: ничего не поделаешь — диета, и в конце концов — сколько человеку нужно;

солдатский сухарь, размоченный в воде едва ли не всех рек мира, и свадебный пирог, огромный, как мельничное колесо;

горсточка риса, которой не хватило, чтобы сохранить жизнь исхудавшему, как мощи, индийцу, живот его так впал, что казалось — он вплотную касается спины (Британия, владычица морей!), и благодатный кусок черствого хлеба, что мог бы спасти от смерти распухшую от голода, не вмещающуюся в платье русскую крестьянку (голод в Поволжье. Сколько раз голодало когда-то Поволжье!);

— ...такая молодая... Что вас заставило? — спросил он трезвым утром.

— Нужно как-то зарабатывать на кусок хлеба... Я была прачкой. Прачечную закрыли. А у меня больная сестра и девятилетний брат...

После ее судили за убийство. Она проломила ему голову массивной, литого стекла пепельницей. Он стал доказывать, что она поступает безнравственно. Банальная история!

— О конечно, как говорит народная мудрость, хлеб — всему голова. Это замечательное выражение я сам записал в деревне. Я собираю фольклор. Для диссертации. Какой там пейзаж, в деревне! И. какой хлеб! Домашний, испеченный на поду!.. Замечательно!

— Понравился?

— О да. И все же продукты очень дороги. В деревне они срывают огурцы даром, прямо в огороде возле дома, а потом продают в городе за деньги...

Говорят — «не единым хлебом...» Да, не единым! Но самые высокие идеалы превращаются в мыльные пузыри, если, осуществляя их, забывают о хлебе. И когда думаешь об этом, с особой силой понимаешь чистоту и великодушие замечательных решений партии, решений, направленных на подъем сельского хозяйства.

Его ничем не заменить: ни золотом, ни драгоценными камнями, ни контрольными пакетами акций, ни водородными бомбами. Мы покупаем его в материализованном виде — серые пористые кирпичи и глянцевые круглые хлебцы, легкие калачи и плоские лепешки; мы укрупняем колхозы и распахиваем целину, мы посылаем руководить сельским хозяйством лучших людей и создаем самую мощную, самую обученную в мире армию агрономов, потому что нам нужен х л е б.

* * *

...Судя по нерешительному выражению лица, Алексей не знал, как реагировать. Наконец он натянуто улыбнулся и сказал:

— Ты извини меня, мама... Но я никогда не мог предположить, что при твоем знании химии ты можешь...

Марья Андреевна строго и внимательно посмотрела на него своими темными, всегда неожиданно молодыми глазами.

— Но твой отец...

— Мой отец дал способ отделения «тяжелой

воды», когда еще никто не знал, что она станет основой современной атомной промышленности, — с гордостью сказал Алексей. — Вероятно, он, при необыкновенной широте его научных интересов, думал и об этом. Как о далеком будущем человечества... Но я никогда не предполагал, что такая несбыточная идея может так увлечь тебя. У папы, вероятно, появлялись сотни таких общих проблем, требующих более или менее близкого или далекого разрешения усилиями многих и многих ученых... Это хорошо для фантастического романа... Это может заинтересовать сегодня лишь человека, совершенно не знакомого с химией. Как Павел, скажем...

— Может быть, — сказала Марья Андреевна. — Может быть, и не знакомого...

— Ты не сердись и поверь мне — ни я, ни кто другой не может этим заниматься... Это слишком далеко от жизни. Все равно что накапливать солнечный свет с помощью огурцов...

— Ты не понимаешь этого. Боюсь, и не поймешь... Но если бы я была моложе или если бы можно было все начать сначала...

Алексей промолчал.

Они сидели вдвоем у большого круглого стола, перед старинным высоким чайником, подогревавшимся на столе спиртовкой. Олимпиада Андреевна ушла на заседание терапевтического общества, где ей предстояло делать доклад. Марья Андреевна предупредила Алексея, что хочет с ним поговорить. Алексей внутренне поморщился, насторожился: он думал, что речь пойдет о его неудавшейся женитьбе — до сих пор об этом дома не было сказано ни слова. Но такого разговора он уж никак не ожидал.

— Почти у каждого человека есть какой-то свой замысел, свое дело, которое он считает для себя самым важным, — продолжала Марья Андреевна негромким и чистым голосом, который придавал необыкновенную значимость каждой мысли. — Но немногие люди, если даже они преуспевают в какой-то области, заняты его осуществлением. Обыкновенно бывает так: человек думает — ну вот, справлюсь еще с этим незна-

чительным, как приготовление обеда, текущим делом, подготовлюсь как следует, узнаю побольше, а затем примусь за свое самое главное, самое основное. Так проходят дни, и месяцы, и годы, а это самое главное, самое основное остается неосуществленным. Объясняется это, вероятно, тем, что где-то в душе у человека таится сомнение — а вдруг ничего не получится. Так лучше уж выждать, лучше надеяться, что это у меня впереди, чем разочаровываться... Что же у тебя, Алексей, это главное?

— Не беспокойся, мама, — неловко улыбнулся Алексей. — Я ничего не откладываю. Я сделал клей, который клеит одежду. И делаю такой, что будет клеить мосты и другие металлические конструкции. Это тоже не легкая задача. Но — реальная.

— Да, это реальнее, — сказала Марья Андреевна. — Что ж — это не мало.

— Не мало. — Слегка повернув стол, Алексей придвинул к себе хлебницу, взял ломтик черного хлеба и стал намазывать его маслом. — Хлеб, — сказал он задумчиво, — хлеб не панацея. Мне трудно и в этом согласиться с тобой. Конечно, тем или другим путем мы придем к изобилию всех продуктов. Но социальные корни преступления в наших условиях значительно сложней. Их не объяснить тем, что люди нуждаются в хлебе, в работе. Едва ли в нашей стране в последние годы было совершено убийство, ограбление, кража потому, что человек, ставший на этот путь, нуждался. А ведь бывают и убийства и кражи. Значит, в этих случаях людьми движут другие побуждения...

— Не знаю, — резко сказала Марья Андреевна. — Ты прав, я плохо разбираюсь в этом. Но знаю только одно: если людям будет лучше, легче жить — они сами станут лучше. Для этого и принимаются все постановления о развитии промышленности и сельского хозяйства. Для людей, а не для сельского хозяйства. Закончим этот разговор. Извини — я устала.

За всю свою жизнь Алексей в первый раз услышал, как Марья Андреевна сказала о себе, что она устала.

26

— Зачем ты убил Машу Крапку? — спросил Павел.

Виктор вздрогнул и сунул руку в правый карман пиджака. Павел вобрал голову в плечи, как перед прыжком, но Виктор вынул белый отглаженный носовой платок и провел им по лбу.

— Откуда это тебе известно? — спросил он спокойно.

— Мне известно, — с угрозой ответил Павел. — Зачем ты это сделал?

— Прежде всего, я должен знать, что тебе об этом известно.

Виктор посмотрел на Павла проницательно и недобро.

— Я хорошо помню, как ты пробил гвоздем доску в заборе... А ей вогнали в спину, сзади, гвоздь так, что он пробил ее почти насквозь.

— Вот, значит, что... — протянул Виктор. — Кто тебе об этом рассказал?

— Девушка из газеты. Жена директора этой швейной фабрики.

— Где ты с ней познакомился?

— На строительстве.

— Ты никому не говорил об этом?

— Пока — нет.

— Пока?

Павел молчал.

— Хорошо, — решил Виктор. — Ты имеешь право знать, почему я это сделал. Ты со мной связан крепче, чем тебе сейчас кажется. Ты до сих пор не знаешь даже и того, почему я убил тогда Войцеха. Мне не нужны были эти деньги. Но это был урок для других. Я приехал в Чернигов как инкассатор. Он вместе с государственными продавал и наши ткани. Он должен был вернуть восемьдесят процентов выручки. Он хотел взять все. Я с ним покончил и забрал деньги. Ты мне помог. Спасибо. Но теперь — все, что случится со мной, будет и с тобой. Запомни — ты никогда не

докажешь, что не был соучастником в этом деле. В убийстве. Если я этого захочу...

— Знаю. Зачем ты убил эту девушку?

Виктор медленно заправил сигарету в резной мундштук из слоновой кости с серебром, затем вынул ее из мундштука, положил на стол, достал из кармана блокнот, вырвал страничку, оторвал узкую полоску бумаги, свернул в трубочку и начал старательно, точными и аккуратными движениями прочищать мундштук.

Они сидели в небольшой комнате за квадратным столом без скатерти. Кроме стола в комнате был еще узкий диванчик, большой зеркальный шкаф и три стула. Виктор, как показалось Павлу, здесь не жил, хотя у него был свой ключ. Когда Павел дозвонился к нему по телефону (несколько раз у него спрашивали: «Кто говорит, зачем вам нужен товарищ Смирнов?»), Виктор пригласил его сюда, на окраину Киева, на Куреневку, в этот одноэтажный, деревянный, старой постройки домик.

— Маша была глухонемой.

— Я знаю.

— Знаешь, да не все. Маленькой девочкой она была тяжело ранена и контужена. Бомба упала в их двор. Родители погибли. Я ее подобрал на вокзале, когда ей не было тринадцати лет. Она убежала из детского дома. Она была очень обидчивой, эта Маша. — Виктор улыбнулся с неожиданным добродушием. — Всюду возить ее с собой, как ты понимаешь, я не мог. О моих делах она даже не догадывалась. В последнее время я вел крупное дело здесь, в Киеве. Дело очень крупное, а связано с ним немного людей. Каждый был на учете. Когда ты вернулся, когда мы встретились, я сначала хотел подключить и тебя. Но ты — не годился. Мне не годились люди, которые сидели...

Недобро прищурившись, он продолжал:

— Ты мало знаешь о такой науке — о социологии. Но в общем и ты понимаешь, что в наших условиях интересы государства и человека совпадают. Этим отличается социализм от капитализма. И это —

самое главное. Поэтому у нас так трудно... Трудно таким, как я... Ты один — против всех. Против так хорошо, так продуманно организованного общества. Нужно быть умным как дьявол. И сильным. И стараться, чтобы в твоем деле участвовало как можно меньше людей. Чтобы люди эти не вызывали ни малейших подозрений. Не обращали на себя ни малейшего внимания. И чтобы даже они не все знали тебя в лицо. И все равно — всегда, днем и ночью, быть готовым к тому, что дело раскроют. Что за тобой придут.

Он помолчал, прислушался.

— Маша мне нужна была на складе. Она делала все, что я говорил. Но постепенно она стала кое о чем догадываться. Она вбила себе в голову, что директор фабрики — муж этой девочки, с которой и ты теперь познакомился, — заставляет меня работать на него. Хотя, как ты понимаешь, было наоборот. Я руководил этим делом. Я предупредил Машу, что убью ее, если она не будет молчать...

Виктор прочистил мундштук, закурил, прошелся по комнате.

— Пришлось увезти ее в село. Она не хотела там оставаться, грозилась, что вернется и пойдет в милицию. Я не собирался ее убивать. Особенно так. Я не ношу с собой оружия, — Виктор с насмешкой посмотрел на Павла, — хотя, когда я полез в карман за платком, тебе показалось, что я выну пистолет. У меня не было даже перочинного ножа. Гвоздь я нашел по дороге. Это был старый, ржавый гвоздь...

Он замолчал, сел на стул, опустил голову на маленькие детские руки.

— Что ты собираешься делать?

— Придется свернуть дело. И уехать. В любом случае помни — ты со мной никогда не встречался.

— Нет. Я думаю, лучше тебе пойти в милицию. — Павел смотрел вниз, на стол. — Или я сам это сделаю.

— Не советую, — улыбнулся Виктор спокойно и лениво.

Павел встал. Виктор снова опустил руку в кар-

ман. Павел заметил, как сузились и блеснули его глаза, ухватился за край стола, перевернул его, швырнул на Виктора и навалился сам. И сейчас же глухо, как пробка из бутылки, выстрелил пистолет, пуля ударила в стол.

Павел оттолкнул стол ногой, наступил Виктору на руку, сжимавшую пистолет, и схватил его за горло. Он не отпускал худого, тонкого горла Виктора до тех пор, пока у того не закатились глаза. А затем он поднял пистолет, расстегнул и вытащил у Виктора из штанов пояс, повернул Виктора на бок, обмотал поясом руки и крепко завязал на два узла.

Глаза у Виктора были по-прежнему закрыты, но Павел заметил, что веки дрогнули. На выстрел никто не пришел. Павел поднял Виктора, посадил его на диван, вынул из двери ключ, закрыл за собой дверь на замок, вышел в коридор и постучал в соседнюю комнату. Там что-то зашуршало, но дверь ему так и не открыли.

Не снимая пальца со спуска пистолета, — он держал его в кармане, — Павел вышел на улицу. Надо было отыскать милиционера. Он сам себе не сознавался в том, что все-таки боится остаться наедине с Виктором.

Это хорошо кончилось. Это очень хорошо кончилось, что я опрокинул стол, — думал Павел. — На выстрел никто не пришел. Если бы я не успел — на выстрел также никто бы не пришел. Но как это вышло?.. Почему я догадался?..

Он вспомнил, как в детстве — он учился в первом или во втором классе — один пацан рассказывал страшную историю. Как же это?.. А, помню... В одном черном-черном городе стоял черный-черный дом. В этом черном-черном доме была черная-черная комната. В этой черной-черной комнате стоял черный-черный стол. На этом черном-черном столе стоял черный-черный гроб. В этом черном-черном гробу лежал черный-черный... таракан!!! — выкрикнул пацан последнее слово. Все вздрогнули, а Павел с размаху стукнул рассказчика в нос.

Кто-то из старших — кто же это был? — накричал

на Павла: зачем ты его ударил? «Я очень испугался», — сознался Павел.

...Эта окраинная улочка сплошь состояла из одноэтажных домиков, окруженных небольшими садами и огородами. Лаяли собаки. Павел миновал угол, другой. Он шел по направлению к трамвайной остановке. На углу матовые шары освещали вывеску аптеки. Но аптека была уже закрыта. Над звонком висела табличка: «В случае экстренной необходимости просят позвонить». Павел не спускал пальца с кнопки звонка по меньшей мере минут пять. Наконец ему открыла сонная, недовольная дежурная.

— Без подушек кислород не отпускаем, — сказала она.

— Каких подушек?

— Вы ведь уже раз приходили...

— Нет... Мне позвонить по телефону.

— У нас не переговорная!

Женщина попыталась закрыть дверь, но Павел оттолкнул ее, прошел в аптеку и направился за стойку в комнату, откуда сквозь открытую дверь проникал свет.

В комнате за длинным столом, уставленным аптекарскими весами и банками с латинскими названиями, на узкой, обитой клеенкой медицинской кушетке сидел парень, с волосами, начинавшимися от самых бровей. Он надевал задом наперед рубашку.

— Я... только на минутку... зашел... — испуганно бормотал он, просовывая голову в воротник.

Павел подошел к телефону, снял трубку. Чтобы набрать номер, он вынул из кармана руку, в которой все еще был зажат пистолет.

— Ай, не нужно! — закричал парень каким-то совершенно мышиным голосом, и вдруг Павел увидел, что женщина, дежурившая в аптеке, подбежала к парню и закрыла его своим телом.

— Какой номер телефона милиции? — хмуро осведомился Павел.

— Не знаю, — ответила женщина. — Ноль один.

Павел набрал ноль один.

— Пожарная охрана, — ответили ему.

— Мне нужна милиция.

— Звоните ноль два.

Дежурный милиции сказал, что по адресу, указанному Павлом, сейчас же выедет оперативная машина.

Когда Павел выходил из аптеки, женщина, наклонив голову, попросила его:

— Если только можно, не говорите, что я была не одна... Очень вас прошу.

— Хорошо.

— Проклятая жизнь, — сказала женщина и заплакала.

27

— Алло!.. Алло!

Телефонные провода где-то соединились с проводами радиотрансляции, и трубка пела: «Закаляйся, если хочешь быть здоров». Затем в мембране что-то щелкнуло, как в тех случаях, когда звонят по телефону-автомату.

— Смирнова взяли, — шепотом сказала трубка. — Уезжайте.

Затем снова щелчок и протяжный гудок низкого тембра.

Максим Иванович положил трубку на стол.

— Чем тут пахнет? — сказал он Лене. — Как будто рыбу жарили...

— Нет, — ответила Лена. — Я не чувствую.

— Ну, может быть, мне показалось.

Он положил трубку на рычаг, расправил шнур.

В голове назойливо вертелась мелодия песенки: «Закаляйся, если хочешь быть здоров...»

Все кончено, — думал он, — все кончено.

— Мне придется уехать в командировку, — сказал он Лене с тем необъяснимым спокойствием, какое бывает у некоторых людей только в минуты крайней опасности. — Нужно уложить чемодан.

— Я помогу, — сказала Лена.

— Нет.

Он стал складывать в чемодан белье, разыскал

зубную щетку и вставил ее в круглый футляр, положил бритву, мыло в прозрачной пластмассовой мыльнице, недочитанную книгу. Он закрыл крышку и повернул маленький ключик в замке, хотя знал, что никуда не уедет.

Все кончено, — думал он. — Все кончено...

Он был первым учеником в классе. Вторым учеником был Натка. Они и сейчас еще изредка встречались, школьные товарищи. Натка стал электромонтером. Максим Иванович вдруг с ужасом почувствовал, что забыл, как зовут Натку. И сейчас же вспомнил — Григорий Миронович. Наткой его называли в школе потому, что ему нравилась девочка по имени Наташа, и так за ним осталось это имя, хотя он был женат совсем не на Наташе, а на Вере, либо Кате, и имел уже больших детей. Натка иногда жаловался на то, что устает, что завод плохо снабжают обмоточным проводом — он перематывал электромоторы — и он простаивает. «А у меня заработок, — говорил Натка, — не то что твой, директорский. У меня сколько сделал — столько и заработал...»

Да, о чем же я?.. Ага, о заработке...

Когда бы не клееная одежда, все было бы лучше. Не так больно. Не нужны были все эти комбинации и деньги, которые они приносили. С первого дня, когда он понял, что одежду можно будет клеить, он знал: нужно покончить с прошлым. Но не смог. Он работал как вол. Сколько было сделано опытов, как много неудач, как собирались одна к другой крупицы успеха, чтобы, наконец, изготовить одежду поновому.

Все кончено, — думал он, — все кончено...

Так повезло. Именно на его фабрику пришел этот Алексей со своим предложением. Он его сразу же поддержал. Ему, инженеру-швейнику, это было очень интересно, искренне интересно. Но он был запутан. Как в паутине. И знал, что ему не распутаться. Натка жаловался, что он простаивает и у него низкие заработки. Но он ни в чем не был запутан. Он все мог сделать. Если бы он захотел, он бы мог начать жизнь сначала...

Да, о чем же я?.. Ага, о жизни... О жизни... Сильная воля. Слабая воля. Он умел добиваться своего. Он сумел даже жениться на Лене. Да, тогда ему казалось, что если Лена будет с ним, — все изменится. Значит, он чист, если Лена с ним. Человек, с которым Лена, не может быть негодяем. Ничто не изменилось. Не нужно было этого. Он слишком многого добивался, слишком многого хотел. И все это было не нужно.

Сейчас за мной придут, — подумал он и заторопился.

Максим Иванович подошел к телефону и вызвал такси.

— Лена, — сказал он спокойно. Улыбнулся. И вдруг побледнел так, что щеки и губы посерели, а уши стали синевато-белыми. — Я хочу, чтобы ты вместе со мной сейчас сложила все свои вещи. Все. И уехала к родителям. Поживи у них. Пусть пройдет некоторое время. Не нужно ничего говорить, — поднял он руку, предупреждая возражения. — Мы после обо всем поговорим.

— Я... я не понимаю... — у Лены дрожали губы. — Я...

— И не нужно понимать, — хриплым, сдавленным голосом ответил Максим Иванович. И вдруг закричал: — Молчи!.. — С искаженным лицом вдохнул и снова закричал визгливо и страшно: — Молчи!!

Руки его нервно шарили по карманам — он разыскивал ключик от чемодана. Он открыл чемодан, вывалил на пол уложенное и стал складывать туда платья Лены.

Испуганная и оскорбленная Лена, прижав руки к груди, стояла посреди комнаты. Затем повернулась и направилась к двери.

— Подожди! — резко крикнул ей вслед Максим Иванович. Он вышел за ней с чемоданом, сошел вниз, подождал, пока Лена села в такси, дал денег шоферу и, не прощаясь, махнул рукой — поезжай!

Затем медленно возвратился домой. Выглянул в окно. В комнату снизу доносились шорох, голоса — неясный шум большого города. Города, где каждый мог

пойти куда хотел и мог делать что хотел, мог изобретать новые способы производства одежды и не запутываться в опасных, темных комбинациях. Или мог поехать в Крым, на Кавказ и пойти пешком по Военно-Грузинской дороге. Остановиться в Ананури или Пасанаури, пройти по окраинной тихой улочке, где можно прикурить у соседа из окна, с противоположной стороны улицы, зайти в духан и пить там красное терпкое вино и закусывать его молодым чесноком с острым, пронзительным запахом.

Он подошел к шкафу, раскрыл его и ногой, каблуком, пробил двойное дно. Там лежали деньги. Деньги, которые не нужны были ему прежде и еще менее нужны были ему сейчас. Он вынул шесть толстых пачек и разложил их по карманам.

Когда он вышел из парадного, он увидел, как из-за угла выехала автомашина и круто затормозила рядом с ним. Из машины вышли два человека в серых одинаковых плащах и шляпах, и оба посмотрели вверх на номер дома. Максим Иванович прошел несколько шагов вперед, а затем вернулся и спросил:

— Какой номер дома вам нужен?

— Двадцать третий.

— Если вы разыскиваете Максима Ивановича Синяговского — это я.

— Нет, нам нужна доктор-гинеколог Вайсблат. Вы не знаете, на каком этаже восьмая квартира?

— На третьем, — ответил он, откашливаясь. Он внезапно охрип.

Один из собеседников Максима Ивановича вернулся к машине, вынул большой, как колесо, торт, и они пошли к парадному.

...Самолет болтало. Не спалось. Максим Иванович думал о том, что допустил большую ошибку: шаблоны для раскроя нужно было сделать так, чтобы они отрезали не по одной части, а сразу давали 15—20 частей массового пошива. Когда он вышел в Ростове в аэропорту, он подошел к почтовому отделению, написал коротенькое письмо Алексею Вязмитину и нарисовал схему. Ему хотелось, чтобы письмо

это было строго деловым, но он не удержался и в конце приписал: «Если сможете — позаботьтесь о Лене».

Когда-то он видел пьесу... Чья же это? Он хотел вспомнить имя автора и не мог. В первом действии там все стремились к какой-то цели: один — к славе, другой хотел стать богатым, третий был влюблен, четвертый еще что-то. Второе действие — чуть ли не через двадцать лет. Все заканчивалось крахом. Вместо славы — позор, вместо богатства — нищета, вместо любви — ненависть. Кто-то из героев погиб. Кажется, покончил жизнь самоубийством. Да, самоубийством... А третий акт возвращал этих людей назад, туда, через год или два после первого действия, — они продолжали любить, бороться, стремиться к чему-то, и было мучительно смотреть на них. Они ведь еще не знали, чем все это кончится... Сейчас он чувствовал себя одним из действующих лиц второго акта. Он уже знал, каков будет конец...

...В Орджоникидзе он прилетел в восемь часов утра. Он съел в кафе стакан холодного, тягучего мацони и пошел в городской парк. С ревом мчался вспененный Терек.

— Что я хотел сказать? — тихо, словно успокаивая кого-то другого, несколько раз спросил вслух Максим Иванович.

— Как выйти на Военно-Грузинскую дорогу? — обратился он к старому осетину в огромной меховой папахе.

Тот долго растолковывал ему, что по Военно-Грузинской дороге лучше не ходить, а ездить. Максим Иванович поблагодарил, вышел за город и медленно пошел по обочине асфальтированного шоссе.

Мимо на большой скорости проносились автомашины.

Образовывался вихрь.

Он подхватывал и взвивал пыль на обочинах, шуршал в листьях придорожных деревьев и сейчас же смолкал.

28

Первой, как всегда, все узнала Лида. Оживленная и похорошевшая, мило сморщив губы, она рассказывала в коридоре:

— Такой ужас! На двадцать миллионов рублей! Директора фабрики — мужа Лены Санькиной — поймали на Северном полюсе. В Ан-тар-кти-де. Он прятался среди эскимосов. У него нашли чемодан, а в чемодане — только золото и драгоценные камни. Будет суд... Такой ужас! Оказывается, когда клеили платья, оставалась материя. И эту материю они продавали. А деньги клали в карман.

— Что же, у них свой магазин был, что ли?

— Нет, на толкучке, через спекулянтов. Я, например, сама всегда покупала у спекулянтов...

Лене в эти дни казалось, словно кто-то внутри все делает за нее — ест и пьет, ходит и отвечает на вопросы, но при этом делает только то, что необходимо, — четко, спокойно и целеустремленно. Ее вызвали в Министерство внутренних дел, в отдел борьбы с хищениями. Разговаривал с ней тот самый молодой майор, которому она некогда рассказывала о письме Маши Крапки. Он немного располнел и выглядел очень представительно — большой, плотный, в отлично сшитом сером костюме с красным галстуком.

— Садитесь, пожалуйста, — пригласил он Лену. — Давненько мы с вами не виделись.

Майор помолчал, обошел стол, сел на стул перед Леной, сложив руки — пальцы в пальцы — на коленях.

Лене показалось, что пальцы у него очень напряжены.

— На меня возложено тяжелое поручение, — сказал майор неохотно. — Но ничего не поделаешь... Пригласили мы вас сюда не для этого... Но я только что узнал, что ваш муж...

— Умер? — догадался кто-то внутри Лены и сказал это вслух.

— Нет, разбился.

— Как?..

— Трудно сказать. Он свалился в Терек. Его понесло водой и сильно побило о камни.

— Где он сейчас?

— В Дзауджикау. Орджоникидзе. Владикавказ.

— Мне можно туда поехать?

— Конечно. Но, перед тем как вы уедете, я хотел вам задать несколько вопросов. Сможете вы сейчас мне ответить на них?

— Да, смогу, — ответил кто-то внутри Лены.

— Вы знали, куда и зачем уехал ваш муж?

— Нет.

— Перед своим отъездом он дал вам какие-нибудь деньги или ценности?

— Да. В чемодане среди своих вещей — укладывал их он — я позже увидела деньги — четыреста с чем-то рублей. Гонорар, который я принесла за день до этого.

— Значит, вы ушли от мужа до его отъезда?

— Да.

— Почему?

— Он этого потребовал.

— И вы, уходя, не спросили у мужа, что он собирается делать?

— Нет. Мне показалось...

Лена умолкла.

— Что вам показалось?

— Мне показалось, что он хочет... что он хочет покончить с собой...

— Почему вы это решили?

— Не знаю. Я этого не могу объяснить. Он сказал, что в комнате пахнет жареной рыбой, и у него в глазах...

Лена опустила голову.

— Вы ссорились перед этим?

— Нет.

— И вы, решив, что муж ваш может покончить жизнь самоубийством, ничего не сделали для того, чтобы помешать этому?

— Нет, — сказала Лена.

— Почему?

— Не знаю. Я ничего не знаю...

— Успокойтесь. Выпейте воды, — предложил майор, наполняя стакан.

— Я не волнуюсь, — сдержанно ответил кто-то внутри Лены.

— Тем лучше. Тогда скажите — вы знали о том, что у вашего мужа не все благополучно? Что он запутался в очень предосудительных комбинациях?

— Нет. Я ничего не знала.

— И не подозревали?

— Нет. Как бы я могла жить с человеком, которого подозреваю?

— А как вы могли жить с человеком, о котором ничего не знали?

— Так получилось.

— Вас посещали какие-нибудь знакомые?

— Нет.

— Никто не приходил к вам в дом?

— Нет.

— Даже ваши товарищи и подруги?

— Да, даже мои товарищи, — безучастно ответила Лена.

— А такого человека вы когда-нибудь видели?

Майор вернулся на свое место за столом, вынул из ящика папку, а затем подал Лене фотографию формата почтовой открытки.

— Видела, — сказала Лена. — В театре. Он разговаривал с Максимом Ивановичем.

— О чем?

— Не знаю.

— Против вашего мужа выдвигается обвинение в соучастии в хищении социалистической собственности, — сказал майор твердо и холодно. — Предварительные материалы следствия показывают, что это обвинение имеет более чем серьезные основания. Сейчас вы можете поехать в Дзауджикау. Но когда вернетесь, вам придется ответить еще на целый ряд вопросов. Желаю вам успеха.

...Мелкий серый дождик покрыл Дзауджикау тонкой водяной пленкой.

В гостинице не было мест — в эти дни в городе проходило совещание передовиков-колхозников. Лене

посоветовали снять комнату в частном доме и назвали несколько адресов. Она выбрала первый попавшийся: старый, сложенный из мелкого кирпича дом с мезонином. В мезонине ее и поселили.

В комнате стоял ясно ощутимый запах сырости, мышей, старых книг. Из углов медленно выползали сумерки.

Лена открыла дверь на балкон и, не снимая пальто, вышла на узенькую деревянную площадку. Мокрые железные балясины перил были насквозь разъедены ржавчиной. Проделанные коррозией углубления напоминали уродливые язвы. В склизких деревянных перилах торчал большой источенный ржавчиной гвоздь. Лена поспешно вытерла платком пожелтевшие пальцы.

Маша Крапка. Она ее ни разу так и не видела. Но они все время жили рядом, и у них одинаковая судьба. Его сообщник убил Машу Крапку. А он — ее, Лену. Убийцы! Она теперь знает, что убийцы вовсе не обязательно с волосатыми пальцами и низкими тупыми лбами. Они могут быть красивыми, вежливыми, они могут говорить, что любят, что не могут жить без ответной любви. Зачем она приехала? .. Что она ему скажет? .. Он ей ненавистен! Она всегда знала, что он — страшный человек. Зачем она приехала? Она сейчас же вернется домой, в Киев. И — все. И — конец. И — навсегда... И все-таки — он разбился. И если он умрет...

Она долго сидела в конторе больницы, пока получила разрешение на свидание с Максимом Ивановичем. В контору заходили какие-то люди, смотрели на нее, как ей казалось, с любопытством, разговаривали, смеялись.

Наконец ей предложили надеть длинный, до пят, белый, неравномерно подсиненный халат, и санитарка повела ее к Максиму Ивановичу. Когда они шли по коридору, Лена услышала, как какой-то человек в халате сказал другому, тоже одетому в халат и белую круглую шапочку:

— ...Сильно разбился... А жена — еще девочка. Но из тех, на которых женятся за день, а не за ночь...

Говоривший оглянулся на Лену, умолк, и они свернули в какую-то комнату.

Неужели это обо мне? — подумала Лена. — И что это значит — «за день, за ночь»?..

Максим Иванович лежал в маленькой палате один. Когда вошла Лена, сиделка, пожилая женщина в таком же, как у Лены, длинном, неравномерно подсиненном халате, сразу вышла.

— Спасибо, что ты приехала, — просто и тихо сказал Максим Иванович. — Но не нужно было беспокоиться. Мне уже лучше.

— Я принесла яблок, — сказала Лена.

— Спасибо.

Максим Иванович лежал на спине и смотрел в потолок. Правая нога его в гипсовом тяжелом панцире была укреплена на спинке кровати, и к ноге был подвешен груз. На бритой голове — марлевая повязка в виде шапочки.

— Никогда не купайся в Тереке, — с трудом улыбнулся Максим Иванович. — Я поскользнулся в темноте и съехал по каменной осыпи прямо в воду. И вот результат — перелом ребра, голени, вывих в тазобедренном суставе. Немного побило и голову. Пожалуй, многовато для одного купания. Что же там, в Киеве?

— Все благополучно, — ответила Лена каким-то бесцветным голосом.

— Нам нужно о многом поговорить. Когда я расстался с тобой, я не думал, что мы еще когда-нибудь свидимся.

Он чуть повернул голову к Лене, поморщился от боли и вдруг улыбнулся мечтательно и насмешливо.

— По правде, мне и не хотелось больше тебя видеть. А сейчас я в самом деле — рад. Очень рад, что ты приехала... Нам следует о многом поговорить. Но рассказать тебе то, что, наверное, нужно было рассказать давно, рассказать с самого начала — я не могу. Может быть, позже. Может быть — когда-нибудь... А сейчас возьми книгу — вот она на тумбочке — и почитай мне.

Лена взяла книгу. Это был однотомник Пушкина.

— Что же читать? — спросила она нерешительно.
— Не знаю. Лучше всего «Песни западных славян».

Соловей мой, соловейко,
Птица малая лесная!
У тебя ль, у малой птицы,
Незаменные три песни,
У меня ли, у молодца,
Три великие заботы! —

читала Лена.

Максим Иванович внимательно слушал, тихий, спокойный, умиротворенный.

— Хорошо, — сказал он, когда Лена дочитала стихотворение. — Никогда еще мне не было так хорошо с тобой.

29

Семен Сорокин постоянно что-то изобретал. Шахтные подъемники и усовершенствованные мясорубки. Модернизированные рентгеновские аппараты и химические зажигалки. Регуляторы для газовых плит и электромобили.

Дома, на бумаге, все получалось отлично.

Но как только он пытался осуществить свое изобретение — оказывалось, что конструкция не действует. Тогда он приступал к переделкам и — окончательно запутывался.

Последнее время Семен носился с идеей крана-укосины с целой системой полиспастов.

— Сейчас, — говорил он товарищам по бригаде, соседям в поезде, человеку, с которым стоял в очереди в кассу магазина, — с развитием техники человечество забыло о полиспастах. А с их помощью можно делать чудеса... Архимед говорил — дайте мне точку опоры для рычага, и я переверну весь мир. А я говорю — дайте мне крюк, за который можно прицепить полиспаст, и я подниму земной шар...

По замыслу Сорокина, легкий портативный кран — такой, чтобы его мог переносить один человек, — должен был крепиться в любом месте — к ступеньке лестницы, к балке перекрытия, к дверному проему.

— Опять ел сливы? — спросил Павел, когда заметил, что Семен Сорокин беспокойно ерзает, через каждые пятнадцать—двадцать минут убегает и снова возвращается.

— Что ты? — обиделся Семен. — Что я — сам не понимаю, что мне можно и чего нельзя? Что я себе — враг?

— Так почему же ты бегаешь взад-вперед?

— Пошли в мастерские, — заговорщически подмигнул Семен, — там поймешь.

— Закончили?

— Какой кран! — сказал Семен.

На лице его были написаны гордость и торжество.

У входа в мастерские уже стояли члены бригады — Станислав Лещинский, с худощавым продолговатым лицом, с глубоко вырезанными ноздрями, со смоляными стрельчатыми бровями, из-под которых немного нахально смотрели выпуклые глаза; Степан Бурлака — плотный, неловкий, любитель поспорить, а спорил он — как ходил: так же тяжело переваливаясь с одного слова на другое, не слушая возражений; низкорослый, мускулистый Булат Гибайдулин и Вася Заболотный.

Семен взобрался на стремянку и прикрепил кран к развилке ствола старой ольхи, которая росла перед цехом. Затем слез со стремянки и предложил:

— Беритесь. Все беритесь за крюк. Могу поднять еще десяток человек. Грузоподъемность рассчитана с запасом.

Все пятеро уцепились кто за крюк, кто за трос.

— Теперь смотрите — тяну левой рукой...

Он и в самом деле стал выбирать левой рукой конец троса, протянутого через систему полиспастов, и поднял всех в воздух. Степан Бурлака оборвался, упал и недовольно посмотрел на Васю — чего толкаешься?..

— Ну как? — подбоченясь и глядя вверх, обратился Семен к Павлу.

— Хорошо, — сказал Павел. — Только мне кажется, что укосине этой не хватает...

Он замялся, подыскивая слово.

— Поворотливости? — подсказал Семен.

— Нет... другого... Вот не могу вспомнить... Есть такое слово... Ну, да ладно. Завтра испытаем эту штуку в деле.

— Нужно нам взять еще одного человека в бригаду, — сказал Павлу Станислав Лещинский. — Вместо старика. Иначе нам трудно будет управиться и здесь и в министерстве. Можно взять такого человека — Корецкого, он к нам просится, и начальство не будет возражать.

— А кто он такой?

— На складе сейчас работает. Хороший парень.

— Парень — как огурчик, — поддержал его Вася. И сейчас же добавил: — Пожмаканный и в прыщах.

Обозленная улыбка открыла ровные белые зубы Лещинского. Ему постоянно приходилось остерегаться злого Васиного языка.

— Если бы мы подбирали людей для балета «Лебединое озеро»... — начал он.

— Нет, — прервал его Павел. — Вместо Семеныча никого не возьмем. Будем ждать, пока он вернется.

— Ну, а если...

— Брось! — жестко сказал Павел. — Ты понимаешь, что говоришь? Старик выздоровеет.

Лицо у него потемнело, губы сжались.

Несколько дней Яков Семенович не выходил на работу.

— Что со стариком? — спрашивал Павел.

— Видно, заболел.

— А где он живет?..

Никто не знал. Даже в конторе строительства почему-то не оказалось его адреса.

Павел обратился в справочное бюро. Яков Семенович жил в центре города, на улице Энгельса.

В тот день Павел задержался на работе и приехал в город поздно, после девяти вечера. Ему открыла пожилая, толстая, крашеная блондинка со злым и неприветливым лицом.

— Кто вам нужен?

— Яков Семенович здесь живет?

— А кто вы такой?

— Я... Работаю с ним вместе.

— Как ваша фамилия?

— Сердюк.

— Так что вам нужно?

— Я же сказал — Якова Семеновича, — начал сердиться Павел.

— Ну... пойдемте...

Женщина неохотно пошла вперед по полутемному коридору.

При одном воспоминании о том, что он увидел, Павла передернуло.

Эта злая, крашеная толстуха оказалась женой старика. Была в комнате и дочка. Красавица. Как смертный грех! С маленькими заплывшими глазками, с редкими, изуродованными перманентом волосами, с красными руками, с пронзительным визгливым голосом.

Яков Семенович лежал за ширмой на узкой, окрашенной зеленой краской и похожей на больничную койке. Толстуха, опережая Павла, отодвинула одну из створок ширмы. Она все время искоса внимательно и подозрительно посматривала на Павла.

Лицо старика заросло седыми, жесткими, колючими волосами. Глаза, измученные болезнью, казалось, совсем затерялись в морщинах.

Без удивления старик сипло сказал:

— Ты, Павлуша? Здравствуй.

— Что с вами случилось?

— Язва разыгралась.

— Доктор был?

— Был. Лекарство прописал. А взять его некому. Вот я и лежу, как собака. — Павел с испугом увидел, как у него выкатилась слеза и поползла по заросшей щеке. — Воды некому подать. Боли у меня. А чуть заснешь — дочка на пианино играет. Ночью застонешь — жена кричит: не мешай спать. Горшок, горшок, извини, сам выношу, когда легче. Двое их у меня. Двое. Всю жизнь гнул спину... — он бессильно всхлипнул.

Павел почувствовал, как у него распирает грудь от дикого желания — бить! крушить! ломать!

— Как же это вы? — тихо спросил он, поворачиваясь к жене Якова Семеновича.

Очевидно, было в нем что-то необычное, потому что та взвизгнула и закричала:

— Какое тебе дело?!

— Мне — есть дело, — с угрозой сказал Павел, направляясь к ней.

— Пьяница! Что тебе здесь нужно? Уходи вон!

— Зови милицию! — присоединилась дочка. — Хулиган!

Они кричали так, словно их тут было не две, а десяток. Старик молча, с му́кой смотрел в потолок.

— Я тебя заберу отсюда, — сказал Павел Якову Семеновичу. И они сразу умолкли, прислушиваясь к словам Павла. — Я тебя здесь не оставлю. Я скоро вернусь...

Он быстро пошел к выходу. Вслед ему неслись проклятия.

Он не шел, а бежал по улице, приговаривая про себя: «Мне есть дело... Мне есть дело...»

Он думал: нет, старик не лгал. Когда рассказывал о своей семье. Он мечтал. Как я. Как все люди. У него такая мечта... Счастливая семья. Как он все хорошо придумал. Почему только это ему не удалось? Наверное, он понял, какой должна быть семья, когда уже было поздно. Когда уже ничего нельзя было сделать. Но он не лгал. Это — мечта.

Он уговорил Веру Гурину перевезти старика в санчасть строительства — при санчасти был изолятор на две койки. С помощью Олимпиады Андреевны он договорился с видным специалистом — профессором Голубницким и привез его к Якову Семеновичу. Профессор сказал, что операция противопоказана. Нужен покой, диета. Тогда он через постройком профсоюза добился для старика путевки в санаторий. Они купили ему путевку. Члены бригады посылали ему деньги. Но здоровье Якова Семеновича все ухудшалось.

— Старик выздоровеет! — повторил Павел. — Ну, хлопцы, пора закусить — и за работу. Перерыв кончается.

...Петр Афанасьевич для чего-то расстегнул, а затем снова застегнул у Павла пуговицу на воротнике клетчатой рубашки.

— Ну, как ты? — спросил он.

— Ничего, — не очень уверенно ответил Павел.

— И я ничего. Только Хейла этого боюсь. То есть, черт с ним — пусть выступает. Оно даже лучше... А все-таки беспокойно как-то...

Они стояли на повороте, где когда-то «лежала дохлая галка», оба подумали об этом, и оба промолчали.

— Вот что я тебе скажу, Павел, — неожиданно суровым тоном начал Петр Афанасьевич. — Тебя сегодня будут принимать в партию. Ты — человек грамотный, получил аттестат зрелости этой самой, читаешь газеты и книжки и знаешь, как говорят про большевистскую партию. Ну, что она авангард, передовой, значит, отряд и все такое. Это все правильно. Ее создал Ленин, и она непобедимая. Это тоже правильно. Но я тебе другое хочу сказать... Я тебе скажу, в чем сила партии...

Он задумался и сказал медленно, как говорят только в редкие минуты жизни:

— Сила ее в том, что вот, если будет нужно, она тебе, Павлу Сердюку, скажет: иди на смертные муки. И ты пойдешь. Потому что знаешь, — раз партия посылает — значит, иначе нельзя. Значит, это требуется для ленинской правды на земле.

Он помолчал.

— Ты мне можешь сказать: не все же в партии такие. Правильно, не все. Партия — большая. Есть в ней разные люди. Небось этот директор пошивочной фабрики тоже был в партии. Есть и такие. Попадаются и просто слабодухие. Но сила партии в том, что масса ее членов всегда выполнит все, что она накажет. Ты не смотри, что человек скромный, стоит у станка и боится жены. Когда прикажет партия — он будет орлом. Откуда же тогда герои в Отечественную войну брались? И слабодухих партия учит и воспитывает, чтобы из них настоящие партийцы были. Понимаешь?

— Понимаю, — тихо ответил Павел.

— У тебя заработок не прибавится. И полегче ра-

боты тебе не дадут. И, если потребуется, тебя пошлют на самое тяжелое дело. Но уж зато, если ты с чистой душой вступаешь в партию, ты всегда будешь знать — ты с теми, кто, если нужно, вынет сердце для людей, как в какой-то хорошей книжке рассказывается...

...Павел прежде не замечал этого плаката. Он висел над сценой небольшого временного клуба, где проходило партийное собрание. «Под знаменем Ленина, под водительством Коммунистической партии — вперед, к победе коммунизма!»

Под водительством партии... — подумал Павел. Ему казалось, что собрание, на котором должен решиться вопрос — принимать ли его в партию, будет торжественным, сцена будет украшена знаменами, как на праздник.

Но все было просто и буднично. Временный клуб наполовину заполнили и расселись на тоже временных некрашеных скамьях члены парторганизации — рабочие, инженеры и служащие. Секретарь парторганизации строительства Иван Зайцев — худощавый, с подвижным и нервным лицом — спросил: «Начнем товарищи?», вышел на сцену, заглянул в какую-то тетрадь и сказал:

— В списках парторганизации числится восемьдесят шесть коммунистов и три кандидата в члены партии. Присутствует шестьдесят девять коммунистов и два кандидата. Пятнадцать человек отсутствуют по уважительным причинам — командировка, болезнь и прочее. Три — по неизвестным причинам. Есть предложение начать собрание. Нет возражений? Для ведения собрания есть предложение избрать президиум. Какие будут предложения о составе? Пять человек? Голосуем. Голосуют только члены партии. Так. Теперь — персонально...

Первым вопросом в повестке дня стоял прием в партию Сердюка. Секретарь парторганизации прочел вслух рекомендации и анкету Павла.

— Автобиографию, — сказал он, — я думаю, читать не нужно. Пусть ее расскажет сам товарищ Сердюк.

Павел вышел на трибуну и начал рассказывать биографию. Волновался так, что никак не мог припомнить, в каком году пришел на строительство.

— О тюрьме нужно рассказывать? — спросил он глухо.

— Не нужно, — сказал с места Хейло.

— Как это не нужно? — не согласился начальник участка Савельев. — Пусть расскажет.

Люди правдивые уклоняются от истины так же часто, как лжецы и фантазеры, хотя из совсем других побуждений. Стремление Павла говорить правду и только правду привело к тому, что он преувеличивал свою вину, и ему стало казаться, что участники собрания смотрят на него с недоверием. Подавленный, насупившийся, он сел на место.

Первым попросил слова Костев — монтажник из бригады Петра Афанасьевича, большой плечистый парень, под стать Павлу. Он говорил о том, что бригада, которой руководит Павел, значительно перевыполняет нормы, работает дружно, Павел, как это ему известно, пользуется авторитетом у товарищей, и, по его мнению, Сердюк заслуживает, чтобы его приняли в кандидаты.

У Павла немного отлегло от сердца.

За ним выступил Савельев.

— Был в бригаде Павла Сердюка уже пожилой человек — Коляда, — начал он, почему-то волнуясь. — Мы, строители, работаем рядом с монтажниками, и нам многое видно. Так вот, я примечал — возьмется старик за что-нибудь тяжелое, и сейчас же, неизвестно просто откуда, кто-нибудь из членов бригады появится, поможет ему. Я даже не знаю, замечал ли сам Коляда, как члены бригады его оберегают. И не уверен, что сами монтажники это замечали, что они так договорились между собой. Просто в бригаде такие отношения между людьми, такая взаимопомощь, что это у них само по себе получается. И кто же эти люди? Гибайдулин — в прошлом бандит. Бурлака — тоже из осужденных, не знаю за что, но тоже, верно, не за хорошие дела. И кто же их так воспитал? При-

сматривался я и к этому. Сердюк это сделал. Молодой бригадир Сердюк...

Он помолчал.

— Теперь возьмем другое. С тем же Колядой. Заболел он. Сердюк — тихий человек. Из тех, что для себя не попросят. Но посмотрели бы, как он в постройкоме добивался путевки для старика. В санаторий. Здесь есть председатель постройкома — не даст соврать. Как тигр... А взять те же подвесные леса? Ничего не скажешь — настоящая рационализация. Опять же Сердюка предложение...

Павел покраснел, опустил глаза.

Вот, значит, как понимает нашу бригаду Савельев, — думал он.

Когда вслед за Савельевым, сняв свою мышиного цвета круглую кепочку, вышел Хейло, Павел насторожился.

— Я присоединяюсь к предыдущим ораторам, — сказал Хейло, — чтобы принять товарища Сердюка в кандидаты. Как мы видим на сегодняшний день, он с риском для своей молодой жизни разоблачил преступную банду, которая залазила в наш государственный карман, и этим искупил свою прошлую вину. Но товарищ Сердюк отбывал срок, у него были допущены серьезные ошибки, и он должен постараться их не повторять.

Не повторю, — подумал Павел. Он посмотрел на Хейло с неожиданной симпатией.

Петр Афанасьевич молча, посапывая носом, сидел в президиуме. Он тоже собирался выступать, а потом раздумал. Но и без слов было видно, как гордится он Павлом и радуется за него.

— Больше никто не хочет выступить? — спросил председатель.

— Дай еще мне слово, — попросил шеф-монтер Емельяненко.

Павел припомнил, что, кажется, за все время своей работы не слышал от него и слова. Это был грузный человек в мешковатом костюме, из старых мастеровых. Помятое лицо его с частыми складками на ще-

ках, лбу и подбородке выглядело апатичным и равнодушным ко всему на свете. Небольшие глаза с тяжелыми веками смотрели сонно.

Медленно и тяжело он поднялся на трибуну.

— Я буду голосовать за прием Павла Сердюка в кандидаты, — сказал Емельяненко. — Но здесь много говорили о нем хорошего. Однако никто не сказал о недостатках. А они у него есть...

Есть, есть, — подумал Павел. — И много. Но что он имеет в виду?

— Прежде всего, он невыдержан...

Это — правильно, — подумал Павел, который никогда прежде не считал себя невыдержанным. — Но я исправлюсь.

— Грубоват...

И еще как грубоват, — подумал Павел. — Откуда он только это знает?

— Бывает невнимателен к указаниям старших — есть в нем такая самоуверенность — сам, мол, разберусь...

Ой, есть, — подумал Павел.

— И чересчур любит заработать. На стороне. И иногда это идет в ущерб основной работе...

А это уж — нет, — подумал Павел. — А что шкафы несгораемые переносим — так это не в рабочее время. И это я не для себя. Для хлопцев. Мне и так хватает. Но — учтем.

— И еще я за ним одно нехорошее дело приметил. Когда первый агрегат пускали и маховик в первый раз обернулся — товарищ Сердюк мало радовался. Рабочий человек в такую минуту танцевать должен, шапкой об землю бить, а он постоял и отошел.

Это уж неправда, — заерзал на скамейке Павел.

— Я — радовался, — вырвалось у него.

— Радовался, да недостаточно, — с тем же равнодушным выражением сказал Емельяненко. — Души не было видно...

После Емельяненко слова попросил начальник строительства Бушуев. Он говорил о том, как важно, что Сердюк в трудных условиях рабочего-строителя

продолжал учиться, получил аттестат зрелости. Необходимо, чтобы он поступил в строительный институт. Именно из таких настойчивых людей получаются настоящие инженеры.

Буду учиться, — думал Павел. — Обязательно буду. На заочном факультете. В строительном.

— Вот тут вспомнили, — продолжал Бушуев, — подвесные леса. Я знаком с этим предложением. Характерно, что внес его не строитель, а монтажник. Это значит, что у товарища Сердюка по-настоящему развита рационализаторская смекалка.

Еще и не такое придумаю, — думал счастливый Павел.

Он никогда не знал, что к нему так хорошо относятся, только сейчас понял, что каждый его поступок, каждое сказанное им слово запоминается и оценивается окружающими его людьми.

За прием Павла Сердюка в кандидаты проголосовали единогласно.

Эх и хорошо же мне! — думал Павел, веселыми добрыми глазами посматривая вокруг.

Его поздравляли. Пожимали руку. Но никто не поздравлял беспартийную Марью Андреевну Вязмитину и члена партии Петра Афанасьевича Сулиму. Впрочем, им это, наверное, было и не нужно.

...«Днем мы монтажники, а вечером — демонтажники», — как-то шутя говорил Вася. На следующий день, сразу после работы, за ними на строительство был специально прислан автобус Министерства юстиции. Они ехали впятером — Павел, Вася Заболотный, Степан Бурлака, Булат Гибайдулин и Семен Сорокин со своими полиспастами. Бригада Павла подрядилась за один вечер установить на место несгораемые шкафы в новом помещении, куда переехало Министерство юстиции.

— Нужно кончать с этим, хлопцы, — сказал Павел, удобнее устраиваясь на мягком сиденье автобуса.

— С чем? — не понял Вася.

— С халтурой.

— Нам, беспартийным, можно, — с обидой ответил Вася. — А ты — как хочешь...

Когда они вышли из автобуса, поджидавший их комендант сердито спросил:

— А где же остальные?

— Кто — остальные? — удивился Вася.

— Ну, грузчики.

— Здесь, папаша, нету грузчиков, — сказал Вася (комендант был примерно одного возраста с ним), — здесь — демонтажники.

— Ну, пусть демонтажники. Так где же они? — обратился комендант к Павлу, чувствуя в нем старшего.

— Больше никого не будет.

— Что же это вы — впятером думаете сейф перенести?

— Впятером не носим, — серьезно сказал Павел. — Каждый человек у нас берет по два сейфа. Под мышки.

Семен Сорокин торжествовал. Он закрепил свой кран-укосину на лестничной площадке и уверенно манипулировал полиспастами, а остальным оставалось только подталкивать и подтягивать повисший в воздухе сейф.

— Здорово, — с уважением сказал комендант. — Такого я еще не видел. — Остроумное приспособление Сорокина пленило его. — Я сам, даже без вашего ходатайства, похлопочу, чтобы вам премию выплатили. Если вы и дальше нигде ступенек и углов не обобьете.

Они установили сейф на место и принялись за высокий несгораемый шкаф, с двумя дверцами и хитроумными замками, в которых поворачивались колесики с цифрами. Его нужно было установить в кабинете министра.

Орудуя полиспастами, Сорокин поднял шкаф в воздух. Монтажники придерживали его по четырем углам и легко двигали вверх по лестнице. Они быстро прошли первый марш и добрались до площадки.

Внезапно Павел почувствовал, что на руки ему навалилась огромная тяжесть, глянул вверх, заметил, что укосина смялась, закричал: «В сторону!», всеми

силами пытаясь еще хоть на мгновение удержать сейф, и, когда товарищи отскочили, толкнул эту тяжесть вперед, от себя.

Пронзительная, острая боль в ноге вырвала у него короткий вскрик.

Он упал.

И вспомнил, чего не хватало крану-укосине.

Жесткости.

Он вспомнил это слово.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1



есткость.

Больше он не забывал этого слова.

В течение трех лет, которые миновали со дня, когда ему на ногу обрушился сейф, он часто повторял его про себя.

Жесткость.

Способность сопротивляться образованию деформации. Способность не поддаваться.

Ему тогда обрубило палец правой ноги. Забрали в больницу. Фельдшерица ножницами, похожими на те, которыми режут жесть, распорола ботинок, а хи-

рург, осмотрев ногу, сказал: «Не нужно и ампутации. Как ножом. Через неделю будете танцевать».

Наутро в больницу приехала Олимпиада Андреевна. Ее разыскал Петр Афанасьевич. Она пощупала Павлу пульс, покачала головой, вышла из палаты и вернулась с медицинской сестрой.

Павлу налили в рюмку какого-то лекарства.

Он залпом выпил содержимое рюмки, поморщился и спросил:

— Что это такое?

— Валерьянка, — ответила сестра.

Швы срастались медленно, началось нагноение, но в больнице он действительно, как предсказал хирург, не пробыл и недели. Марья Андреевна настояла, чтобы он переехал к ним.

Все это началось с вечера, когда он остался вдвоем с Марьей Андреевной. Алексей ушел на лекцию, а Олимпиада Андреевна — на заседание. Они пили чай.

— Вы помните, Павел, — спросила Марья Андреевна, — как вы однажды рассказывали мне о том, как бы вы поступили, если бы нашли листок в книге... С формулами, заключающими важное научное открытие...

— Помню, — смущенно улыбнулся Павел.

— А как бы вы поступили, если бы я дала вам такой листок?

Павел искоса взглянул на Марью Андреевну — уж не шутит ли она. Лицо ее было совершенно серьезно.

— Не знаю, — протянул Павел. — Но думаю, что уж если где-то действительно хранится листок с секретом человеческого бессмертия, то его лучше дать не мне, а, скажем, Академии наук или кому-нибудь вроде этого.

— Да, — согласилась Марья Андреевна. — Но готовые формулы люди находят только в мечтах. А в действительности нужна большая работа и огромная смелость для того, чтобы выработать и осуществить эти формулы.

Она задумалась.

— Покойный Константин Павлович начал работу

над очень важной и необыкновенно интересной проблемой. Затем, как это иногда бывает, он оставил эту работу. Чтобы решить проблему, которая его заинтересовала, потребуются многие годы большого труда, а может быть, и вся жизнь. Но она стоит этого...

И Марья Андреевна рассказала Павлу о том, какое благо человечеству принесет решение этой проблемы.

Павел слушал ее молча, все больше проникаясь чувством удивления перед могуществом ученых, способных заглядывать в замечательное будущее науки.

— И если вас увлекает мысль отдать все свои силы решению этой проблемы, если вы готовы целиком посвятить себя этому, — я смогу вам помочь... Всем, чем смогу...

— Это бы — здорово, — нерешительно ответил Павел. — Но ведь я не люблю химии.

— Нельзя любить или не любить то, чего не знаешь, — возразила Марья Андреевна. — Я понимаю — это для вас слишком неожиданно. Подумайте. Взвесьте все «за» и «против» и завтра скажите мне о своем решении...

В эту ночь Павел так и не уснул. В эту ночь он снова и снова перебирал в памяти такую запутанную и нелепую историю своих отношений с Виктором, Софьей. И снова вспоминал о партийном собрании, о том, что говорили о нем товарищи. Под утро он впервые почувствовал, как у него нестерпимо чешется отрубленный палец. Он слышал о том, что так бывает, но не представлял себе, что ощущение это может быть настолько реальным. Он отбросил одеяло и посмотрел на ногу, внутренне готовый к тому, что у него за эту ночь палец отрос.

Утром, осунувшийся и похудевший, он сказал Марье Андреевне, что готов работать как черт — день и ночь, если только есть хоть малейшая надежда довести до конца дело, которое задумал Константин Павлович.

Говорил он об этом спокойно, приглушенно, но, когда Марья Андреевна взглянула ему в лицо, внезапно ей стало видно, что он давно не брит и колючие

светлые волосы торчат у него кустиками на подбородке и над верхней губой.

— Хорошо, — сказала Марья Андреевна. — Но для того, чтобы приступить к этому делу, нужно очень много знать и очень много учиться.

Жесткость...

Это было точное слово.

Оно помогало даже тогда, когда очень хотелось спать.

За эти три года он ни разу не спал более шести часов в сутки. Ему казалось, что он мог бы проспать и три дня подряд. Он сдавал экстерном курс химического факультета, а дома один за другим следовали языки — немецкий, английский, а затем — французский. Марья Андреевна считала, что ученый должен уметь сам прочесть необходимую ему литературу.

Алексей занимался с ним по химии.

Олимпиада Андреевна учила с ним немецкий.

И когда он особенно уставал, он всегда видел рядом с собой Марью Андреевну, которая работала больше него, которая училась с ним, и учила его, и оставалась неизменно спокойной и сдержанной. Откуда у нее брались силы? Павел заметил, что даже после многих часов работы она сидит прямо, не прислоняясь к спинке стула.

Когда он провалился на экзамене по аналитической химии, он решил, что все это — не нужно.

Не нужна учеба, от которой в голове остается только тяжелая, словно сплетенная из колючей проволоки путаница формул и наименований химических реакций. Не нужны иностранные языки, если Олимпиаде Андреевне приходится как сквозь сито отсеивать из его немецкой речи английские, французские и русские слова. И, главное, не нужна проблема, за которую не решился взяться сам академик Вязмитин, потому что по мере изучения химии Павел все больше понимал ее фантастичность и неосуществимость.

— Вам, Павел, необходимо отдохнуть, — решила после экзамена Марья Андреевна.

Павел хотел сказать, что он действительно очень

устал, что больше не может. Но вместо этого он угрюмо буркнул:

— Я понимаю — вам надоело. Но я не очень нуждаюсь. Если так — сам обойдусь.

После он подумал о том, что, вероятно, за всю жизнь с Марьей Андреевной так не разговаривали, и все же извиняться не пошел, а обвязал голову полотенцем и сел за учебники. Через несколько минут в его дверь постучала Марья Андреевна.

— Выпейте чаю, — тихо, без упрека, предложила она.

— Не хочу, — ответил Павел. Если бы он мог, он бы заплакал. Он выпил чай.

Через неделю он сдал экзамен по аналитической химии.

Он похудел, шея у него стала тонкой, нос и подбородок заострились, глаза приобрели нездоровое выражение.

Он жил «на всем готовом». И даже наедине с собой умел забыть о том, что за три года не принес в дом и трех рублей. Об этом еще будет время подумать. Позже. Только бессознательно избегал встреч со старыми товарищами. И не потому, что не было и минуты свободного времени. Боялся, что скажут или подумают: «В нахлебники пристроился».

Да, вот так. В нахлебники! «На всем готовом»! Как в санатории! ..

К черту! В тысячу раз легче работать самую трудную работу, чем жить так, как он живет.

Видел он когда-то бегуна на марафонской дистанции. Пот заливал ему глаза. С шумом дышал. Казалось: совсем выдохся. Сейчас упадет. Но — бежал. Можно ли было требовать от этого бегуна, чтобы он на бегу занимался каким-то делом? Скажем, шил себе рубашку? Или чтоб разговаривал с друзьями?

...Три года. Три года изо дня в день шестнадцатичасовой рабочий день, без выходных, без кино и театра, и три года рядом с ним по шестнадцать часов в день — Марья Андреевна.

Едва он сдал последний экзамен, как Олег Христофорович Месаильский, рассеянно подергивая Павла за

пуговицу, предложил ему место инженера-химика в своей лаборатории.

Все это время рабочий день Павла начинался в шесть часов утра. Сорок минут — на зарядку и туалет, двадцать минут — на завтрак и час — прогулка. Таким же остался его распорядок с первых дней работы в лаборатории Месаильского. Проводить его в институт в первый раз взялся Алексей.

— Я хотел бы поговорить с тобой, — сказал он Павлу. — И очень рассчитываю на то, что разговор этот останется между нами. — Он замялся, поправил очки. — Ты только постарайся меня правильно понять, — поглядывая вверх, в лицо Павлу, начал он. — Я очень уважаю... очень уважаю и люблю маму. Но все-таки сейчас, мне кажется, она поступает не совсем правильно. Ей этого я сказать не могу. А тебе — должен.

Павел молчал.

— Пока ты учился — все было хорошо. Какую бы цель ты ни ставил перед собой, но раз ты учился, раз ты сумел за три года сделать то, на что другим требуется пять лет, — все хорошо. Но теперь, как я понимаю, ты собираешься заниматься проблемой, о которой тебе говорила мама. Но я обязан сказать тебе — мне не верится, что это идея отца. Мама работала с ним всю жизнь. Но отец был выдающимся химиком, а мама — домашней хозяйкой. Она много знает. Она глубже, чем кто бы то ни был, разбирается в некоторых теоретических вопросах. Но она не смогла бы выполнить самого простого эксперимента. Она навязала отцу свою помощь, и я видел, что он, виднейший ученый, ни в чем не может обойтись без нее. И с самого начала, когда я еще учился в школе... я дал себе слово, что буду все делать сам. Один.

Они остановились у входа в небольшой скверик и стояли там, мешая прохожим.

— Но сейчас речь не об этом. Сейчас речь о том, что я уверен — это идея не отца, а мамы. Это тот вопрос, которым бы ей хотелось заниматься, если бы она руководила институтом в академии, а отец сидел бы дома и готовил обеды. Я говорю это не в упрек. У нас

никогда не было домработницы. Мама из принципа сама выполняла все хозяйственные дела. И работала с отцом. Но ей горько, что она не использовала своих знаний. Я сочувствую этому. Я думаю, что, если бы ее жизнь сложилась иначе, она бы стала настоящим ученым. Но когда речь идет о том, что ты собираешься заняться невыполнимым, заняться фантастическим делом только потому, что поверил авторитету академика Вязмитина, я должен тебе это сказать. А ты уж сам все хорошо обдумай и решай.

— Ладно, — ответил Павел. — Я обдумаю.

Он понимал тогда, что то, о чем говорил Алексей, может быть и правда. Он никогда еще так не уважал Алексея за его добросовестность и честность. И вместе с тем никогда не был так раздражен против этой холодной, здравой честности. Это чувство было настолько сильным, что он едва сдержал желание сказать Алексею грубость или ударить его.

Плохо, когда человек очень много знает и думает, что знает все. Лучше, когда он знает меньше. Для ученого человека. Тогда у него остается место для новых выдумок. А иначе ему кажется, что все уже известно и ничего нового не придумаешь, — думал Павел об Алексее.

2

Лена наклонилась к столу, чтобы расписаться в табеле прихода на работу. Локтем она задела сумочку. Сумочка упала на пол и раскрылась. Из нее вывалились четыре плоские полупрозрачные роговые коробочки.

— Что это? — спросила вездесущая секретарь Лида.

Лена покраснела.

— Пудреницы.

— Какие изящные! .. Покажите.

Лена с ненавистью посмотрела на секретаршу и протянула ей коробочку. Лида ногтем отковырнула крышку, рассмотрела на свет переливающийся рог.

— Неужели это наши? — сказала она.

— Нет, вьетнамские.

— Я так и почувствовала. Жаль только, что нет зеркальца и пуховки. Но для чего вам так много пудрениц?

— Это не мои. Меня просили передать...

Лена взяла коробочку и пошла к себе в отдел.

Бошко уехал в командировку. Лена исполняла обязанности заведующего отделом. Она опустила защелку на замке, захлопнула дверь и улеглась на диван, поджав ноги к подбородку.

Перед носом — дерматиновая спинка дивана с мелкими, как булавочные головки, пупырышками. Если долго всматриваться в одну точку, пупырышки составят выпуклые цветные фигурки, которые, медленно изменяясь, проплывают перед глазами. Вот извозчичья пролетка с откидным кожаным верхом. Лена видела такую только в раннем детстве в Одессе. И запряженный в нее лось с мохнатыми щетками над широкими копытами и с рогами, как олений мох. Но это уже не пролетка. Антрацитом блестит свежий лак на школьной парте, и парта едет в проходе между рядами таких же парт, вытягиваясь и вытягиваясь в черный широкий лимузин с хромированными бамперами и колесами, обведенными белыми кругами.

Так можно смотреть долго. Можно смотреть очень долго и ни о чем не думать. Нужно только не проявлять слишком большого любопытства, не всматриваться чересчур пристально в проплывающие картины. Они исчезнут. И тогда придется думать. Как в жизни.

Как много придумали люди для того, чтобы не думать! Какую удивительную изобретательность проявили они при этом.

Тысячи, десятки тысяч сортов вин и водок.

Футбол.

Карты.

Лена где-то читала, что, когда люди поют хором, они не думают.

Как много сделано для того, чтобы не думать. И как мало для того, чтобы думать. Потому что ни вино, ни футбол — ничто не избавит человека от необ-

ходимости думать о жизни, о своем месте в жизни, о счастье своем и счастье других людей, о чести, о правде, о добре.

И если пристальней всмотреться в пузырящуюся, кипящую поверхность спинки дивана, и если шире открыть глаза — исчезнут уплывающие фигурки, и нужно снова и снова думать о своем.

Вот она и стала... дрянью. Вначале ей это нужно было для того, чтобы утвердиться в самой себе. Да, она подло и тупо обманула Алексея. Да, она из жалости, из дурацкой уверенности, что одно ее слово может решить вопрос о жизни, о счастье большого, красивого, талантливого человека, вышла замуж за негодяя, за преступника. Да, вначале почти каждый материал, который она давала в газету, хвалили, вывешивали на доску лучших материалов, а потом одна за другой последовали неудачи, ее перестали печатать, а она перестала писать. Да, вот она такая — глупая, ничтожная, слабая... И все-таки — какие люди ухаживают за ней! Какой человек — стоило бы ей только захотеть — оставил бы семью, детей, пренебрег бы своим выдающимся служебным положением, только бы она согласилась быть с ним. Позже она поняла, что человек этот, даже если бы она очень захотела (а она бы этого никогда не захотела), ни за что не стал бы рисковать своей семьей и особенно своей карьерой.

А потом это вошло в привычку. Только посмотрев на человека, она уже знала, точно знала, будет ли он ухаживать за ней; то есть, постарается ли он сделать ее своей. Многим почему-то хотелось сделать ее «своей», как, вероятно, хотелось этим людям приобрести автомашину, или поехать с семьей на курорт, или купить дорогой гарнитур мебели в спальню. Она не могла бы объяснить — почему, но она всегда знала. Это был еще один способ забыться. Не думать. Не худший, чем всякий другой.

В общем, во всем этом не было большого разнообразия. Даже в словах, с какими к ней обращались. Даже в подарках, какие ей обязательно делали. Прежде она тщательно продумывала, чем бы отдарить,

ходила по магазинам, выбирала. А вот теперь, когда увидела роговые вьетнамские портсигары, купила сразу четыре штуки. Про запас. На все деньги, что нашлись в сумочке. Не все ли равно.

В их газете была однажды опубликована информация о человеке, который собрал чуть ли не сто тысяч спичечных этикеток. Коллекционеры эти назывались даже специальным словом. Лена забыла каким. Для чего нужны человеку сто тысяч спичечных этикеток? Не было ли и это способом заполнить пустоту? Был бы он хорошим часовщиком или металлургом — собирал бы он спичечные этикетки?.. Или строителем? Лена вспомнила встреченного ею когда-то начальника строительства Бушуева. Этому не нужны были этикетки. Он делал большое дело и, наверное, крепко верил в то, что без него оно не сделается. Вот это и нужно человеку — верить в то, что без него не обойдется, что без него нельзя, что то, чем он занят, — самое главное дело на земле.

Как этот бетонщик. Лена встретилась с ним на строительстве завода керамических блоков. Вихрастый, худощавый паренек в брезентовой робе. «Черт с ним, — сказал он Лене, — с заработком. Черт с ним, что меня на райкоме комсомола будут прорабатывать. За срыв обязательства. Я не потому не могу простаивать. Я не могу простаивать потому, что, когда я простаиваю, так мне кажется, что все государство, а может, весь мир простаивает. — И горячо потребовал: — Вы напишите про них. Чтоб шланги дали. Чтоб я не простаивал».

«Как ваша фамилия?» — спросила Лена.

«Я вам скажу свою фамилию, и вы меня уже никогда в жизни не забудете. Или лучше — покажу комсомольский билет...»

Он расстегнул жесткую, негнущуюся робу, полез за пазуху и достал клеенчатый бумажник, из которого вынул обернутый в целлофан комсомольский билет. «Тарас Григорьевич Шевченко», — прочитала Лена в билете.

Лена «написала про них». Через несколько дней Шевченко пришел в редакцию. Шлангов не дали.

Снова она почувствовала себя в роли героя известной сказки, который на похоронах приговаривал: «Таскать вам не перетаскать, носить вам не переносить», а на свадьбе — «канун да ладан».

«Как же вы? Написали и даже не поинтересовались, а какие результаты дала ваша газета? Ведь вы этим веру у людей подрываете. Я сам редактор. И чтоб это я написал в стенгазету, что Кате Грохало не выдали резиновых сапог, и чтоб ей после этого сапог не дали? И чтоб я не поинтересовался — дали сапоги или нет? . .»

Но не это было самым худшим. Самым худшим было то постоянное чувство, которое в последнее время почти не покидало ее, о чем бы ни пыталась она писать. Чувство, очень точно выраженное русской поговоркой: «в чужом пиру похмелье».

Строили дома. Бурили нефтяные скважины. Пускали гидроэлектростанцию. Всюду она бывала. И везде могли обойтись без нее.

В дверь постучали. Ее вызывали на планерку — короткое совещание, где обсуждалось, что ставить в завтрашний номер газеты.

После планерки редактор предложил Лене остаться.

— Почему вы больше не пишете стихов? — неожиданно спросил он у Лены.

— Я пишу, — сказала Лена неправду.

Дмитрий Владимирович недоверчиво покачал головой.

— Вы мало пишете в газету.

Лена молчала.

— Нужно завести на четвертой полосе постоянную подборку о новых товарах. Вроде рекламы. Тридцать строк — о новом пылесосе, двадцать — о каких-нибудь новых консервах. Или вот — на полках магазинов залеживается тресковая печень. Ее плохо покупают. А между тем это ценный продукт. Так вот, небольшая заметка о тресковой печени. Можно даже за подписью специалиста.

Лена медленно перелистывала чистые странички своего блокнота.

— Я вижу, вас не очень увлекает эта идея? — спросил Дмитрий Владимирович с такой ледяной благожелательностью, что у нее сжалось сердце.

— Да. Не очень, — резко ответила Лена.

— Почему?

— Не знаю.

— А все-таки?

— Хотя бы потому, что в наших условиях реклама никому не нужна.

— Вы полагаете?

— Да. Потому, что наша реклама — нелепое и ненужное подражание загранице. И сколько на это тратится денег. Неоновые буквы призывают: «Пейте советское шампанское». Или еще хуже: «Покупайте часы», «Покупайте ювелирные изделия!» Я иногда думаю, что не так уж неправа Александрова, которая видит во всем плохом, что у нас делается, результат «холодной войны». Я понимаю — они толкают нас на необходимость содержать армию, производить оружие. Я понимаю — этого не избежать... Но только из подражания вести рекламу, следовать бездарным тупоумным модам...

— Мне было бы очень приятно, если бы раздел о новой продукции появился уже в следующем номере, — прервал ее Дмитрий Владимирович. — А что до Александровой, то она, а теперь вслед за ней и вы склонны преувеличивать значение, какое имеет для нашего общества холодная война. Война — и горячая и холодная — требует ясного, спокойного ума. И, с точки зрения такого ума, то, что говорите сейчас вы, и то, что часто говорит Александрова, по сути в какой-то мере является недоверием к нашим силам. К тому, что наше государство выстояло в войне горячей и уж наверное выстоит в войне холодной.

Неужели он до сих пор считает меня девочкой? — подумала Лена. — И почему в его присутствии я всегда разговариваю и веду себя, как та Лена, которая с перепугу осыпала себя табаком в этом кабинете?..

— Но почему у нас в редакции, — сказала она подчеркнуто едко, — где каждый тянет в свою сторону,

где идут постоянные споры между той же Александровой и Ермаком, вы, Дмитрий Владимирович, всегда соглашаетесь со всеми, даже с самыми противоположными мнениями?

Ей хотелось уязвить его поглубже.

— Я не соглашаюсь с противоположными мнениями. — Он помолчал. — Просто вы не понимаете еще, что, так же как в грамматике, где два отрицания дают одно утверждение, отрицательные, но разные характеры и взгляды людей создают работоспособный коллектив. — Очевидно, слова Лены его очень задели. — Да, если наклеить ярлыки, то Александрова — догматик, Ермак — нигилист, Бошко — чересчур осторожен, а вы — равнодушны. Конечно, можно было бы, затратив известные усилия, освободить редакцию от Александровой и Ермака, от Бошко и от вас... А взять на работу таких людей, которые бы думали или притворялись, что думают примерно одинаково. — Он прищурился. — Было время — и смею уверить, не лучшее наше время, — когда порой так и поступали. Но это — не выход. А задача состоит в том, чтобы отобрать лучшее, что есть и в вас, и в Бошко, и в Александровой, и в Ермаке, и обратить это лучшее на пользу газете, на пользу делу... И точно так, наверное, в Центральном Комитете, который руководит многими газетами, думают о редакторах. В одном недостает одного, в другом — другого. Каждый в чем-то прав, а в чем-то и неправ. Но нужно использовать лучшие качества каждого... И когда я думаю о нашей системе, о демократии, то она представляется мне в виде такой гигантской пирамиды, где есть место для каждого, где используются лучшие стороны каждого...

В дверь заглянула секретарь.

— Дмитрий Владимирович, — сказала она. — Возьмите трубку. Муромцев.

Редактор долго не отнимал трубки от уха, а затем сказал с неожиданной усталостью:

— Да, да, я сейчас же приеду.

Положил трубку и обернулся к Лене:

— Вот, кстати, вызывают в отдел пропаганды...

Очевидно, неприятности, — поняла Лена. Она вернулась к себе.

Как это два отрицания в грамматике составляют одно утверждение? — припомнила она. — «Нет-нет» — все равно отрицание. — И вдруг сообразила: неплохой — хороший, незлой — добрый. Очевидно, так.

На столе лежали свежие газеты. Лена медленно развернула страницу и равнодушно провела взглядом по заголовкам. Она вздрогнула. Внизу, подвалом, был помещен очерк под названием «Волшебная ручка». Посмотрела на подпись — В. Ермак. Ей вспомнился рассказ Валентина Николаевича о поэте и его «волшебной ручке».

Неужели это напечатали? — подумала она, наспех просмотрела газетные столбцы, встретила имя Павла Сердюка, Марьи Андреевны Вязмитиной, отложила газету, вынула из сумочки зеркальце, посмотрела в него, прошлась по кабинету, а затем села за стол и стала внимательно читать. Как это часто с ней бывало, слова, которые она читала в газете, воспринимались так, словно их читал вслух автор, и сейчас каждое слово звучало для нее голосом и интонацией Валентина Николаевича.

В начале очерка Ермак рассказывал о том, что некогда Гарольд Ллойд поставил кинофильм, который назывался «Бабушкин внук». Герой этого фильма — Гарри — был невероятно труслив. Это очень огорчало его бабушку — мужественную и умную женщину. Однажды она рассказала Гарри о том, что отец его был таким же трусом, как он, но, несмотря на это, совершил много подвигов и неоднократно изумлял окружающих своей храбростью. У него был талисман — ручка от старого зонтика. Тот, кто обладал талисманом, становился необыкновенным храбрецом. Бабушка сохранила эту ручку, она передала ее Гарри. И трус превратился в героя. Гарри верил, что его оберегает талисман, он даже не догадывался, что храбрецом в действительности был он сам, а придуманная бабушкой волшебная ручка только помогла проявиться этому прежде скрытому в нем качеству.

Обо всем этом Валентин Николаевич вспоминал в связи с открытием молодого ученого — Павла Сердюка.

Автора очерка уже давно занимал вопрос о том, какими путями приходят к значительным открытиям в технике. В биографиях Уатта часто рассказывают, что маленький Джемс любил наблюдать, как подпрыгивает крышка над кипящим чайником, и что будто бы это впоследствии натолкнуло его на мысль создать паровую машину. Но, очевидно, дело не только в этом. Ведь сотни тысяч людей сотни тысяч раз видели, как кипит чайник. Однако паровую машину создали не они, а Уатт. Следовательно, были в нем какие-то внутренние качества, которые помогли случайному наблюдению перерасти в важное открытие. Павел Сердюк — человек безусловно незаурядных способностей, что он доказал, получив за три года, экстерном, специальное высшее химическое образование, — все же едва ли сделал бы свое открытие, если бы Марья Андреевна Вязмитина не дала молодому научному работнику «волшебную ручку». Этим талисманом, этой «ручкой от зонтика», был рассказ Марьи Андреевны об идее, принадлежавшей покойному академику Вязмитину. Осуществление этой идеи, как утверждают специалисты, отдалено от нас многими и многими годами и десятилетиями. Но, получив от Марьи Андреевны «волшебную ручку», Сердюк нашел способ ускорения промышленной фиксации атмосферного азота, открыл новый катализатор, — значит, положил еще один камень в ряд тех камней, по которым ученые перебредут бурный и опасный поток непознанного в науке будущего — химии.

Заканчивался очерк утверждением, что, послужившая пока лишь «волшебной ручкой», первоначальная идея в сроки, возможно, во много раз более короткие, чем кажется сегодня, будет осуществлена.

Павел Сердюк, — подумала Лена. — Туповатый верзила... Но что бы он ни делал — дрался в парадном, работал монтажником или открывал новые пути в химии — он будет делать. А я — рассказывать о его делах.

Она опустила защелку на замке, подошла к дивану, легла лицом к дерматиновой спинке и прищурила глаза. Картинки не появлялись. Пупырышки торчали как гвоздики.

3

Софья Аркадьевна протянула продавцу десять рублей.

— На все, — сказала она. — Это сколько получится?

— Пятьдесят штук? — спросил продавец.

— Нет, — ответила Софья. — Дайте мне сто штук. Вот вам деньги.

Продавец стал отсчитывать газеты.

— Объявление о разводе?.. Или напечатали ваше стихотворение? — спросил он.

— Нет, — улыбнулась Софья. — Крупный выигрыш.

— По трехпроцентному?

— Предположим.

— Но для чего же вам так много таблиц?

— Хочу получить по каждой.

Софья Аркадьевна не считала себя хорошим человеком. И не без оснований. Ей, да и не только ей, было известно, что она совершила немало поступков, которые никак не могли бы войти в разряд достойных одобрения. При этом она никогда не замечала, чтобы ее совесть становилась в оппозицию к ее интересам.

Но, как это ни странно, она считала таким же и своего мужа, Олега Христофоровича, хотя за все время их совместной жизни он не только не совершил поступка, заслуживающего в чем-то осуждения, но и ни разу не сказал ни одного слова, которое можно было бы признать неблагоразумным или даже неосторожным.

Когда Софья узнала о том, что Павел поступает на работу в институт, между ней и мужем состоялся такой разговор.

Софья (раздраженно). Ты берешь Павла Сердюка?

Олег Христофорович (рассеянно). Да, да... Такой милый молодой человек... Помнишь, он когда-то наладил электричество...

Софья. Зачем он нужен в институте?

Олег Христофорович. Я не понимаю твоего вопроса. Я считаю, что мы обязаны выдвигать молодых способных людей. Кроме того, мне приятно оказать услугу Марье Андреевне — вдове покойного Константина Павловича. Ведь этот молодой человек, по сути, ее приемный сын. И, сколько мне известно, она очень озабочена тем, чтобы помочь его будущему. Кстати, я как-то мельком слышал, что у нее остались неопубликованные работы Константина Павловича.

Софья. И ты полагаешь, что Марья Андреевна передаст их этому Сердюку?

Олег Христофорович. Что это ты такое говоришь? Я просто вспомнил о том, каким плодовитым и неутомимым человеком был академик Вязмитин...

С Софьей Павел встретился в первый же день своей работы в институте. Он покраснел и замялся, но Софья поздоровалась с ним, как здороваются с человеком приятным, но малознакомым, сказала, что рада видеть его в институте, что готова быть ему полезной, хотя работает в другом отделе.

Павел заметил, что волосы у Софьи теперь чуть светлей и без седины. Выглядела она словно моложе. Губы были прежние — как свежая шкурка помидора, и все такой же изумительный цвет лица, не тронутого косметикой.

Как у молочного поросенка, — подумал Павел.

В отделе, которым руководил Олег Христофорович, работало двенадцать человек — заведующий, два старших научных сотрудника, три инженера-химика, в том числе Павел, два младших научных сотрудника, аспирант, девушка-физик, которую весь отдел называл «полупроводником», и два механика. Кроме того, еще шесть человек были заняты так называемой хозяйственной тематикой.

Покладистость Олега Христофоровича не поддавалась никакому описанию.

— Что же, — сказал он. — Запишем вашу работу в план как проверку влияния окисей калия на активность катализатора. А вы спокойно занимайтесь своей темой. Все условия вам будут созданы!

Он внимательно следил за работой Павла, помог в изменении схемы испытательной установки. При этом Павел с удивлением увидел, как ловко орудует этот, как ему казалось, кабинетный рассеянный ученый горелкой, сваривая тоненькие стенки стеклянных трубок.

Спустя недели три после того, как Павел приступил к работе в институте, в перерыве — шло заседание Ученого совета института, на которое пригласили всех сотрудников, — к Павлу подошел Олег Христофорович.

— Вам в помощь, — сказал он, — мы переведем в наш отдел Софью Аркадьевну. Она вам будет очень полезна в организационном отношении. Не в химии. Но в организационном — она, как вы убедитесь, незаменимый человек...

— Мне бы не хотелось этого... — начал удивленный Павел.

— Вот и отлично, и отлично, — рассеянно прервал его Олег Христофорович и поспешил навстречу какому-то важному толстяку, который двигался по вестибюлю, расталкивая брюхом людей, загораживающих ему проход. — Я уже думал, что вы подвели меня... Ведь без вашего слова проекта нашего никто не поддержит!..

— Чтоб черт побрал Олега Христофоровича! — пробурчал Павел. — И его жену, — добавил он, желая быть вполне беспристрастным.

На следующий день Софья работала с Павлом.

Да, она была отличным работником. Находчивым, настойчивым, исполнительным и знающим. Олег Христофорович явно недооценивал ее как химика. Во всяком случае, опыта у нее было во много раз больше, чем у Павла. Дело она знала, и Павел прислушивался к ее советам. Вот если бы только...

...Михаил Сергеевич Лубенцов — старший научный сотрудник — вышел за дверь их маленькой лаборатории. Он сейчас же должен был воротиться. Софья повернулась к Павлу, поднялась на носки и притянула его к себе своими сильными жесткими руками.

— Все это время, — горячо прошептала она, — я думала только о тебе. О тебе одном. Я не могу без тебя.

И Павел, который ни на грош не верил Софье, вдруг понял, что она говорит правду.

— Я тоже... часто тебя вспоминал, — сказал он, оглядываясь на дверь.

Все началось сначала. Снова он прокрадывался мимо двери квартиры Вязмитиных — этажом выше. Снова избегал встречаться с Олегом Христофоровичем, а теперь это было намного труднее — они работали в одном институте. Снова Софья требовала не только любви, но и уважения.

Когда однажды он особенно поздно возвратился домой — уже после часа ночи, — тихонько открыл дверь и на цыпочках прокрадывался к своей комнате, из кухни ему навстречу вышла Марья Андреевна.

— Добрый вечер, — сказала она. — Хотите чаю?

— Нет, спасибо, — переминаясь с ноги на ногу, ответил Павел.

Марья Андреевна спросила у Павла, удалось ли ему перестроить скрубер для регулировки скорости газа, и, услышав в ответ равнодушное «нет, пока ничего не получается», сказала:

— Ученому необходимо воздержание.

— В чем? — не понял Павел.

— Во всем. Как спортсмену.

...Сотрудники лаборатории догадывались об их отношениях. Из-за Софьи. Была у нее такая привычка, достаточно было хоть на минутку остаться с Павлом — прижмется, растреплет волосы. И когда открывалась дверь, Павел чересчур поспешно и далеко отодвигался от Софьи.

Ничего не подозревали, кажется, лишь два человека: Олег Христофорович и Лубенцов — секретарь парторганизации института, кандидат наук. Это был

человек лет тридцати, ростом почти с Павла, но раза в два толще. С редким добродушием он подтрунивал над Софьей, уверяя ее, что обязательно все расскажет Олегу Христофоровичу.

— Что же вы расскажете? — кокетливо спрашивала Софья.

— Все. И прежде всего, что вы совсем закружили голову Сердюку... Так, что у него химическая посуда из рук валится...

Софья была первым человеком, который разделил с Павлом его успех, когда в реакторе — небольшом сосуде с множеством отростков — было синтезировано аммиака на восемь процентов больше, чем обычно. Это она вместе с Павлом демонстрировала руководителям Академии наук действие экспериментальной установки по испытанию активности катализаторов. Первой она разговаривала и с Ермаком, правда сразу же передав его Олегу Христофоровичу, с которым они встретились на лестничной площадке.

— Специфика нашей работы такова, — сказал Олег Христофорович в ответ на расспросы корреспондента, — что она мало подходит для описания в газете.

— И все-таки я очень рассчитываю на вашу помощь...

Олег Христофорович остановился перед Ермаком на ступеньках, загораживая ему проход.

— Хорошо. Попробуем... Вы курите?

— Да, с вашего разрешения.

Валентин Николаевич достал сигареты и протянул Олегу Христофоровичу.

— Нет, нет, спасибо, не курю. Но вы, как курильщик, должны были бы знать, что достаточно крошки табачного пепла, чтобы поджечь сахар. В обычном состоянии сахар не горит. Но если насыпать на него хоть крошку табачного пепла и поджечь — он будет гореть характерным синеватым пламенем. В этом случае пепел явится катализатором, — сам он не изменяется в результате реакции, но способен ее значительно ускорить. Однако сейчас нас интересуют не катализаторы, а так называемые промоторы, активаторы,

ускорители. Добавление таких веществ к катализатору — даже в самых незначительных количествах — вызывает значительное увеличение активности катализатора... Вам понятно?

— В основном, — неопределенно ответил Ермак.

— Промоторы сами по себе не обладают или, вернее, почти не обладают каталитической активностью. При синтезе аммиака обычно катализатор — металлическое железо — промотируют окисями калия и алюминия. Наши научные работники — конкретно открытие, я не боюсь этого слова, принадлежит Павлу Михайловичу Сердюку — нашли промоторы для промоторов... Чтобы вам это было понятнее...

Олег Христофорович беспомощно оглянулся, порылся в кармане, извлек круглый кусочек мела и стал быстро писать формулы на стене, покрытой серой краской.

Валентин Николаевич с любопытством смотрел на рассеянного ученого. Он не знал, что Олег Христофорович, когда ему было нужно, всегда останавливался на этом месте и доставал из кармана кусок мела.

...Софья с удовлетворением прочла очерк Ермака. Ее имя в газете не упоминалось. Но это ее не огорчало. Она сама попросила Валентина Николаевича о ней не вспоминать, а побольше написать о Павле.

Добродушное мужество, — вспомнила Софья. — Так выразился Ермак, когда писал о том, какое впечатление произвел на него Павел. Вот уж кто умеет точно подметить характерное в человеке. Было в Павле и добродушие и мужество. И это очень хорошо. Потому что все остальное, чего ему недоставало, было в ней, в Софье!

4

Павел подошел к воротам тюрьмы, постоял перед ними, а затем пошел вдоль длинного каменного забора.

Я это сделаю, — думал он. — Я это сделаю. И мне поставят памятник в самом центре города. Из гра-

нита. В одной руке у меня будет колба, а в другой — буханка хлеба...

Наедине с собой он не стеснялся. Ни ложной скромности, ни неуместной сдержанности в мечтах его не было. Он шел по улице и улыбался своим мыслям так, что на него оглядывались.

Он отыскал окно камеры, из которой вышел четыре года назад.

Я это сделаю, — думал он. — Чтобы хлеб ничего не стоил. Подешевеют во много раз все продукты. И одежда.

Он обошел вокруг забора.

А когда я это сделаю — будут люди в тюрьме? Я сюда попал не потому, что нуждался в хлебе. И адвокат Кац. И другие. Значит, не в этом дело. Значит, в чем-то другом...

Но все равно будет очень хорошо, — думал он. — Лишь бы в самом деле это было возможно. Все равно — я это сделаю.

Он сел в трамвай. На остановке в трамвай вошло несколько парней и девушек. Их было не много, но они смеялись и переговаривались так громко, что, казалось, заполнили весь вагон.

Павел нахмурился.

Как же быть? — думал он. — Для этого потребуются многие годы... Ему вдруг представилось, что он может простудиться и умереть, и тогда ничего не успеет сделать. И он испугался, а потом отмахнулся — да он же здоров как бык.

Вышел Павел на площади Богдана Хмельницкого, обошел вокруг памятника, силясь рассмотреть нездоровое, запыленное лицо гетмана, спустился по улице Свердлова вниз к Крещатику, вышел на бульвар Шевченко и вошел в то парадное, где когда-то встретился с Алексеем.

В парадном было прохладно и тихо. Цветную керамическую шашку в полу почему-то заменили кремовой метлахской плиткой. На холодных батареях центрального отопления осела пыль.

Дверь открылась, и в парадное вошел невысокий

паренек с вьющимися волосами и большими темными глазами и тоненькая девушка в голубом платье.

Павлу в лице паренька почудилось что-то знакомое.

На кого он похож? — думал Павел. — На Пушкина? Да, на Пушкина. И еще на кого-то... И вдруг вспомнил. Паренек был похож на Лену, с которой Павел не виделся с тех пор, как узнал от нее о смерти Маши Крапки.

Внезапно ему очень захотелось увидеть Лену. Она работала в газете, где напечатали о нем статью. Два экземпляра этой газеты, свернутые в трубку, лежали в кармане брюк. При каждом шаге он их чувствовал — газеты мешали, и все-таки это было очень здорово, что в любую минуту можно их вынуть и снова увидеть статью. Читала ли ее эта... Лена?.. Конечно, читала. Если только она работает в газете... Интересно, помнит ли о ней Алексей?.. Наверное, помнит. И Зина, мне кажется, тоже не забывает об этом. И на Зине он женился, наверное, из-за этой истории. Потому что знал — Зина не обманет, не подведет. Это уж твердо. На всю жизнь. До конца. Я бы хотел, чтобы такой была и моя жена, когда я женюсь. Чем-то она похожа на Марью Андреевну. Но Алексей помнит Лену. И я почему-то помню. Но это все неважно. Главное — что я это сделаю. И все...

Он вышел из парадного и, глядя под ноги, плечом вперед направился домой. Он еще не виделся с Марьей Андреевной после этой статьи. Ему хотелось побыть одному. Видела ли она газету? Сейчас ему было стыдно того, что хотелось побыть одному. Он почти бежал. Пулей, перескакивая через три ступеньки, он взлетел на третий этаж. Но перед дверью заставил себя остановиться, отдышаться.

Марья Андреевна водила по креслам щеткой пылесоса, но на ней было не будничное, а нарядное темное летнее платье из легкой ткани, отделанное у шеи белыми кружевами.

— Поздравляю, — серьезно и просто сказала она Павлу, выключая пылесос. — Я очень рада за вас. Видели газету?

— Видел, — ответил Павел, с трудом удерживаясь от нелепого желания подхватить сдержанную, молчаливую Марью Андреевну на руки и закружить ее по комнате.

— Очень рада, — повторила Марья Андреевна.

Незадолго до прихода Павла у Марьи Андреевны был продолжительный спор с Олимпиадой Андреевной. Вообще-то Олимпиады Андреевны не было дома, и Марья Андреевна мысленно возражала себе от имени сестры, затем возражала сестре от своего имени. Она сидела на стуле с неподвижным, спокойным лицом, полузакрыв глаза, со стороны могло показаться, что она дремлет. А между тем в это время она горячо спорила о вопросах, касавшихся самой глубокой сути ее жизни.

Олимпиада Андреевна говорила своим густым грубым голосом:

— Почему тебя огорчает эта статья? Ты должна бы радоваться. Однако ты превратилась в этакую пожилую наседку, которая уже не годится под нож, но может еще высиживать подающих надежду химиков. Но лишь только твой цыпленок в первый раз прокукарекал своим еще писклявым, еще не окрепшим голоском и его за это похвалили, — ты уже хлопаешь крыльями — ах-ах-ах, кудах-тах-тах, как бы чего не случилось, как бы его не испортили... Можешь не сомневаться в том, что история Павла началась так, как история Константина, и так же закончится. Тебя оставил один, тебя оставит и другой. Еще несколько таких же статей — и он будет тем же Константином...

— Нет. Это не так. Неужели ты не видишь разницы между одним и другим? Неужели не понимаешь, что они — порождение совсем разного времени? Или ты думаешь, что время не влияет на людей? Не думаешь, что Павел родился в иное время и в стране, где совсем иные человеческие отношения. Что Константина я действительно лепила, как лепят фигуры из бесформенной сырой глиняной массы, а Павлу лишь помогла проявить те черты и качества характера, которые были в нем развиты и воспитаны обществом.

— Тем более это ненужная затея. Для чего тебе это? Для чего тебе было говорить неправду? Я-то ведь хорошо знаю, что эта идея с азотом, которую ты приписала Константину, принадлежит тебе. Для чего тебе было отдавать все силы, все время Павлу, учить его? Только для того, чтобы проверить, осуществим ли твой замысел с азотом?..

Марья Андреевна задумалась.

— Нет, — сказала она. — Тут другое. Не знаю только, поймешь ли ты меня. Вот ты — лечишь детей. Спасаешь их здоровье, а иногда и жизнь. Но лишь только ребенок выздоровел, — ты этим вполне удовлетворяешься?

— Вполне. Но при чем здесь дети?

— Я много думала над этим... Как у нас в старину и сейчас на Западе создается будущее человека?.. Что обеспечивает это будущее?.. Что должны дать ему родители и родственники для успешного будущего?..

— Ну, не знаю. Очевидно, богатое наследство, знатное происхождение. Может быть, помочь ему удачно жениться.

— Да, это верно. Но ведь в наших условиях люди, как правило, не оставляют большого наследства. А если оно и бывает значительным, то не настолько, чтобы стать решающим в том, как будет жить наследник в будущем. Не так ли?

— Да, пожалуй.

— Что же касается знатности или удачной женитьбы, то это отпадает само по себе. Но что же остается? Что мы, старые люди, должны оставить своим наследникам?

— Свои знания?

— Нет. Они учатся в современных учебных заведениях и знают нередко больше нашего. Но если мы верим, что революция была не каким-то случайным мужицким бунтом, а исторической необходимостью, если мы верим, что на земле будет установлен самый лучший порядок из всех, какие когда-либо существовали, что будет коммунизм, каждый из нас должен передать молодому человеку, — а он, вероятно, будет

жить в это время, — лучшее из того, что в нем есть: добросовестный человек — свою добросовестность, трудолюбивый — свое трудолюбие, ученый — свои знания, поэт — свое понимание прекрасного. И делать это, мне кажется, нужно не со всей «молодежью», как это пытаются некоторые неумные авторы брошюр о социалистической морали. А с конкретным, определенным человеком. Пусть с одним, пусть с двумя за всю жизнь. Пусть это будут твои дети. Или пусть чужие станут твоими детьми. Но это — самое главное дело твоей жизни...

— Я, Маша, совсем перестаю тебя понимать. А как же Алексей? Ведь если тебя послушать, то выйдет, что Павел тебе больше сын, чем Алексей, которого ты не только родила, но и воспитывала с первых дней его жизни.

— Я тебе отвечу. Извини, я возьму пылесос, включу его, и будем продолжать разговор. Так вот, об Алексее. Я — таким сыном, а ты — таким племянником можем гордиться. За всю жизнь, сколько мы его помним, он ни разу не сказал неправды. Он не совершил ни одного поступка, о котором я, ты да любой здравомыслящий человек мог бы плохо подумать. Кстати, ты помнишь, как он привел к нам Павла? С распухшим носом, в залитом кровью ватнике. Я этот ватник сохранила. Я думаю, что придет время показать его Павлу. А может быть, уже сейчас пришло это время?.. Да, но ведь я не об этом... Я об Алексее. Мальчику при его характере очень не хотелось приглашать к нам Павла. Он не знал, как мы это встретим. И все-таки он привел его. Потому что не мог иначе. Он очень хороший человек, наш Алеша. И отличный химик. Но уж слишком он рассудочен. Уж слишком много знает о своем деле. Уж слишком убежден, что то, что сказано в учебниках, — непреложно. А вот в Павле есть эта черта недоверия к тому, что пишут в учебниках и что говорят профессора. Самая важная и необходимая в науке.

— Нельзя в своем отношении к человеку, особенно близкому человеку, исходить только из его способности к науке. Думаешь, я не вижу, как ты меня-

ешься в лице, когда Павел поздно приходит. Потому что ты знаешь — он был у Софьи. Но не потому ты беспокоишься, думаешь, что Павел стал любовником жены твоего соседа и знакомого, а это аморально и подло. Нет. Ты боишься скандала. А так отношения Павла и Софьи тебя бы вполне устраивали. Тебя бы устроила близость Павла с любой женщиной... Любой женщиной, которая была бы второй после науки.

— Это неправда, — сказала Марья Андреевна, понимая, что это — правда.

— А Зина? За что ты ее так полюбила? Не за то ли, что она «наша», что она как мы?

— Зина — это другое дело...

Марья Андреевна услышала, как щелкнул ключ в замке, подумала — Павел — и еще быстрее задвигала щеткой пылесоса.

...— Я часто думала, — медленно сказала Зина, — что то, что называют «женской логикой», — это и есть рассуждения мужчин о вещах, на которые им по какой-либо причине не хочется смотреть прямо и просто...

Этот разговор начался еще в лаборатории, а сейчас они уже подходили к дому, и он все продолжался. Алексей знал, какого труда стоило Зине возражать ему. Но знал и то, что она не умеет соглашаться с тем, что кажется ей несправедливым. Это было для нее так же дико и бессмысленно, как если бы ей предложили отрезать голову и жить дальше без нее.

Она шла рядом с ним — близкая, родная, некрасивая, с маленьким лицом, с близорукими усталыми глазами, с крепкой, как веревка, сложенная вчетверо, верой в то, что главное в жизни — беспощадная правда.

— Павел такой же член нашей семьи, как ты, как я, как тетя. Я понимаю — дело не в «волшебной ручке». Я нисколько не хочу преуменьшать роли Марьи Андреевны и даже твоей. Но ведь Павел не попугай, которого выдрессировали. И прежде всего нужно говорить о заслугах Павла. Следовательно, очень хорошо, что о нем написали в газете. Хоть так.

Хоть как о бабушкином внуке. И подумай, не самое ли важное, не самое ли лучшее, если он действительно сделал только первый шаг, а впереди у него будет еще много таких шагов?..

— Ты скажи мне прямо, — потребовал Алексей. — Ты думаешь, что я завидую?

— Я всегда говорю прямо. Во всяком случае — стараюсь... Да, по-моему, немного завидуешь, а главное — не доверяешь успеху, который достался слишком быстро и легко. Но может быть, ты подходишь к Павлу не с той меркой?

— Не знаю, — сказал Алексей. — Об этом еще нужно подумать.

Когда они вошли в квартиру, Алексей направил на Павла горлышко бутылки шампанского и скомандовал:

— По виновнику торжества залпом, пли! — И сделал вид, что открывает бутылку.

Марья Андреевна вынула из буфета высокие узкие бокалы.

Поздно вечером Марья Андреевна рассказала Олимпиаде Андреевне о том споре, какой она вела с собой от имени сестры.

— Ты совершенно правильно изложила все мои мысли по этому поводу, — сказала Олимпиада Андреевна. — И я остаюсь при своем мнении.

5

Он шел левым плечом слегка вперед.

Книжный магазин был на другой стороне улицы за два квартала. Он сразу же перешел через улицу. И вдруг поймал себя на неожиданном наблюдении: прежде он переходил улицу лишь когда окажется против того места, какое ему нужно, а теперь — немедленно. Это была еще одна привычка, выработавшаяся в нем за три года: если что-нибудь нужно сделать — делать сразу.

Как всегда в воскресенье, Крещатик был заполнен празднично одетыми шумными людьми, которые шли

не спеша, прогуливаясь, сворачивая в магазины, и Павлу, с его широкой походкой, приходилось все время извиняться.

— Простите... Извините...

— Извините, — обратился он к молодой женщине, которую совсем закрутил поток прохожих. И сейчас же заулыбался. — Здравствуйте!

— Здравствуйте, — ответила Лена.

— Вы, может быть, меня не узнаете?

— Да нет, вас трудно не узнать. — Лена вскинула голову, снова дивясь про себя росту Павла. — Я вас в эти дни вспоминала. Когда читала посвященную вам статью.

— А, — смущенно отмахнулся Павел. — А я, когда читал эту статью, вспомнил о вас. О том, как вы рассказывали про свое газетное дело...

Они продолжали путь вдвоем.

— Зачем только он ввинтил туда эту ручку? — сказал Павел. — При чем здесь «волшебная ручка»? Вы не подумайте — мне-то все равно. Но он этим Марью Андреевну обидел. В каком-то смешном виде ее выставил.

— Наоборот, — не согласилась Лена. — В статье Ермака Марья Андреевна выглядит очень располагающим к себе человеком. В жизни она показалась мне... как бы это сказать... суше, что ли...

Павел ускорил шаги.

— Давайте-ка нагоним эту пару, — предложил он Лене. — Это и ваш знакомый. Вы с ним встречались на стройке.

Они догнали невысокого молодого человека в ажурной шляпе и сером габардиновом плаще. Под руку он держал женщину чуть ли не на полголовы выше его, со светлыми, словно взбитыми, пушистыми волосами.

— Вася! — позвал Павел.

— Здорово! — обрадовался Вася. — А Наташу помнишь?

— Помню, — ответил Павел и обратился к Наташе: — А где ваша труба?

— Так это и кончается, — серьезно сказал Вася. —

Задаешь девушке на улице, можно сказать, самый невинный вопрос, ничего плохого не имеешь в виду, а потом женишься на ней. Судьба, можно сказать. Первый человек, который выдерживает мое пение.

Павел познакомил Лену с Наташей. Вася с женой собирались в кино, но так как до сеанса оставалось почти два часа, они предложили Павлу и Лене пойти вместе с ними в кафе.

Вася очень изменился. Он работал теперь прорабом на строительстве, заочно заканчивал техникум.

Павел тем временем рассказал Лене о том, как Вася впервые встретился с Наташей.

— Я теперь совсем другой, — сказал Вася. — Мне теперь не до шуток. Особенно таких грубых. У нас в семье ведется кампания борьбы за вежливость. И я стал таким вежливым... Всех приветствую, обязательно спрашиваю о здоровье. Вот, например, на днях поскользнулась и упала на улице какая-то старушка. Люди, понимаешь, еще недостаточно вежливы — проходят себе мимо, будто не замечают. Но я не такой. Я подошел, вежливо поздоровался, спросил: «Как вы себя чувствуете?», вежливо сказал: «До свидания» — и пошел себе дальше... О, здравствуйте, — вдруг прервав самого себя, обратился он к пожилому лысоватому, с одышкой человеку. — Сколько лет — сколько зим! Да ведь вы еще не знакомы с моей женой... Знакомьтесь, пожалуйста...

— Иван Гордеевич, — назвал тот себя, протягивая руку Наташе.

— Наташа.

— Так вот, — продолжал Вася, — мы сейчас собрались в кафе. Ну, знаете, чайку выпить, мороженым закусить. Это нас угощает знаменитый химик Павел Михайлович Сердюк. А это, познакомьтесь, его невеста...

Лена искоса посмотрела на Васю, но молча подала руку.

— Так, может, и вы к нам присоединитесь, а? Иван Гордеевич? Я, правда, как женился — пить бросил. Но для вас можно поставить вашего любимого, пятизвездочного.

Иван Гордеевич замялся.

— Я тоже не пью, — сказал он нерешительно, — но я бы пошел с вами. Для такого случая... Только я договорился с Ларисой Федосеевной. Она ждет меня возле стадиона.

— Это другое дело, — забеспокоился Вася. — Уж если Лариса Федосеевна ждет, так лучше поспешить. Она такая женщина...

— Да, — со вздохом подтвердил Иван Гордеевич. — Она такая.

— Так заходите почаще, — попрощался Вася, и они пошли дальше.

— Кто это? — спустя некоторое время спросила Наташа.

— Иван Гордеевич, — ответил Вася.

— Как его зовут — я знаю. Но кто он такой?

— А откуда же я могу знать? Это я просто хотел показать, как хорошо на людей действует вежливое обращение. Вот поговорили вежливо с человеком, и если бы не эта его Лариса Федосеевна — пошел бы с нами кушать мороженое. А может быть, и коньяку выпил бы...

Лена посмотрела на Васю с опасением.

Когда они уже доедали мороженое, Лена, которая до сих пор молчала, вдруг фыркнула и зажала рот руками. Плечи ее тряслись от смеха.

— Что с вами? — спросила Наташа.

Лена долго не могла ответить.

— Я... подумала... — она снова фыркнула, — представила себе... как этот Иван Гордеевич выясняет сейчас с Ларисой Федосеевной, кто же это был и откуда он так хорошо их знает...

— Он еще и не такие штуки откалывает, — сердито сказала Наташа. — И если мы когда-нибудь разведемся, так только из-за его шуток.

Лена почувствовала в ее тоне неподдельное восхищение шутками, на какие способен Вася.

— Хорошо, — сказал Вася Павлу, с сожалением заглядывая в опустевшую вазочку. — Я на тебя не сержусь за то, что ты исчез. Я тебя понимаю. Зазнался.

Оторвался от товарищей. О тебе пишут в газетах, и ты задрал нос. Но вот Петр Афанасьевич этого понять не может. Хоть его избрали членом ЦК партии, но на свадьбе у меня он все-таки побывал. Такой он, понимаешь, темный, малокультурный человек. Не забывает старых товарищей.

Павел заерзал на стуле. Ему всегда очень нравилось, когда стрелы Васиного остроумия были направлены на окружающих, и очень сердило, когда объектом Васиных шуток оказывался он сам.

— А что я мог сделать? — огрызнулся он, избегая смотреть на Лену, которой этот Васин выпад доставил несомненное удовольствие. — Я в эти годы жил как заведенный. Каждая минута была на учете.

— Да я так и говорю, — подтвердил Вася с нарочитым простодушием. — Где уж тут было вспомнить о товарищах.

— Ну хорошо, — стиснув зубы, сказал Павел. — Черт с тобой, ты прав. Но послушай, как я жил это время...

Он стал перечислять, какие экзамены сдавал, чтоб закончить институт.

— Все понятно, — сказал Вася. — Но когда ты будешь это Петру Афанасьевичу рассказывать, не забудь засунуть в штаны подушку, чтоб потом не так больно было сидеть.

На следующий день после работы Павел, бросив все дела, отправился к Петру Афанасьевичу. Сулима жил теперь в новом районе Киева, за Днепром, неподалеку от завода, который он строил, а теперь работал на нем же начальником компрессорного цеха.

Клава не умела долго сердиться. Она поворчала на Павла за то, что он их забыл, сказала, что Петр Афанасьевич сейчас придет, и предложила Павлу повозиться с ребятишками, пока она справится со своими делами на кухне.

Их было теперь у Петра Афанасьевича трое — старший шестилетний Коля, четырехлетняя Оля и трехлетний Саша — темноволосый увалень.

— Дядя, достань фонарик со шкафа, — потребовала Оля, как только Павел вошел.

— Я тебе достану! — прикрикнула Клава. — Это Петр Афанасьевич специально спрятал ее фонарик на шкаф. Она Саше в глаза светила.

— А у меня есть фонарик, — сказал Саша и потащил Павла в соседнюю комнату.

Там стояли три детские кровати, два столика, детские стулья. Перед самой маленькой кроваткой Павел заметил все тот же потертый коврик с редкими и толстыми нитками основы.

Павел уселся на детском стульчике и взял Сашу на руки. Оля забралась на стульчик сзади. Уцепившись за плечо Павла, она залезла на спинку, сорвалась и больно стукнулась коленкой.

— Что ты делаешь! — крикнул на нее Павел. — Разобьешься!

Девочка обиженно и гордо сжала губы.

— Не кричите на меня — я не вашая, — ответила она строго.

— А чья же ты?

— Папина.

— Папа говорил не трогать. А Оля трогала, — рассказывал тем временем Саша. — И она ка-ак завизжит своей головой...

— Кто завизжал головой? Оля?

— Тетя.

— Какая тетя?

— Теревизорная.

Вернулась Клава и растолковала, что Оля без спроса повернула рукоятку телевизора. Раздался визг, и у тети на экране вытянулась голова.

— Не тяжело вам с ними, с тремя? — спросил Павел.

— Тяжело, — сказала Клава. — Но ничего, справляемся.

Петр Афанасьевич поздоровался с Павлом так, словно виделся с ним полчаса тому назад.

— Ну что, будем обедать? — спросил он у жены.

— Сейчас, — ответила Клава.

— Как же ты живешь? — спросил Петр Афанасьевич, пока Клава подавала первое блюдо.

Вопрос его прозвучал довольно равнодушно.

Павел начал рассказывать. Петр Афанасьевич слушал его молча, что-то взвешивая про себя.

— Ты говоришь — жесткость, — сказал он наконец. — А есть еще такое слово — черствость. Я тебе так скажу — может быть, эти самые святые угодники действительно очень любили всех людей. Но у обыкновенного человека друзей может быть не много — ну, десять, ну, двадцать, ну, сто... И по тому, как человек относится к своим друзьям, проверяется, какой он человек. И не знаю, большая ли польза в учебе, если ты из-за нее не побывал на похоронах Коляды, на свадьбе у Васи Заболотного. Так-то. А теперь давай кушать.

Павел взял ложку, но сейчас же положил ее.

— После таких слов и есть не захочется, — сказал он.

— А ты думал, какие я тебе слова буду говорить? Танцевать начну? Спасибо, что оказали нашему семейству милость — навестили нас наконец?..

— Но, Петр же Афанасьевич...

— А я тебе скажу, — перебил его Сулима. — Я думал, что ты обо мне вспомнишь, как только у тебя неприятность или горе какое случится. Может, и сейчас с этим пришел?

— Ну, знаете! — вскочил из-за стола Павел.

— Петя, — укоризненно протянула Клава.

Павел молча пошел к выходу, ожидая, что Петр Афанасьевич его окликнет.

— Павел, — позвала Клава.

Павел приостановился.

— Не нужно, — жестко сказал Петр Афанасьевич. — Пусть идет, если он только этому научился... Если научился только поворачиваться спиной, когда слышит правду.

Павел рывком распахнул дверь.

— Еще Толстой нас учил судить о людях не по их наружностям, а по их внутренностям, как написала какая-то ученица в своем экзаменационном сочинении. А «внутренности» у него очень интересные. Правда, их не сразу увидишь. Неразговорчив. Но как это вы, человек наблюдательный, не заметили ничего, кроме того, что он говорит «молниеотвод», а не «громоотвод»?

— Не знаю. Мне трудно судить, — сказала Лена. — Но мне и сейчас кажется, что «волшебная ручка» сыграла значительно большую роль, чем та, которую вы отвели ей в своем очерке. . .

— Он владеет тремя европейскими языками. Блестяще защитил диплом. Сделал крупное открытие в химии. Но дело не в этом. Я взял у него любопытный документ. Очень любопытный. Сожалею, что не сумел использовать его в очерке.

— А что это такое?

— Вам это будет очень интересно. Вы встречались с ним еще в те дни, когда он работал на строительстве. Сравните.

Валентин Николаевич открыл ключом ящик своего стола и вытянул тоненькую исписанную тетрадь. Он перелистал ее, закрыл и положил сверху ладонь.

— Очевидно, в Сердюке, при всех его успехах в науках, все же очень ощущался недостаток общей культуры, — сказал он медленно. — Знаний, какими в большей или меньшей степени обладает каждый образованный человек. Знаний, которые накапливаются в результате чтения художественной и научно-популярной литературы, изучения истории, географии и просто в результате привычки регулярно просматривать газеты и журналы... И вот Марья Андреевна ежедневно читала ему двухчасовую лекцию курса, который она назвала «историей химии». По словам Сердюка, это были самые интересные его часы. Это был, очевидно, не курс «истории химии», а курс истории науки, курс истории культуры. Вязмитина уделяла наибольшее внимание связи химии с развитием дру-

гих наук, промышленности, с развитием потребностей человека. Но дело и не в этих лекциях... Марья Андреевна — человек редких знаний, и я думаю, что такие лекции не стоили ей большого труда. Дело в выписках Сердюка. Из заметок, которые он вел во время этих занятий. Из книг и статей, которые он читал по рекомендации Марьи Андреевны... Я попросил у него одну из таких тетрадей, — торжествующе поглядел на нее Валентин Николаевич. — Ознакомьтесь с ней. — И он протянул тетрадь Лене.

На бумаге, разлинованной в клеточку, крупным и невыразительным, как у пятиклассника, почерком было написано:

Если когда-нибудь огромные человеческие армии пойдут на бой со смертью с такой же готовностью, с какой они теперь воюют между собой, то это будет также потому, что во главе их будут стоять люди, подобные Давиду Брюсу.

«Наука требует от человека всей его жизни» (И. П. Павлов).

«В молодости у Маркса было обыкновение просиживать за работой целые ночи. Работа стала страстью Маркса: она поглощала его настолько, что за ней он часто забывал о еде. Нередко приходилось звать его к обеду по нескольку раз, пока он спускался, наконец, в столовую, и едва лишь он съедал последний кусок, как снова уже шел в свою комнату» (П. Лафарг. «Воспоминания о Марксе», стр. 8—9).

Для того, чтобы открыть тайны электромагнита, Фарадей на протяжении девяти лет носил в кармане модель электромагнита и в каждую свободную минуту придавал ей различные положения, сосредоточенно думая над решением задачи.

Работая над книгой «Империализм, как высшая стадия капитализма», Ленин проштудировал 23 французских, 14 английских и 106 немецких книг.

Философ Литтре вставал в 8 часов утра, работал до обеда; в 6 часов, после обеда, садился за работу и продолжал ее до 3 часов ночи. Работал он изо дня в день 17—18 часов в сутки и дожил до восьмидесяти лет.

Дюканж работал в течение всей своей долгой жизни по 14 часов в сутки. Один раз его рабочий день снизился до 10 часов. Это было в день его свадьбы.

«Профессора и студенты Лейденского университета уже много лет тому назад были заинтересованы моими открытиями; они наняли себе трех шлифовальщиков линз для того, чтобы они обучали студентов. А что из этого вышло? Насколько могу судить, ровно ничего, потому что конечной целью всех этих курсов является или приобретение денег посредством знания, или погоня за славой с выставлением напоказ своей учености, а эти вещи не имеют ничего общего с открытием сокровенных тайн природы. Я уверен, что из тысячи людей не найдется и одного, который был бы в состоянии преодолеть всю трудность этих занятий, ибо для этого требуется колоссальная затрата времени и средств, и человек должен быть всегда погружен в свои мысли, если хочет чего-либо достичь...» (Левенгук).

Антони Левенгук родился в 1632 году. В глазах людей своего времени он считался невежественным человеком. Единственный язык, который он знал, был голландский — язык простых людей. Образованные люди говорили на латинском языке. Но нужно признать, что его невежество оказалось для него очень полезным, так как избавило его от всякого псевдонаучного вздора, заставило верить собственным глазам, собственным мыслям и собственным суждениям.

Пауль Эрлих испробовал около пятисот различных красок, вводя их в мышей, чтобы найти краску, которая уничтожала бы трипанозом. Точно так же, должно быть, первый лодочник искал подходящий сорт дерева, чтобы сделать из него прочные весла, и первобытный кузнец старался найти среди разных метал-

лов лучший материал для изготовления мечей. Это был самый древний человеческий способ приобретать знание — метод сидения и потения. Так до сих пор во всех лабораториях мира ищут новые катализаторы.

Многие ученые спали в сутки не более четырех часов, и, в частности, Гумбольдт (дожил до 90 лет), Кювье, Келлер, Литтре. Рабочий день академика Павлова в последние годы его жизни равнялся десяти с половиною часам.

В куске обыкновенного гранита на каждый миллион частей породы приходится пять частей урана, в которых заключается в 13 раз больше энергии, чем в угле, равном по весу этому куску гранита.

«Мой успех, каков бы он ни был, определяется сложными и разнообразными качествами и условиями. Из них главными были: любовь к науке, безграничное терпение при продолжительном размышлении над любым предметом, прилежание в деле наблюдения и собирания фактов и достаточная доля изобретательности и здравого смысла» (Дарвин).

Маркс читал на всех европейских языках, а на немецком, французском и английском безукоризненно писал. Русский язык он стал изучать, когда ему было уже за пятьдесят. Через шесть месяцев после начала занятий Маркс мог уже читать в оригинале русскую художественную литературу.

«Там, где кончается неудачный опыт, часто начинается открытие» (академик Павлов).

Во время демонстрации во Французской академии наук фонографа Эдисона (1878) академик Бульо пришел в величайшее негодование, заподозрив представителя Эдисона в чревовещании, в сознательном обмане академиков.

Балар начал свою карьеру в качестве аптекаря, он поразил ученый мир своим открытием элемента брома, причем это открытие было сделано не в хорошо оборудованной лаборатории, а за простым рецептурным столом в задней комнате аптекарской лавки.

«Даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество величайшей ценности» (В. И. Ленин, т. XXVII, стр. 266, третье издание).

Девилль, работавший с Фарадеем, рассказывал Тимирязеву, что как-то Фарадей был всецело поглощен одной идеей. Все его столы были завалены грудами маленьких отрезков стеклянных трубочек. В один день все трубочки были сброшены на пол и выметены. Фарадей сказал Девиллю: «Если бы вы знали, каким безумием я был занят эти дни. Тем не менее запомните мои слова: самые безумные мысли иногда оказываются верными».

«Как хорошо было бы, если бы каждый человек науки умирал в возрасте шестидесяти лет, ибо после этого возраста он всегда в оппозиции к новой доктрине» (Дарвин).

«Основным свойством ума, необходимым для людей науки, является прежде всего умение неотступно думать об избранном предмете, с ним ложиться и с ним вставать» (И. П. Павлов).

Пастер прятался в разные потайные места и проделывал самые дикие и сумасшедшие опыты — опыты, какие могут прийти в голову только помешанному человеку, но в случае удачи превращают помешанного в гения. Он пытался изменить химию живых веществ, помещая их между двумя огромными магнитами.

Энгельс владел двадцатью языками; в последние годы жизни он изучил румынский и болгарский языки, знал русский.

«Главное удовольствие при научных занятиях для меня заключалось не в том, что я выслушивал чужие мнения, а в том, что я всегда стремился создать свои собственные» (Декарт).

Джемс Уатт носил часовой брелок с изображением открытого глаза с надписью «наблюдает».

«Успехи в изобретениях зависят на десять процентов от таланта и на девяносто процентов от труда» (Эдисон).

Гарвей, открывший кровообращение, вызвал этим вражду своих коллег, в результате которой потерял обширную практику врача. Ему не удалось привлечь на сторону своей теории ни одного специалиста старше сорока лет.

«Я постоянно держу в уме предмет моего исследования» (Ньютон).

В моей настольной лампе слабенькая лампочка мощностью в сорок ватт. И как странно думать, что человек, полагающийся лишь на силу своих мышц, — тщедушное создание, мощностью всего лишь около сорока ватт.

«Не знаю, что люди думают о моих работах, но самому себе я представляюсь мальчиком, который играет на берегу моря и радуется, если ему тут или там удастся найти несколько более гладкий камешек или несколько более красивую раковину, в то время как перед ним лежит неисследованный великан — океан истины» (Ньютон).

«Кто раз пришел в соприкосновение с человеком первоклассным, у того духовный масштаб жизни

изменен навсегда, тот пережил самое интересное, что может дать жизнь» (Гельмгольц).

О ком он думал, когда записал о «человеке первоклассном»? — спросила у себя Лена. — И встречала ли я таких людей?..

7

Все это очень просто. Нужно только, не считаясь с модой, надеть босоножки на высоком каблуке. И от этого нога станет словно меньше. Чуть укоротить юбку — теперь так носят. Переделать силоновую голубую кофточку — обрезать рукава и пришить черный узкий воротничок из бархата. Слегка, чуть-чуть, так, что не поймешь сразу, подкрашены ли они, провести по губам помадой. Перехватить собранные сзади волосы ниткой стеклянных, под бирюзу, бус. И даже старый Бошко смотрит на тебя особенно одобрительно, а мужчины в твоем присутствии начинают разговаривать неестественными горловыми голосами, и женщины справляются об адресе твоей портнихи. И на улице — оглядываются. Женщины. Но чаще — мужчины.

Все это очень просто. Труднее другое. Быть нужной. Приятной легче быть, чем нужной.

Валентин Николаевич очень небрежно, так, между прочим, предложил ей встретиться в воскресенье — погулять, проехать по Днепру на глиссере. И довольно равнодушно он сказал: «Вот и очень хорошо», когда она согласилась. И все-таки было что-то такое — нет, даже не в выражении лица и не в голосе, а в том, как он глубоко затянулся дымом своей сигареты, что она почувствовала — это свидание для него очень важно.

Они договорились встретиться в парке над Днепром, у лестницы к видовой площадке, которую, как сказал Валентин Николаевич, он только недавно открыл.

Лена, как они и договорились, пришла ровно к десяти часам, хоть это ей стоило некоторых усилий —

она с опозданием вышла из дома, а троллейбусы, как назло, были переполнены.

Несмотря на ранний час, в парке уже было много людей, а когда она подошла к назначенному месту, она стала свидетельницей странной сцены. Ход на лестницу был загорожен широкой красной лентой. Перед лестницей стоял Валентин Николаевич, в сером костюме, с темным галстуком, и сдержанно объяснял толпившимся вокруг него людям:

— Не спешите, товарищи, сейчас придет начальство и состоится торжественное открытие лестницы.— Он взглянул на часы.— Еще несколько минут.

У него был преувеличенно торжественный вид, как у распорядителя на похоронах. Лена нерешительно выглянула из-за спин окружающих его людей.

— Ну вот, я же говорил,— пробормотал Валентин Николаевич.— Позвольте, пожалуйста,— он пропустил Лену вперед.— Оркестра мы дожидаться не будем...— Он не закончил фразы, подвел Лену к лестнице, вынул из кармана ножницы и громко объявил:— Итак, товарищи, вы присутствуете на торжественном акте.— Он передал Лене ножницы.— Прошу вас разрезать ленту.

— Что это значит?— спросила Лена.

— Режьте скорей,— шепнул Валентин Николаевич,— пока не позвали милиционера.

Очевидно, ножницы были только что куплены. На металле еще сохранилось машинное масло. Лена разрезала ленту. Валентин Николаевич взял ее под руку, и они первыми поднялись на видовую площадку, а за ними уже пошли остальные.

— Ну и порядки,— ворчливо говорил какой-то старичок в соломенной шляпе своей спутнице— моложавой вертлявой женщине.— Я сюда ходил по меньшей мере сто раз. А только сейчас выдумали сделать торжественное открытие. Как будто это памятник или музей...

— И каждый раз вы бывали здесь с другой дамой?— кокетливо спросила его спутница.

Валентин Николаевич извлек из кармана пиджака свернутый в трубку лист бумаги.

— Прошу вас познакомиться.

Лена развернула бумагу. На листе было напечатано:

План культурных мероприятий.

1) Торжественное открытие видовой площадки парка и изучение топографических особенностей Днепра и Заднепровья — 10 ч. 00 мин. — 10 ч. 15 мин.

2) Завтрак — 10 ч. 15 мин. — 11 ч. 15 мин.

3) Доставка трудящихся на такси к пристани — 11 ч. 15 мин. — 11 ч. 30 мин.

4) Катание на глиссере по Днепру — 11 ч. 30 мин. — 13 ч. 30 мин.

5) Самодеятельность (время определяется по желаниям, высказанным трудящимися).

— Хорошо, — сказала Лена. — Только я уже завтракала. Правда, если вы...

— Нет, нет... Тогда погуляем по парку?

— А быть может, просто спустимся на набережную?

...Глиссер оставлял за собой широкую дорогу из пенных струй. У самого борта кипящая вода вздымалась, превращаясь в водяную пыль, и солнце в ней дробилось маленькой устойчивой радугой. Лена опустила руку в воду и вскрикнула — она нечаянно обрызгала и себя, и Валентина Николаевича, и водителя глиссера — пожилого, желчного, молчаливого человека.

С набережной они возвращались, поднимаясь крутыми аллеями и лестницами, в тот же парк над Днепром, где встретились утром. Лена устала. Новые босоножки оказались на редкость неудобной обувью.

— Присядем, — предложила она.

— Пожалуйста, — согласился Валентин Николаевич.

И когда они сели, он сказал, придав своему лицу выражение людоеда с иллюстрации к детской книжке:

— Но учтите, что если завтра дворники найдут на этой скамье обглоданные кости и только по пла-

тью и гвоздям, оставшимся от ваших тесных босоножек, опознают вас, — меня никто не осудит.

— А какими бывают вкусными свежие булочки... — мечтательно ответила Лена.

— Так, быть может, вы мобилизуете свое мужество, и мы пойдем в ресторан?

— Нет, — возразила Лена. — Там сейчас, наверное, душно. И вообще... Попробуем купить чего-нибудь прямо здесь.

Они пошли к так называемой «палатке» — зеленой деревянной будочке, начиненной бутылками с минеральной водой и лежалым, не слишком съедобным печеньем.

Не выбирая, они купили круглых темных булочек и ярославского сыра. Лена требовала, чтобы сыра было побольше, и Валентин Николаевич попросил отвесить ему полкилограмма.

После завтрака Лена предложила Валентину Николаевичу написать и зарыть в землю клятву — больше никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не покупать ярославского сыра. Валентин Николаевич быстро набросал стихами такое торжественное обещание, и они, с серьезными, исполненными сознания важности совершаемого акта лицами, отправились зарывать остатки сыра. Они завернули его в бумагу со стихами. Карандашом и пальцами Валентин Николаевич вырыл ямку в земле.

— Посмотрите, Елена Васильевна! — вдруг сказал Валентин Николаевич уже не в шутку, всерьез. Он низко наклонился, оглянулся на Лену и снова позвал ее: — Вот сюда.

С десяток рыжих муравьев тащили обгоревшую спичку к муравейнику.

— Посмотрите, как они это делают! — требовал Валентин Николаевич.

Лена присела на корточки. Семь муравьев, уцепив спичку передними лапками и отталкиваясь остальными, неутомимо, с полной отдачей сил, тащили спичку к муравейнику, а четыре муравья, точно так же уцепившись за другой конец, тянули ее в прямо противоположную сторону.

С удивлением Лена увидела, что спичка движется в нужном направлении, но зигзагами, и много медленней, чем если бы усилия муравьев были согласованны.

— А почему они так?

— Очевидно, муравьи так устроены, что могут передвигать тяжести, только двигаясь назад, — ответил Валентин Николаевич. — Но, в общем, способ их действия мне кажется довольно поучительным.

Он подал Лене руку, помог ей встать и предложил:

— Пойдемте. Вот эта дама в красном платье (не оглядывайтесь!) слишком внимательно за нами наблюдает, а ее лысый муж куда-то исчез. Боюсь, что он побежал к телефону-автомату, и у выхода из парка нас уже ждет карета скорой помощи. Они, кажется, приняли нас за сумасшедших...

Люди, которые сидели в аллее на скамейке, действительно смотрели на них с любопытством. Проходя мимо них, Валентин Николаевич сказал подчеркнуто громко:

— Итак, рыжие муравьи, именуемые по классификации Линнея «гаудеамус игитур», и являются темой нашей докторской диссертации... Ибо нам удалось доказать, что рыжие муравьи — не черные, не желтые, не зеленые, не красные, а именно рыжие, — найдут самое широкое применение как в промышленности, так и на транспорте...

Когда они прошли дальше, он сказал:

— Я вам подарю янтарь, который сохранился у меня со времен моего увлечения палеонтологией. Представляете — прозрачный кусочек ископаемой смолы. Толщиной в палец. И в нем — муравей. На память о наших сегодняшних наблюдениях. Муравей там очень похож на тех, которые только что тащили спичку. Но вы представляете себе, что он мог видеть?..

И Валентин Николаевич продолжал:

— Быть может, он счастливо избежал ноги зауропода — одного из величайших наземных животных

всех времен... Гигантского динозавра весом в пятьдесят тонн, длиной в тридцать метров. Или был свидетелем битвы гигантского хищника — карнозавра, с пастью, усеянной кинжаловидными зубами, изогнутыми и страшными, длиной с вашу руку... Но сам-то он был и тогда таким же — маленьким и трудолюбивым, хотя семьдесят миллионов лет назад были существа посильнее его и посильнее нас с вами. И так же, как сегодня, зигзагами, преодолевая сопротивление своих товарищей, пользуясь поддержкой своих товарищей, тащил он свою спичку...

Навстречу им шло четверо парней в узеньких голубых штанах и расписанных немыслимыми узорами рубашках навыпуск, у всех через плечо — фотоаппараты, в зубах — сигареты, на лицах одинаковое выражение пресыщенности и презрения. Увидев Лену, они даже приостановились.

— Муравьи со спичкой... — сказал Валентин Николаевич. — Не напоминает ли это вам нашего движения по пути прогресса? Взять хоть... вы извините, я вовсе не хочу вас обидеть... Взять хоть вашего бывшего мужа и моего бывшего знакомого Максима Ивановича. Он, конечно, принес вред обществу на... на несколько миллионов рублей. Но ведь любой человек, который работает на спирто-водочном заводе или на табачной фабрике... Присядем? — они сели на скамью в тени каштана, и он со вкусом закурил, — ...на табачной фабрике, приносит обществу вред не меньший. А это лишь одна из причин того, что наша спичка движется такими зигзагами.

— Может быть, — прищурилась Лена. — Но, сводя к одному сознательные и бессознательные действия, действия, вызванные плохими привычками, направленные во вред обществу, сами-то вы знаете, в какую сторону тянете эту спичку?

— Как и все мы, — ответил Валентин Николаевич. — Иногда вперед, а иногда и назад... А в общем вы, как всегда, правы. — Он улыбнулся, точно извиняясь. — И эта ваша правота, как я стал замечать в последнее время, становится для меня все более не-

обходимой. Я хотел, если вы не возражаете, поговорить с вами вот о чем... — Он плотно сжал губы, посмотрел на Лену и снова отвел взгляд. — У меня жена, с которой я очень дружу, и дочка, которую я очень люблю. Я ничего не собираюсь менять в устройстве своей жизни, которая, как мне кажется, налажена правильно и неплохо. И все-таки... Почему бы нам не стать ближе?

Лена удивилась. Не его словам. Себе. Предложение Валентина Николаевича ей не показалось унизительным. Он был таким же, как и многие другие. Не хуже и не лучше.

— Нет, — определенно и спокойно ответила Лена. — Не могу.

— Не хочу, — повторил ее интонацию Валентин Николаевич.

Они переглянулись и рассмеялись.

Недавно известный эстрадный певец Артур Караваев исполнял песенку, текст которой сочинил Валентин Николаевич. Начиналась она так:

Зерно я вез на станцию,
Зерном колхоз наш славится,
И вдруг у самой станции
Мне встретилась красавица.
Узнал, что с ней нам по пути,
И предлагаю подвезти:
— Машиной мигом вас домчу! —
Но девушка смутилась,
Сказала сразу — не могу,
Потом сказала — не хочу,
А после — согласилась.

— Нет, — повторила Лена, — я и после не соглашусь.

— Как угодно, — сказал Валентин Николаевич. — Я вам предлагал заговор равных.

Они вышли из парка на улицу. Валентин Николаевич остановил такси.

— Бедный мой, — сказала Лена с неожиданным сочувствием. — Вы сегодня очень старались?

— Очень, — сознался Валентин Николаевич.

8

— Вы обещали рассказать мне о проблеме, над которой работаете, — сказала Лена.

— Да, — ответил Павел. — Обещал.

Он пришел в редакцию к Валентину Николаевичу, но не застал его, зашел к Лене и сейчас сидел перед ней, медленно поворачивая крышку чернильницы. Разговор не ладился, и он уже жалел, что пришел, — забрать у Ермака свои бумаги он мог бы и позже.

— Обещал, — повторил Павел. — Я много думал над тем, как рассказать так, чтобы вам было и понятно и интересно.

Лена молчала.

— Ну вот представьте, что с вами говорит азот. Не с вами, а со всем человечеством. Вот что сказал бы он...

И Павел, глядя перед собой в одну точку, заговорил тем бесцветным голосом, какой бывает лишь при чтении вслух:

— «А» — не, «зо» — жизнь. «Не поддерживающий жизни». Так меня назвали люди. В классическом опыте Лавуазье мышь погибала в воздухе, лишенном кислорода, то есть в почти чистом азоте.

Величайшее заблуждение! Вы должны были назвать меня «зотом» — носителем жизни. Хотя бы из уважения к собственному существованию. Потому что все живое обязательно имеет в своем организме белковые вещества. А вы должны знать, что не бывает белка без азота.

Азот более драгоценен с общебиологической точки зрения, чем самые редкие из благородных металлов, — сказал обо мне мой друг академик Омелянский. Он был прав.

Боже мой, — подумала Лена. — Он это написал заранее. Написал и, быть может, даже выучил наизусть... Она покраснела. Таким образом еще никто не выказывал к ней своего интереса.

— Запомните — перед вами грандиозная пробле-

ма, — продолжал Павел, тоже краснея. — И имя ей — азот.

Я — невидимка. Я — газ без цвета, запаха и вкуса. Химики говорят, что я очень инертен. А я отвечаю, что они недостаточно активны.

Я составляю по весу семьдесят пять целых, семь десятых процента атмосферы. Над вашим столом поднимается столб воздуха, в котором содержится шестнадцать тонн азота. Только тем количеством азота, которое находится над гектаром почвы, вы могли бы обеспечить всю живую природу и все потребности человечества на двадцать лет. И несмотря на это, растениям очень часто не хватает именно меня.

Когда я свободен, я недоступен для растений. Они могут поглощать меня, лишь когда я связан. Тогда они получают азот из почвы. Я содержусь в ней в виде солей. Почвенная вода растворяет эти соли, растения всасывают их корнями и перерабатывают азот в своих клетках в белки и другие сложные соединения.

Так меня получают растения. Вы же, люди, и все другие животные не можете меня усваивать в виде солей. Для вашего питания необходимы белки, которые вырабатывают растения или животные. А белков — ничем не заменить. Поэтому ваше существование и находится в полной зависимости от растений: только при их посредстве животные могут получать необходимый им азот.

Павел увлекся. Забыл, что выступает от имени азота, и заговорил от своего имени. Голос его звучал глубже, выразительней:

— Как я уже вам говорил, в атмосфере неограниченное количество азота. Но в земной коре его значительно меньше. Он составляет в ней всего четыре сотых процента.

Существуют две гипотезы о том, как он туда попал.

По одной — первоначальное накопление азота произошло в далекую геологическую эпоху, когда высокая температура на земле способствовала образованию соединений азота с другими элементами. По другой —

первоначальное накопление азота — результат частых и мощных грозовых разрядов в более позднюю геологическую эпоху.

Но дело не в этом. Это теории. А на практике прежде всего нужно думать о зеленой растительности земного шара. Она ежегодно потребляет около двух с половиной биллионов тонн азота. Это количество примерно равно пяти процентам всего запаса азота в тридцатисантиметровом слое почвы всей поверхности земли. И не нужно быть математиком, чтобы понять, что если бы этот запас не пополнялся, то через двадцать пять лет людям пришлось бы положить зубы на полку.

К тому же надо учесть, что каждую неделю население нашей планеты увеличивается на четверть миллиона. За одно столетие население земного шара стремительно возросло с одного миллиарда до двух. Для того чтобы оно снова увеличилось вдвое, понадобится гораздо меньше ста лет, и вскоре на земле будет около пяти миллиардов человек.

Но мы возвращаем азот в почву. Мы удобряем поля навозом, торфом, минеральными азотистыми удобрениями. Атмосферные осадки приносят в почву окислы азота. Они образуются в атмосфере при электрических грозовых разрядах...

Павел вынул из кармана записную книжку, заглянул в нее и дальше уже говорил, почти не отрывая глаз от записей.

— Однако я вижу, что вы занялись подсчетами, отбросили потери при глубоком разрушении соединений азота в результате вымывания из почвы в реки и моря, сжигания каменного угля, торфа и дров, действия почвенных бактерий — и остались недовольны балансом. Вы убедились, что в природе нет достаточного запаса готовых соединений азота. Вы стоите перед необходимостью или найти способ широкого использования азота атмосферы, или мириться с последствиями истощения почвы.

Еще в тысяча восемьсот девяносто восьмом году английский ученый Уильям Крукс в своей знаменитой речи на заседании Британской ассоциации ученых,

нарисовав безрадостную картину тех последствий, которыми угрожает человечеству истощение запасов азота в почве, выдвинул на очередь вопрос об отыскании источника для получения связанного азота.

«Фиксация атмосферного азота, — сказал Крукс, — есть одно из важнейших открытий, которых надо ожидать от изобретательности химиков».

Много лет уже вы ведете поиски путей использования азота атмосферы. А я — не поддаюсь. Ощупью, с трудом, с постоянными неудачами и редкими успехами вы пошли по двум путям — по техническому и биологическому.

Идея первого технического способа связывания атмосферного азота принадлежит русскому ученому В. Н. Каразину. В тысяча восемьсот четырнадцатом году он предложил получать одно из моих соединений — селитру — посредством электрических разрядов в воздухе. Так стали получать «воздушную селитру». Но от этого способа вы вскоре отказались — он был экономически невыгоден.

Гениальным решением этой проблемы явилось открытие немецкого химика Фрица Габера. Он нашел способ забирать меня прямо из атмосферы и соединять с газообразным водородом. Это ему удалось осуществить благодаря катализаторам — веществам, увеличивающим скорость химических реакций, — высокой температуре и высокому давлению. При обычных условиях азот с водородом не реагирует.

Этот так называемый «технический азот» вы широко используете как удобрение. Впрочем, с сожалением должен заметить, что не только как удобрение. В связанном виде я являюсь основой абсолютного большинства взрывчатых веществ. Недаром же «Правда» в передовой статье еще от двадцать пятого апреля тысяча девятьсот тридцать второго года (я запомнил эту дату — обо мне не часто пишут в газетах) писала: «Азот в сложении с капитализмом — это война, разрушения, смерть. Азот в сложении с социализмом — это высокий урожай, высокая производительность труда, высокий материальный и культурный уровень трудящихся».

Во всяком случае, промышленность, носящая мое имя, сейчас очень развита во всех государствах, стоящих на высоком техническом уровне, и имеет весьма сложное техническое оборудование.

Однако для производства технического азота требуется сложная и дорогая аппаратура и значительная затрата энергии. Таким образом, и этот способ не решил всей проблемы снабжения азотом посевов.

Теперь поговорим о биологическом пути. В почве и на корнях растений из семейства бобовых (клевера, люцерны, люпина, гороха, фасоли) имеются микроорганизмы, способные связывать азот атмосферы. И эти бактерии ежегодно возвращают азот в почву в количестве почти трех миллионов тонн...

Павел читал все быстрее и быстрее.

— «Способностью увеличивать производительность земли, способностью обогащать земледельца за счет дарового источника удобрения — воздуха — бобовые растения обязаны одной из тех бактерий, в которых мы привыкли видеть только страшных, неотразимых врагов», — говорил по этому поводу Тимирязев.

Однако способность извлекать меня из атмосферы не так широко распространена в природе, как это могло бы вам сразу показаться. Этой функцией обладает очень ограниченный круг микроорганизмов.

Он отложил книжку и медленно перечислил:

— Клубеньковые бактерии. Азотобактер. Клостридиум. Некоторые сине-зеленые водоросли. Раз-два — и обчелся.

Объясняется это, вероятно, тем, что специфический катализатор, участвующий в процессе фиксации азота, при всем бесконечном разнообразии живых организмов, был выработан лишь некоторыми бактериями.

Представьте себе на минутку, что таким катализатором обладал бы ваш организм. Точно так, как в ваши легкие поступает из атмосферы кислород, азот поступает в ваш желудок. Ваша средняя потребность в азоте — тринадцать-шестнадцать граммов в сутки. Казалось бы, немного. Но мы поглощаем килограммы обычной пищи, чтобы получить эти граммы. Конечно, это неосуществимо. Но если бы удалось раскрыть

структурное строение этого катализатора, то можно было бы воспроизвести этот процесс вне живой протоплазмы азотофиксирующих бактерий. А значит, со временем можно было бы легко отбирать азот в любом количестве прямо из воздуха.

Он снова углубился в книжку.

— Однако этого пока никому не удалось сделать. Вот уже пятьдесят лет ученые разных стран продолжают непрерывные исследования, и все же фактически вопрос о том, как азотофиксирующие бактерии связывают азот и переводят его в азотистые соединения своего тела, до сих пор не решен.

Единственное, чего удалось достичь в последнее время, — это доказать, что, по-видимому, при фиксации азота атмосферы бактериями природа пошла по иному пути, чем кажущийся теперь таким простым путь химической фиксации азота в промышленности.

Исследования Федорова подтвердили, что в системе протоплазмы азотофиксирующих бактерий имеется особый катализатор — фермент, к которому азот присоединяется, давая сначала кислородные соединения, а они уже постепенно, путем ряда химических превращений, переходят в белковые вещества.

Но ферменты-катализаторы, имеющиеся в живых организмах, отличаются от всех других катализаторов исключительной мощью, превосходящей в миллионы и миллиарды раз действие других органических и неорганических веществ, способных ускорять те же реакции. что и ферменты.

До последнего времени ученые все свое внимание посвящали азотофиксирующим бактериям. Они считали, что природа дала в руки людей редкую возможность пользоваться неограниченными запасами азота атмосферы с помощью азотофиксирующих бактерий и что эту возможность необходимо использовать до крайних пределов.

Но наука идет вперед. Ученые открыли «философский камень» алхимиков древности — научились превращать одни элементы в другие. И приближается время, когда люди смогут искусственно создавать сложнейшие ферменты. Тогда станет понятным хими-

ческий механизм фиксации азота атмосферы бактериями. Люди научатся воспроизводить важнейший процесс, так мало распространенный среди живых организмов и имеющий такое выдающееся значение в азотном балансе — в природе вообще и в сельскохозяйственном производстве в частности. Процесс, о котором пока известно так мало.

И тогда осуществится предсказание крупнейшего микробиолога В. С. Омелянского: «В какую форму выльется наиболее практическое решение этого вопроса, говорить пока преждевременно, но можно не сомневаться в том, что наступит час — и он уже близок, — когда лежащий пока втуне азотистый капитал воздуха будет использован для своих нужд, как уже использовали и другие богатства природы».

Это говорю вам я, азот!

Павел поднял глаза и посмотрел на Лену. Она перебирала бумаги и, как показалось Павлу, совсем не слушала того, что он говорил.

— Понятно? — резче, чем хотел, спросил Павел.

— Понятно, — равнодушно ответила Лена.

9

Причина и следствие, — думала Лена. — Как далеки они друг от друга. Как трудно проследить их связь. Но они всегда существуют. И причина и следствие.

Где-то она читала, что, когда дикарь отправлялся на охоту и по дороге спотыкался о камень, а затем охота оказывалась удачной, в следующий раз он снова спотыкался о камень — уже нарочно. Так создавались приметы. Мы не верим приметам. Мы создали такие удобные способы для передвижения в воздухе, как реактивные самолеты, и такие неудобные способы для передвижения по земле, как туфли на каблуках-шпильках, и далеко ушли от дикаря с его примитивными представлениями о причинности.

Мы не обратим внимания, не запомним, если через перекресток, который нам предстоит перейти, проедет

телега. И все же запомним, если через дорогу перебежит кошка. А в нашем городе телеги попадаются значительно реже, чем кошки. И встреча с ними должна была бы лучше запомниться. Хотя бы по этой причине, не говоря уж об их превосходстве в размерах над кошками.

Значит, даже самая бессмысленная примета существует где-то в нашем сознании. А может быть, и в подсознании. И раз она там существует, значит, она может оказать действие. Значит, она может сама явиться причиной поступка или слова, которые повлекут за собой новое следствие.

Но все это вздор, — думала Лена. — Хотя если кошка перебежала дорогу — я об этом помню. Наверное, помню. Иначе, чем же объяснить, что, когда Лида своей кошачьей походкой вошла в кабинет и промурлыкала: «Вас спрашивает какая-то женщина», — и вошла эта женщина, я почувствовала, что сейчас что-то произойдет. Может быть, это из-за коричневой бархатной шляпки? Таких никто не носит. Вздор... Все вздор...

Но почему я так испугалась? Ведь она хорошо держалась, эта женщина. И улыбалась совсем спокойно.

...— Елена Васильевна Санькина? — спросила она. — Здравствуйте. Я здесь проездом... Давайте познакомимся. Мы с вами тезки. Елена Захаровна.

— Очень приятно. Я вас слушаю, Елена Захаровна.

— Я — жена Максима Ивановича, — назвала себя женщина и осторожно вынула из своей коричневой бархатной шляпки булавку с длинным острым жалом, а затем сняла и положила шляпку на стол. У нее были густые, гладко причесанные, разделенные посредине пробором черные волосы, желтовато-коричневые на висках. — Он говорил вам обо мне?

У Лены сжалось сердце. Зачем она пришла?..

— Да, конечно... — сказала Лена. — Но он говорил... — Лена взглянула на похорошевшую Лиду. — Вы обещали мне выяснить, не идет ли сейчас дождь на улице, — сказала она, глядя Лиде прямо в лицо.

— Подумаешь, — ответила Лида и, не сводя с

Лены и ее посетительницы перекошенных от любопытства глаз, спиной открыла дверь и вышла из кабинета.

— Он сказал мне, что вы погибли во время войны, — жестко сказала Лена, — иначе...

— Я понимаю, — прервала ее Елена Захаровна.

— Иначе ему не удалось бы меня обмануть, — сказала Лена.

— Я понимаю, — повторила Елена Захаровна.

— А дочка? — вдруг спросила Лена.

— Так он говорил и о дочке?

— Да.

— Вот это уж подло. Дочка со мной. Тоже — Лена. И ростом — с вас.

— Он вас оставил?

— Нет. Это не так. Это я уехала. Я виновата. Когда я стала догадываться о его делах, у меня не хватило мужества, не хватило совести сообщить об этом. Хоть в милицию. Я сказала, что буду молчать. Но жить с ним — не могу.

— Но почему он стал таким? — неожиданно спросила Лена.

Елена Захаровна молчала. Лицо ее оставалось невозмутимым, как бывает в тех случаях, когда человек не собирается отвечать. Наконец она сказала медленно и спокойно:

— Он боялся. У него была трудная юность. Его исключили из комсомола. Он скрыл происхождение... Он — сын попа. Затем его дважды увольняли с работы. И вот тогда он решил, что нужно копить деньги... На черный день. Тогда я впервые услышала его теорию. Он говорил, что если в социалистическом обществе труд оплачивается деньгами, если мастерство человека, если его место в жизни определяется суммой, какую он зарабатывает, то правы люди, которые стремятся любым путем заработать побольше, хотят накопить денег, чтобы быть, как он говорил, независимым... Я закурю, — прервала себя Елена Захаровна.

Она вынула из сумочки нераспечатанную пачку папирос и закурила, поспешно и глубоко втягивая дым.

— Вначале мы экономили. — Она горько усмехнулась. — На всем. На счету была каждая копейка.

Мы впроголодь жили... Тогда я научилась чинить обувь, а потом и шить ее. Неплохая наука. Я до сих пор сама шью для себя туфли. Максим не отказывался ни от какой работы. Он, молодой инженер, шил дома дамские пальто. А затем он решил, что больше экономить не нужно. Что нужно зарабатывать столько, чтобы тратить, как все, а откладывать — в десять раз больше, чем тратить. С этого и началось... Скупость сменилась жестокостью. Он стал презирать и ненавидеть людей, с которыми жил, с которыми работал. Он ни во что не верил...

Елена Захаровна умолкла. Казалось, она забыла, о чем говорит.

— Не понимаю, — сказала Лена спустя некоторое время. — Я знала его другим. Очень добрым. Исключительно добрым. И мне казалось, что из-за своей доброты, из-за своего неумения отказывать людям он и запутался.

— Он был скорее умным, чем добрым, — возразила Елена Захаровна, надела шляпку и пронзила ее булавкой. — Вы не получали от него писем? — спросила она уже другим, сухим тоном.

— Нет.

— А я получила письмо.

— Он нуждается в помощи? — с готовностью спросила Лена.

— Нет. Прощайте.

— Я вас провожу... к выходу.

— Пойдемте.

Они молча, рядом спустились по лестнице.

— Вы регистрировались с Максимом Ивановичем? — резко спросила Елена Захаровна.

— Нет.

— А я регистрировалась. И развелась. Недавно. В письме он пишет, что если его отпустят — по состоянию здоровья, — он хотел бы возвратиться ко мне. Но я уже много лет живу с другим человеком. И мы решили наконец оформить наши отношения. Мне развод дали. А ему — он пятнадцать лет не живет со своей первой женой... Она тоже замужем за другим — у нее дети от другого мужа... Но ему — не дают. По этому по-

воду я и приехала в Киев. Вы не слышали — не будет нового закона о разводах?

— Нет, не слышала, — ответила Лена.

Они еще раз попрощались.

...А я-то боялась, — подумала Лена. — И чего? Для нее Максим Иванович plusquamperfekt. Как и для меня. Но все равно — у нее он тоже что-то поломал. И может быть, поэтому на ней такая шляпка. Вздор. Все это вздор...

...Редактор встретил ее слова молча, без улыбки.

— Григорий Леонтьевич уже говорил мне о вашем желании вернуться в отдел писем, — сказал он. — Что ж, с этого вы начинали. Я не думаю, что вы этим же закончите... Но — возражать не буду. Теперь вы больше знаете и о жизни и о газете. Надеюсь, что теперь вы будете воспринимать по-иному и письма, которые приходят в редакцию...

...Механически проставляя условные цифры на карточках, прикрепленных к письмам, Лена думала о том, что люди, связанные с определенной работой, содержанием своим близкой к технической, — кассиры, чертежники, конструкторы, — очевидно, недооценивают преимуществ своего дела. Хорошо избавиться, наконец, от чувства постоянной неудовлетворенности. Не искать. Не волноваться. Просто работать.

Она бы и спустя десять минут не могла рассказать содержания письма, которое передала заведующему отделом.

Так прошло сто лет.

Во всяком случае, уже через неделю ей казалось, что она так работает долгие годы, что так было и так будет всегда. Письма, письма, письма, чьи-то судьбы, чьи-то радости и огорчения, обозначенные условными цифрами на маленьких, жестких карточках.

...Григорий Леонтьевич, спокойный, сдержанный, благожелательный, привычно поглаживая чистыми, холодными пальцами полированные поручни кресла, сказал:

— Каждый день вы читаете письма. В нашей корреспонденции поднимается много важных и интерес-

ных вопросов. По какому из них вы хотели бы выступить в газете?

— Не знаю, — ответила Лена.

— Подумайте над этим.

«...Ваше письмо направлено в Верховный суд...» «Ваше письмо направлено в Верховный суд...» Эти письма не подходили ни под один из номеров, обозначающих темы. Их не передавали в отделы. Отдел писем снимал с них копии и отправлял в Верховный суд. Они лежали в архиве, в той его части, которая называлась «долгим ящиком». Их было много. Это были письма от женщин и мужчин, несчастных в браке.

Из письма А. И. Беловой, очевидно пожилой женщины, которая почему-то представилась Лене похожей на Елену Захаровну и в такой же шляпке, Лена сделала выписку.

«Я живу с человеком, у которого есть «законная семья». Со своей «законной женой» он прожил три месяца. Мы с ним живем девять лет и расходиться не думаем. У нас двое детей — две девочки, семи и четырех лет. Старшая, Лариса, получила метрику с прочерком в графе, где стоит «отец». Младшая до сих пор не имеет никакого документа. Брать метрику с прочерком вместо «отца» я не хочу. Да это и неправда — у моих детей отец есть, и он их очень любит. Младшую дочку я не могу даже отдать в детский сад. Она нигде не записана. И население Советского Союза на одного человека больше, чем это значится в официальной статистике. Но только ли на одного? Ведь и в других семьях возможны такие случаи».

И. И. Кудренко написал письмо на листке, вырванном из школьной тетради, на оборотной стороне осталась запись, сделанная другим почерком: «...$x^6 + 3x^4y^2 - 3x^2y^4$...» Кудренко писал:

«Я в браке не зарегистрирован, хотя живу с женой уже более двенадцати лет и имею трех детей школьного возраста. А регистрацию не могу оформить потому, что при зарплате семьсот рублей и имея на иждивении четырех человек, трудно сразу отдать четыреста рублей. Да еще неизвестно, сколько присудит городской суд за оформление развода. Но дело не во мне.

Я считаю, что это несправедливо по отношению к детям».

Письмо И. Г. Никитиной заканчивалось словами: «Я считаю, что в конце концов дело с разводами должно быть упрощено и приближено к фактической жизни. Это осчастливит многих советских людей, дети получат имена отцов, будет наведен порядок в брачных делах».

А как же быть в самом деле? — думала Лена. — Если люди женились потому, что полюбили друг друга... А потом оказалось, что не любят... Можно ли мешать им развестись?.. Я вышла замуж... И предположим, Максим Иванович не был бы таким... Был бы хорошим человеком. И правдою было бы все, что он говорил о своих чувствах. Что же — потом, если я его не любила, если напрасно, если по ошибке, если по недоразумению вышла за него замуж — я бы не могла с ним развестись?..

Чтобы разобраться в этом, Лена по привычке, которую воспитал в ней Бошко, прежде всего отправилась в библиотеку — выяснить, что сказано по этому поводу у классиков марксизма-ленинизма.

— Подберите мне, пожалуйста, что есть у Маркса, Энгельса и Ленина о семье, — попросила она редакционного библиотекаря.

Блокнот Лены заполнился выписками. Маркс говорил, записала она, что «...всякое расторжение брака есть расторжение семьи и... даже с чисто юридической точки зрения положение детей... не может быть поставлено в зависимость от произвольного усмотрения родителей, от того, что им заблагорассудится. Если бы брак не был основой семьи, то он так же не являлся бы предметом законодательства, как, например, дружба».

Но, с другой стороны, Энгельс писал: «Если нравственным является только брак, заключенный по любви, то остается нравственным только такой, в котором любовь продолжает существовать».

«Законодательные органы обязаны считаться с чувством любви», — записала Лена в своем блокноте.

Григорий Леонтьевич без особого интереса отнесся к предложению Лены — написать статью о разводах.

— Я думал, что вас привлечет наша магистральная тема: бытовое обслуживание трудящихся. Но я не против. Нужно только посоветоваться с редактором.

...Лена долго думала над названием своей статьи и, наконец, решила назвать ее просто «О любви и... разводах».

Начала она так:

«Над окошком театральной кассы небольшой плакатик: «Все билеты проданы».

Это не только удивительно, но и, на первый взгляд, совершенно непонятно. Ведь пьесе, которую сегодня показывает театр, рецензенты заслуженно дали в печати самую резкую оценку. Написал ее начинающий и, вероятно, не слишком даровитый драматург, характеры — примитивные, реплики — слащаво-сентиментальные, третье действие еле висит на белых нитках — супруги, которые расстались в первой картине, со слезами и ахами примиряются.

Но вот к кассе подбегает рослый парень, видимо всего несколько минут назад сменивший синюю промасленную спецовку на модный пиджак и яркий галстук, волосы его еще влажно блестят после купания. Посмотрев на плакатик, он озадаченно чешет затылок большой, как лопата, рукой и просительно обращается к кассиру: «Может, найдется пара билетиков?»

— Нет, — отвечает кассир. — А почему вы все так устремились на этот спектакль?

— Так ведь пьеса-то о любви! — отвечает он, как о вещи понятной и всем известной, и озабоченно добавляет: — Второй раз уже ухожу ни с чем...

О любви написано очень много. На гигантских камнях одной из египетских пирамид четыре тысячи лет тому назад были высечены иероглифы замечательного произведения древней лирики — «Плача Исиды за Осирисом»: «Сердце ее трепещет от любви к тебе...»

С тех пор, как известно, поток литературы на эту тему устремился с камней, с обожженных черепков на папирус, пергамент, бумагу, заполнил миллионы томов книг, предъявил монопольное право на лирические стихи и даже разлился по газетным листам.

Трудно назвать пьесу, в которой в той или иной

степени не говорилось бы о любви. И товарищу, так безуспешно пытавшемуся получить «пару билетиков» в театр, это отлично известно. А когда он объяснял свое стремление попасть на спектакль тем, что пьеса «о любви», он, бесспорно, имел в виду, что пьеса посвящена любви уже сегодняшней, что пьеса о том, как это происходит сегодня в нашей жизни.

Именно этим объясняется плакатик над окошком кассы, объясняется успех заведомо плохой пьесы у зрителей, появление в последнее время множества романов, повестей, рассказов о любви, о семье, об изменах и разводах.

Зритель, читатель ищет в этих произведениях ответа на вопросы, которые его волнуют сегодня, он хочет, чтобы ему помогли разобраться в его собственной жизни, в его собственной любви.

И особенно важным это сделалось потому, что в некоторых случаях он ощущает странный разрыв между своим жизненным опытом, подтверждаемым произведениями литературы, где любовь занимает значительное место, — с одной стороны, и общественной практикой, узаконенными положениями, которые зачастую отбрасывают любовь как нечто не только несущественное, но даже несуществующее, — с другой. . .»

В статье приводились письма читателей газеты, письма о затруднениях, которые испытывают люди в связи с недостатками, имеющимися в принятом сейчас порядке расторжения брака.

Сославшись на Маркса и Энгельса и отметив, что Коммунистическая партия и Советское правительство настойчиво и последовательно борются за укрепление семьи и брака, воспитывая в гражданах серьезное, честное, умное отношение к семье и семейным обязанностям, Лена резко выступила против того, что в судебной практике расторжения браков в отношении к людям, расторгающим брак, забывают об основе брака — о любви.

Статью сократили, выбросили самое интересное, по мнению Лены, место — историю, которую рассказала ей народный судья Залесского района Екатерина Степановна Чепурная.

Эта еще молодая женщина восьмой год работала народным судьей. Екатерина Степановна, желая помочь семье колхозника в оформлении брачных отношений, посоветовала, как обойти закон. «Хорошо ли поступила судья, дав такой совет? — спрашивала Лена. — По-моему, хорошо. Но, очевидно, и в самом деле не все благополучно в законе, если судье, призванному стоять на его страже, приходится искать путей для его обхода во имя простой человеческой справедливости».

Но и после сокращения статья заняла два подвала. Это была самая большая статья из всех, какие написала Лена за время своей работы в редакции.

10

Троллейбус, сыто урча, трусил привычной дорогой, притормаживая на перекрестках, чтобы плотнее прижать друг к другу заполнивших его людей и освободить место для новых пассажиров.

Павел стоял в проходе, уцепившись рукою за поручень.

Почему-то так выходит, — думал он, — что, как только наденешь новые туфли, тебе обязательно наступают на ноги? Очевидно, это потому, что когда на тебе старые — не замечаешь, что наступили. А новых жалко...

На нем были новые туфли, и новый дорогой светло-серый костюм из тонкой шерсти, и белая, впервые надетая сорочка, и туго затянутый галстук.

Еще вчера он был предупрежден, что его и других сотрудников лаборатории будет фотографировать корреспондент РАТАУ — Радио-телеграфного агентства Украины, а сегодня пленка навсегда запечатлела счастливое, растерянное и, говоря по правде, довольно глупое выражение его лица.

Все было отлично. Приближалось время проведения испытаний нового промотора в условиях высокого давления. Правда, не все пока получалось так гладко, как хотелось бы. В лабораторной установке в послед-

ние дни очень неустойчивы были результаты выхода азота, они непрерывно колебались. Но Павел не сомневался, что решение этого вопроса — дело ближайших дней.

— ...Так вы знаете Елену Санькину? — внезапно услышал он.

Всего предыдущего он не слышал. То есть до него доходили слова этой толстой, нарядной женщины, которая все время обмахивалась веером, с каждым взмахом обдавая пассажиров троллейбуса запахом крепких духов, но они до сих пор как бы скользили мимо сознания.

— Встречал пару раз, — ответил круглолицый человек с пробивающейся плешью в белесых волосах. — Старуха в очках. Никогда не подумаешь, что пишет в газетах.

Павел решил, что он ослышался.

— И откуда же она так хорошо все это знает? — сказал кто-то позади Павла. Лицо без подбородка. Толстые щеки. Огромный желтый портфель. — В нашей конторе точно такой случай: у человека четверо детей — четверо! — а он платит налог за бездетность.

— А интересно, — зло прищурилась, потрясая газетой, его соседка, блондинка с асимметричным нервным лицом, — есть ли у этой Елены Санькиной муж? И что бы она запела, если бы он сказал: я тебя больше не люблю, хочу жениться на другой.

— Статья правильная, — басом сказал военный летчик. — Я уверен, что после нее на это обратят внимание.

Павел еще никогда не слышал, чтобы в троллейбусе незнакомые между собой люди спорили о статье.

— Что это за статья? — спросил он у летчика.

— «О любви и... разводах». В сегодняшней газете.

— Нет ли у вас с собой газеты?.. Посмотреть...

— Пожалуйста... Но мне скоро выходить.

Павел успел прочесть лишь подпись под статьей и несколько первых строк.

Его так и подмывало сказать, что этот плешивый

парень врет, что он знаком с Еленой Санькиной и что она далеко не старуха. Но он сдержался.

...Все это было так безотчетно, так неопределенно, что, может, он сам бы этого не понял, когда б не Софья. Это она, Софья, ему сказала:

— Значит, у тебя кто-то появился...

— Да нет же, — ответил Павел, досадливо морщась. — При чем тут это? Просто — так дальше продолжаться не может. Понимаешь, каждый раз, как я подумаю об Олеге Христофоровиче — вернется же он когда-нибудь домой раньше, чем обещался... о сотрудниках лаборатории — ты думаешь, что они не понимают? — у меня все из рук валится...

— А почему раньше не валилось?

— Не знаю, — стараясь грубым тоном заглушить в себе жалость и сочувствие, сказал Павел. — Очевидно, все это накапливалось. Знаешь, как раствор гипосульфита в пробирке: сыплешь соль, сыплешь, вроде все по-прежнему, и вдруг в минуту в пробирке вместо жидкости — кристаллы.

— Что ж, дело твое. Я тебя силой удерживать не собираюсь и унижаться перед тобой тоже не буду. Хватит.

...Павел взглянул в окно. Внезапно он почувствовал, как у него сердце подпрыгнуло вверх, как на лапах. В троллейбусе, который шел навстречу, ему показалось, он увидел Лену.

А почему люди не могут быть просто друзьями? — думал он. Прежде он никогда не думал о дружбе с Софьей, но сейчас он чувствовал себя перед ней виноватым. А кроме того, они работают вместе, каждый день встречаются... Гадко...

Он все-таки здорово устал. Хоть недельку, хоть день просто ничего не делать. Не работать, не учиться, не читать.

Что бы он сделал прежде всего?.. Хорошо бы выпить как следует. Не спеша, небольшими рюмками пить холодную водку. Так, чтобы почувствовать, как где-то под ложечкой разгорается костер и теплые струи от него текут по телу, забираясь в руки, в ноги. Да, если бы было свободное время, он бы добряче выпил.

Первым делом. А вторым — постарался бы увидеться с Леной и побыть с ней целый вечер.

Он сейчас лицемерил перед собой. На днях он решил — сегодня у меня будет выходной. Вечером куплю водки и пойду, наконец, к Васе Заболотному. К Васе он не пошел, а отправился в редакцию. Лена сказала, что она «ждет полос», и ему пришлось чуть ли не два часа сидеть одному, рассматривая подвернувшийся под руку журнал «Физкультура и спорт». Затем они пошли в парк. Неловко улыбаясь, он говорил Лене, что много работает, что совсем не бывает на воздухе, а воздух, как говорят, очень полезен, и вот он зашел за ней, чтобы прогуляться.

По парку они ходили молча — Павел, который перед встречей с Леной хотел рассказать ей так много, почувствовал, что ему совершенно не о чем говорить. То есть ему очень хотелось сказать, как он рад, что увидал ее. Но как об этом скажешь?

Они сели на скамью. Неподалеку ребятишки, оставив мам, занятых обсуждением мод, окружили мальчонку лет четырех-пяти, совсем Буратино — и носик и голосок. В руке он держал улитку и пронзительно визжал: «Павлик-равлик, высунь рожки». «Павлик-равлик, высунь рожки!» — хором кричали дети.

— Павлик-равлик, высунь рожки, — сказала Лена, припрятав улыбку.

Павел так и не решился на это.

Снова они шли рядом. Павел почти не двигал руками. Он смотрел прямо перед собой, лишь изредка взглядывая на Лену. О чем она думала? И знала ли, о чем думает он?..

...Троллейбус, сухо пощелкивая, катил привычной дорогой, притормаживая на перекрестках, натыкаясь на непроходимую преграду — вспышку красного света — и поспешно устремляясь вперед, словно притягиваемый зеленым.

Лена стояла в проходе, опираясь рукой на спинку сиденья.

Пожилая женщина с тщательно завитыми седыми, чуть желтоватыми волосами, одетая в не по возрасту яркое платье, держала в руках газету и читала

подвал. Лена прошла чуть вперед, чтобы видеть лицо этой женщины и следить за его выражением. Но выражение лица было недовольное, скучное, и Лена снова протолкалась назад, чтобы посмотреть, какое место она читает.

Когда-то, когда Лена еще училась в школе, газета казалась ей немыслимым чудом. Откуда, в самом деле, журналисты знают, сколько слов и даже букв должно быть в статье, чтобы она точно поместилась на назначенном ей месте? А если это можно подсчитать, то как можно написать статью, чтобы в ней не было ни одного лишнего слова?

Теперь она сама уже отлично умела сокращать статьи и, только заглянув в газету, могла точно сказать, сколько строк в каждом материале. Но когда она увидела свою статью — два подвала, как два крыла, размахнувшиеся на газетных полосах, ей это снова показалось чудом. Ей очень хотелось обратиться к женщине, которая читала газету, с вопросом — нравится ли ей статья. Хорошо бы заговорить. Конечно, не говорить, что это она ее написала. А просто спросить: «Не скажете ли вы, что это за статья?»

— Не скажете ли вы, что это за статья? — спросила Лена горловым, напряженным голосом.

— Какая?

— Вот эта. «О любви и... разводах».

— Не знаю, — сухо сказала женщина. — Что-то такое против разводов... Я ее еще не читала. Вот тут — интересная заметка о перестройке промкооперации...

Лена отвернулась к окну.

Ничего, — думала она, — эта женщина еще прочитает статью. И как все, кто ее читал, станет на одну или на другую сторону. Но если она и будет возражать, все равно ей придется еще и еще раз подумать об этом и определить свое отношение к любви, к браку, к разводам. А может быть, в чем-то она и переубедится... Нет, — думала Лена, — нет в мире дела более интересного, чем работа в газете. И мне — повезло. Мне очень повезло, что я журналистка...

Внезапно она напряглась. Ей показалось, что в окне троллейбуса, который прошел мимо, был Павел. Она

поморщилась. В эти дни ей достаточно было увидеть рослого человека с коротко остриженными волосами на затылке, как ей казалось, что это Павел. Лена вспомнила, как перед фонтаном, похожим на большую, окрашенную серой масляной краской вазу для фруктов, ребятишки распевали: «Павлик-равлик, высунь рожки». Этот хорей звучал так призывно. Но хотелось ли этого же ей? Нет. Так лучше. Что она могла ему ответить?.. Они долго тогда шли молча. И уж лучше молчать, чем говорить неправду. Чем выдумывать. Чем принимать мимолетное за непреходящее. Лучше молчать, когда не знаешь, до сих пор не знаешь, сказала бы ты «да» или «нет».

11

Огонек прочертил в темноте медленную дугу и вспыхнул ярче. Павел стряхнул пепел.

Тахта, на которой он спал, стояла изголовьем к окну. В комнату с улицы падал красноватый свет — свет большого города, свет далеких электрических фонарей, а он лежал в темноте и курил последнюю папиросу. Это были пять минут, которые он оставлял себе, как бы ни хотелось спать.

По привычке он обдавал дымом огонек, и тот вспыхивал ярче, постепенно исчезая в клубящемся дыму, все больше подергиваясь пеплом.

— ...Выйдем, — предложил Лубенцов. — Все равно тут дело не на час и не на день. А пока — посмотрим... Жалко, не сообразил с собой бинокля взять.

— Пойдем, — устало согласился Павел.

Спутник пролетал над их городом. Над Киевом. Яркая маленькая звездочка, которая быстро, ровно и уверенно чертила свой путь меж звездами. Его видели все: и Лубенцов, и Павел, и шофер, который остановил машину против их института и с подножки грузовика восторженно махал фуражкой вслед спутнику, и эти рослые девочки в коричневых платьях и белых передниках, и мальчики в нелепых форменных пиджачках.

Вот он двигался, пущенный в космос спутник.

Газеты сообщили о новой победе человека над природой. Да, человек — может...

Но газеты ничего не рассказали о том, сколько неудач выпало на каждую удачу. Сколько людей не спало ночами, как не спит сегодня он, Павел, и искали ошибку и не могли найти. Интересно бы хоть приблизительно узнать, сколько они перепробовали вариантов.

— Я подсчитал, — грубовато и вместе с тем осторожно сказал ему Лубенцов.

— Что? — не понял Павел.

— Подсчитал все варианты. Если бы в нашем промоторе были две составные части, А и В, то они могли бы дать две комбинации: АВ и ВА; если бы было три части, то таких комбинаций можно получить шесть. Но при десяти частях можно уже составить три с половиной миллиона комбинаций. Если взять на каждый эксперимент даже по одному часу, то это получится...

— Иди ты знаешь куда, — сказал Павел.

— Да нет, я ничего, — смутился Лубенцов. — Я только люблю все подсчитать...

Странный парень, — думал Павел. Его, старшего научного сотрудника, кандидата химических наук, без пяти минут доктора, Месаильский поставил, по сути, помощником к Павлу, который и вообще-то еще не имел звания научного сотрудника. И вот Лубенцов работает так, словно ему это совершенно безразлично. Павел думал о том, что Лубенцов чересчур рыхлый. И добродушный. Ему не хватает жесткости. Да и где ей взяться у этого упитанного, не толстого, а именно упитанного парня, с круглым как луна лицом.

Сегодня в их лаборатории в сопровождении Олега Христофоровича появилась дотошная дама из Академии наук, которую Павел запомнил еще в бытность свою «уборщицей» в лаборатории Алексея, и черный худенький человек с черной бородкой лопаточкой и желтой кожаной папкой под мышкой. Он шел по тесному проходу меж столами на цыпочках, громко шепча: «Мы не будем, не будем мешать, мы на одну минутку...» Они просмотрели экспериментальный журнал и действительно скоро исчезли.

Как гоголевские крысы, — думал Павел. — Понюхали и пошли прочь. Он и сам не мог понять, почему его обеспокоил и разозлил этот визит.

Какое мне дело? — думал он.

Просто он уже привык к тому, что все, кто приходил в их маленькую лабораторию, обращались прежде всего к нему, что если с посетителями в лабораторию приходил Олег Христофорович, то он рассеянно замечал: «Об этом вам лучше расскажет Павел Михайлович Сердюк, которому принадлежит инициатива в этом деле».

А впрочем, какое все это сейчас имело значение?..

И ведь вначале как несчастье все это воспринял только он. Олег Христофорович улыбался с неожиданным добродушием.

— А как же вы думали? Я уже давно выступаю с предложением присвоить разделу химии, который занимается катализом, название — алхимия. Будет еще по-всякому с нашим промотором. Будет он и увеличивать выход азота. И уменьшать. У нас с вами еще все впереди.

Гораздо серьезнее отнеслась к известию о том, что промотор не действует, Марья Андреевна.

— Если бы вокруг всего этого было меньше нездорового ажиотажа, — сказала она, — я бы считала, что все развивается естественно и закономерно. Но сейчас потребуется настоящий скачок...

Этот «скачок» продолжался вот уже целый месяц. Так, должно быть, чувствовал бы себя человек, помещенный в оболочку спутника. Оттолкнулся ногами и повис в пространстве, и все стало невесомым. И оттого, что ты барахтаешься и протягиваешь руки то к полу, то к потолку, ты не сдвигаешься с места и висишь, висишь, и замирает сердце в предчувствии страшной беды: ты не знаешь, как приземлиться.

Прежде всего они взялись за очистку. Сначала они сменили крекер, в котором аммиак разлагался на азот и водород. Затем стали менять скруберы, сменили начинку колонок с хлористым кальцием и фосфорным ангидридом.

Павел чувствовал, как руководство работой все дальше уплывает из его рук, как оно переходит к Лубенцову и Софье. Особенно удивляла его Софья. С полуслова догадывалась она о замысле Лубенцова, с редкостным терпением и исключительной точностью проводила эксперимент за экспериментом. Она почти не выходила из лаборатории Тут же за столом наспех съедала бутерброды, которые им всем носила уборщица, запивала их чаем, а нет — так и просто водой, громко объявляла: «А вот теперь бы поспать» — и снова принималась за дело.

Все они сошлись во мнении, что промотор утратил активность под действием какого-то неизвестного им каталитического яда. И так как самая тонкая очистка и самые точные анализы ничего не обнаружили, то Лубенцов выдвинул теорию, что таким каталитическим ядом могла оказаться любая из составных частей промотора.

— Не нужно впадать в панику, — с неожиданной резкостью потребовал Олег Христофорович. — Очень прошу всех присутствующих, пока продолжается наша работа, ничего не говорить о трудностях, какие мы сейчас переживаем. Это может помешать нам. Может вынудить нас отложить эту работу — она у нас, в конце концов, не плановая, — и заняться делами более близкими... Но если мы приложим все силы, я уверен — выход будет найден...

Вечером он сказал Софье:

— Дело обстоит значительно хуже, чем можно было ожидать. Это почти безнадежное дело. У меня нет уверенности даже в том, что результаты, вокруг которых был поднят весь этот шум, — это результаты нового промотора... Как тебе, вероятно, известно, такие скачки бывали и прежде — с увеличением поверхности катализатора, в связи с ошибками в подсчетах и просто по неизвестным причинам. Это — катализ. Процесс, о котором мы знаем очень мало.

— Через две недели — выборы, — сказала Софья.

— Да, скоро выборы.

12

«... Начался пожар на Шполянской МТС. Десятиклассник Анатолий Таранец бросился помогать пожарным. Вместе с товарищами он выкатывал тракторы. Анатолий получил сильные ожоги и умер. На каждом уроке в десятом классе «Б» учитель, раскрывая журнал, чтобы сделать перекличку, говорит:

— Анатолий Таранец.

И лучший ученик класса отвечает:

— Погиб смертью храбрых.

Анатолий спасал общественное имущество».

«...В нашем селе в 1901 году было проведено санитарно-экономическое обследование. При этом было обнаружено, что только в трех домах из ста нет тараканов. Потому что им нечем кормиться. На их долю не оставалось ни одной крошки. Наши комсомольцы тоже решили провести санитарно-экономическое обследование. Тараканов нашли в четырех домах из ста обследованных. Но и здесь после нашего прихода их истребили».

«Перворазрядник Тертерян техничней Глущенко. Но он перед состязанием встречался с девушкой и проиграл по очкам...»

«...Если вы на улице Ватутино бросите окурок, обязательно найдется человек, который или демонстративно подымет его и бросит в урну, или предложит это сделать вам...»

Лена закрыла тетрадь. Из писем, поступавших в редакцию, она делала выписки. Без всякой системы. Сейчас она разыскивала выписку о Ватутино. С нее она собиралась начать свою статью.

Прежде она, когда бывала в командировке, собрав материал, торопилась домой, затем несколько дней по кусочку писала статью, переписывала, переделывала, звонила по телефону в город, где только что побывала, — оказывалось, что самого главного, именно того, без чего статья не получится, она и не выяснила.

Теперь она не возвращалась из командировки, пока не дописывала всей статьи до последней строчки.

И сейчас она сидела в маленьком, похожем на коробочку из-под чая, номере гостиницы в Ватутино и пыталась так связать записи и наброски из своего блокнота, чтобы получилась статья. Она подвинула к себе лист бумаги и переписала из блокнота:

«Есть в городе Ватутино добрый и спокойный великан. Зовут его — Аким Кузьмич Соколенко. Как человек стал великаном?

Аким Кузьмич родился недалеко от Ватутино, в селе Кириловке, ныне Шевченково. Он долго работал на Донбассе. Шахтером. Затем сменил врубовку на ручной пулемет. Началась война. После войны восстанавливал шахты и работал на них. И учился.

Сейчас Аким Кузьмич достиг 85-метровой высоты. Весу в нем тоже ни много ни мало — восемь тысяч тонн. Работает он за двенадцать тысяч человек, загребая за раз вагоны породы и отбрасывая ее чуть ли не за полкилометра.

Аким Кузьмич — машинист транспортно-отвального моста. А так как он сам постоянно говорит: «У меня неисправен ковш...», или «Мне будут менять ленту...», или «У меня перематывают обмотку», как иные говорят: «У меня болит живот», то и мне, рассказывая о нем, трудно отказаться от этой его манеры.

Так вот, когда Аким Кузьмич говорит «у меня», знайте, что он имеет в виду отвальный мост. А когда говорит «у нас» — он имеет в виду Ватутино.

— У нас глицинии растут. Видели? — не скрывая торжества, сказал Аким Кузьмич. — Нет? Ну, это растение такое, с синими цветами».

Теперь — о цветах, — подумала Лена и окинула взглядом свой номер, — может быть, единственную комнату в Ватутино, где не было цветов.

«В Ватутино много цветов, — продолжала она. — В каждом доме. Цветы выращиваются и в городских оранжереях. И на предприятиях. И деревья, масса деревьев. В парке, во дворах, вдоль широких прямых улиц. Над некоторыми улицами сомкнулись кроны. Они походят на зеленые туннели.

Ватутино — город горняков. Новый центр буроугольной промышленности Украины. В шахтах и на

Юрковском разрезе (открытым способом) добывают бурый уголь, а брикетная фабрика прессует его в серебристые кирпичики.

В этом году городу исполнилось десять лет. Если вы побываете в этих местах, вам покажут деревья, которые много старше города».

Так она подошла к тому, что показалось ей особенно удивительным.

«Как-то недавно нужно было спилить полузасохший осокорь, — переписала она из блокнота рассказ одного из работников горисполкома. — Вдруг зубья пилы резко заскрежетали, обломились. В стволе, почти в сердцевине, застрял кусок стали с грубо оборванными краями. Дерево было ранено».

Она приложила к подбородку конец ручки. Удивительно. Почему не полна радость от того, что она узнала в Ватутино так много интересного?.. Так в последнее время было во всем. Бабье чувство, когда не хочется надевать нового платья — без него. И когда все интересное, что ты увидела, жалко смотреть — без него. Она раскрыла тетрадь с выписками, какие сделала еще в Киеве, и продолжала:

«Здесь, на этой земле, развернулась в войну знаменитая Корсунь-Шевченковская битва. Потому и назвали новый шахтерский город именем генерала Ватутина.

Многие видели эти степные места. Об этом крае писал поэт:

Скажи мне, Украйна,
Не в этой ли ржи
Тараса Шевченко
Папаха лежит?

Здесь Шевченко провел свое тяжелое детство, на этой земле рождались и умирали герои его замечательной поэмы «Гайдамаки». На этих полях, вокруг нынешнего Ватутино, в 1768—1772 годах дралась крестьянская голытьба с польскими панами. Это грозное восстание известно в истории под именем «Колиивщина». Во главе его стояли Железняк, Гонта и Неживый.

Любят ли ватутинцы свой город?

— У нас такой город, что из него никто не уезжает, — говорит Аким Кузьмич. — Как приедет человек — так уж навсегда и остается ватутинцем».

Она вспомнила, как Аким Кузьмич уговаривал ее пожить в Ватутино подольше, и подумала, что постарается завтра уехать.

Она писала в газете о любви. Статья, в которой она защищала право людей любить друг друга и призывала пересмотреть закон, который не всегда учитывает чувства людей, сделала ее имя известным широкому кругу читателей. Но лишь теперь, впервые в жизни, она поняла, что любовь действительно существует. Что ради нее можно пойти на многое. Что писатели не выдумывали, когда писали об этом.

Как непохоже было то, что она чувствовала сейчас, на то, что она пережила в своих отношениях с Алексеем, с Максимом Ивановичем... Перед отъездом в командировку она была готова просто пойти и предложить себя Павлу. Свою жизнь. Свою любовь. Свою верность. Себя. Она так бы и сделала, если бы не боялась, что это его отпугнет. Что он не поймет ее и плохо о ней подумает.

Сколько раз она, как всякая женщина, предлагала себя мужчинам — своей улыбкой, своим тоном, своим платьем... Но здесь — все было иначе...

Она перевернула страницу в блокноте и заставила себя продолжать работу.

«...В самом центре города — Дворец культуры имени Ленина. К нему примыкают парк и стадион. Во Дворце культуры работают: хоровой коллектив, вокальный, драматический, художественного слова, хореографический, духовой, школа кройки, вязания и шитья. Спортивные секции: легкой атлетики, баскетбольная, волейбольная. Для детей — балетная студия, музыкальный и хоровой кружки, кружок «умелые руки», акробатический, фотолюбителей.

И везде люди. Везде аншлаг. На лекциях. В кружках. В библиотеке. В зале. В репертуаре драматического коллектива (как-то не поворачивается язык назвать его кружком) — «Назар Стодоля» Шевченко, «Макар Дубрава» Корнейчука, «Женитьба» Гоголя,

«Мироед, или Паук» Кропивницкого, «Таня» Арбузова, опера Лысенко «Наталка-Полтавка». И везде успевает побывать и со всеми успевает поговорить веселый и вспыльчивый директор Дворца культуры Владимир Бердников. Сейчас он торопит бандуристов:

— Пора, пора кончать, товарищи, — двенадцать часов.

Ярко освещенные улицы. Звонкий женский смех. Басовитые голоса мужчин. Люди выходят из Дворца культуры. Вот они уже дома — вспыхивают розовые, голубые, зеленые окна.

Я возвращалась к себе парком. Передо мной шла пара — юноша в узеньких брючках и яркой рубашке навыпуск и девушка с коротко подстриженными волосами.

— Как мне надоело это Ватутино, — говорил юноша девушке. — Каждый день одни и те же люди, одни и те же разговоры... Бежать отсюда — хоть на Северный полюс. Я здесь задыхаюсь.

— Да, да, — соглашалась девушка. Всей душой она сочувствовала юноше, теснее прижималась к нему, заглядывала в лицо.

— Я написал об этом стихи. Хочешь, прочту?

Конечно, она хотела услышать эти стихи, и юноша стал их читать, слегка подвывая на окончаниях строк и, несомненно, подражая в этой своей манере чтения одному из маститых украинских поэтов. Я не запомнила всего стихотворения. Но начиналось оно так:

Я сегодня немного жесток —
Бурый уголь и синий цветок...

Далее из стихов явствовало, что бурый уголь — это все окружающее, а синий цветок, или, по-научному, глициния, это он, поэт. Судя по восторженной оценке, какую дала стихам девушка, она целиком разделяла эту точку зрения автора.

А затем я услышала звук, который в словаре русского языка С. И. Ожегова определяется как «прикосновение губами к кому-чему-нибудь как выражение привета, любви, ласки, уважения», — и свернула в боковую аллею».

Теперь о поэтах, — подумала Лена, — а затем, а лишь затем о Бондаренко.

«Разумом я понимала, — писала она, — что среди населения Ватутино имеется какой-то процент (может быть, незначительный) людей, которые никогда не пишут стихов. Но уж как-то так сложились обстоятельства, что все, с кем я тут встречалась, оказывались поэтами. Хотя некоторые стеснялись этого и поначалу скрывали свою приверженность к стихам. Большинство стихов было посвящено городу Ватутино.

Молодой инженер Освальд Сапер считает себя коренным ватутинцем. Его произведения в большинстве своем — простые, взволнованные стихи, написанные человеком, искавшим самую убедительную, самую возвышенную форму для выражения своих заветных мыслей, своих горячих чувств.

Вот как говорил он о Ватутино:

Город нашей мечты! Город гордости нашей!
Ты для сердца шахтера как сын дорогой!
Как родная страна, ты все краше и краше
Поднимаешься в славе своей трудовой.

Стихи о Ватутино местного учителя Якова Иващенко в городе переложили на музыку и поют как песню.

Электрослесарь Виктор Котенко — местный Ювенал. Злых его эпиграмм недаром остерегаются. Они привязываются к человеку, как репей, и долго потом их повторяют в городе.

Не знаю, пишет ли стихи председатель городского Совета депутатов трудящихся, но о городе Ватутино он говорит как поэт:

— Пройдемте по городу. Вы увидите улицы Горького, Лермонтова, Франко, Коцюбинского, Островского...»

Лена перечла все, что написала. Длинно, — подумала она. — Очень. Придется сократить. А сейчас — о Бондаренко. Пора. Она взяла чистый листок и улыбнулась довольно злорадно.

«Если в вашем номере гостиницы, — написала она, — сначала раздается робкий, так сказать, шепо-

том, стук в дверь, затем просовывается плотно набитая папка, а лишь после этого появляется человек, — так и знайте, что к вам пришел поэт. Если это человек пожилой, если он плотно усаживается в кресле и придвигает к себе графин с водой, не выпуская папки из рук и прижимая ее к груди, — знайте, что это начинающий поэт. И что он не покинет вас до тех пор, пока не прочтет всех — до одного! — стихотворений, которые заключает толстая папка.

Я сделала робкую попытку:

— Может быть, вы оставите папку? А я за ночь все прочту. И завтра поговорим...

— Нет, — обиделся посетитель. — Зачем же такой бюрократизм? Живой человек важнее любой бумаги. Я сам прочту...

Он медленно развязал тесемочки папки и стал стопочкой складывать на столе протоколы и справки, оригиналы и копии писем и жалоб, почтовые квитанции и вырезки из газет.

Увы, человек этот не был поэтом.

— Бондаренко. Техник по образованию и специальности, — отрекомендовался посетитель. — Был на административной работе. Сейчас я единственный в Ватутино безработный.

Без работы он остался потому, что «выводил их на чистую воду».

Обстоятельно, подтверждая свои слова заявлениями и копиями, посетитель рассказывал о том, как его преследуют:

— Несмотря на то что я вскрывал и сигнализировал, благодаря попустительству администрации, профсоюзной и партийной организации и также прокуратуры, до сих пор не приняты меры в мою защиту. Рука руку моет... Меня оклеветали... Вот документы. Я обращался в областную газету. Она прислала корреспондента. Но он не разобрался. Он связался с работниками треста и участка. А там — подхалимы и нарушители социалистической законности. Я писал в вашу газету. Вам я доверяю. Вот мое новое заявление в редакцию. Распишитесь на копии, что вы его получили.

Я расписалась на копии.

— А кто, кроме вас, может объективно рассказать об этом деле?

Посетитель надолго задумался, а затем нерешительно сказал:

— Секретарь райкома партии. Товарищ Мищенко.

— А еще кто?

Посетитель снова задумался, взвесил, сравнил и, наконец, решил:

— Других подходящих людей тут нет.

Это облегчило мою задачу. Секретарь райкома Семен Николаевич Мищенко, как только я к нему обратилась, спросил, не по жалобе ли я приехала, и сразу назвал жалобщика. Оказалось, что за последнее время в Ватутино побывало немало людей, командированных для разбора жалоб Бондаренко.

— Хорошо бы написать об этом человеке в газете, — сказал секретарь райкома. — С работы он был снят по требованию коллектива, в котором работал, за попытку использовать служебное положение в очень неблаговидных, в очень постыдных целях. По решению профсоюзного собрания он был исключен из профсоюза. И все же мы ему предложили работу в другом месте. Правда, уже не начальником участка, а мастером. А он хочет во что бы то ни стало вернуться туда, откуда был уволен по требованию коллектива...

Во всяком случае, из слов секретаря райкома я поняла, что Бондаренко не принадлежал к тому незначительному числу людей, которые хотели покинуть Ватутино. Наоборот, Ватутино хотело, чтобы он его покинул».

Лена вспомнила Бондаренко, его короткую шею, угрюмое лицо и чересчур развитую нижнюю челюсть. Все это было не так, как она написала. Или не совсем так. Она знала о Бондаренко заранее. Была послана в командировку по его письму и разговаривала с ним по телефону до того, как он побывал в гостинице. Но ей казалось, что так будет лучше. Литературнее.

«...Праздничным фейерверком взлетели и рассыпались искры, — писала она. — Сварщик в брезентовой робе, опустившись на колено, сваривал трубы.

— Хороший сварщик, — сказал мне начальник строительного участка. — Способный парень. Но уходит от нас. Решил поехать в Кременчуг на строительство гидроэлектростанции.

Искры погасли. Сварщик оторвал электрод от металла, отбросил маску, встал и подошел к начальнику участка. Голос его показался мне удивительно знакомым. Без сомнения, это был тот самый «синий цветок», который не находил себе места среди «бурого угля».

Я познакомилась со сварщиком. Звали его Василий Белов.

— Да, уезжаю, — рассказал о себе Василий. — Неинтересно мне тут. Другое дело — когда мы брикетную фабрику строили, ТЭЦ. Горячие, боевые, можно сказать, дни. А сейчас все построено. Тихо стало, спокойно. Такая жизнь — не по мне. Пока молодой...

Василий провел рукой по лбу. Он выглядел смущенным. А смущаться, собственно, следовало мне. Ведь это я подслушала чужую беседу. И приняла поэта и романтика, в увлечении способного на несправедливое суждение, но до конца искреннего в этом своем увлечении, за жалкого «стилягу»...»

Она еще не знала, получится ли статья из того, что она пишет. Ей казалось — не получится. И тогда все придется писать сначала. Так бывало не раз. Но это не страшно. Если бы только Павел думал о ней, как она думает о нем. Каждую минуту...

13

— Это уголовщина, — решил Олег Христофорович.

Они стояли у самой двери его кабинета, кабинета ученого, для которого внешний вид не играет никакой роли — шкафы были заполнены химической посудой и книгами, на столе в беспорядке измерительные приборы и бумаги. Олег Христофорович придерживал рукой дверь, так что если бы кто-либо захотел войти, Олег Христофорович скорее оказался бы в коридоре, чем отпустил дверную ручку.

— Это — уголовщина, — повторил Олег Христофорович.

— Это его больше привяжет... к нам, — сказала Софья.

— Ты думаешь, что так он недостаточно привязан... к нам? — рассеянно спросил Олег Христофорович.

Софья этого не слышала. Сейчас она не могла позволить себе это услышать. Еще будет время. Но сейчас не до этого. Она взялась за дверную ручку, невольно избегая соприкосновения с рукой мужа.

— Очень сложно, — сказал Олег Христофорович. — С одной стороны... С другой стороны...

Он так и не сказал, что «с одной» и «с другой» стороны.

— Ладно, — сказала Софья. — Пропусти меня.

Ей было отлично известно, что имелось «с одной» и «с другой». Сразу после появления в газете статьи Ермака кандидатура Олега Христофоровича была выдвинута в академики республиканской академии. Через неделю — выборы. И если бы не приезд Сергеева.

Это не страшно, что с промотором сейчас ничего не получается. То есть лучше бы сразу получить результаты. Но так не бывает. Важно было другое. Важно было поднять шум. Отдел уже давно топтался на месте. Чтоб о работе отдела заговорили. Чтобы до выборов — никаких сомнений, никаких штучек... Академик Петренко идет в отставку. И, очевидно, институт примет Олег Христофорович... Если бы только не Сергеев... Принесло его, — и Софья добавила несколько слов, совершенно невообразимых в устах женщины. В мыслях она иногда употребляла такие выражения. Пусть бы приехал любой из членов Государственного комитета по химии. Только бы не Сергеев...

Сергеев не был химиком. Машиностроитель, бывший директор крупного предприятия по производству химического оборудования, он был известен одним и тем же вопросом, который он задавал своим скрипучим голосом человека раздражительного и недоброго: «Когда это будет внедрено в производство?» О нем

говорили, что у него «мания внедрения», как у иных бывает «мания преследования»... У него была удивительная память — он мог безошибочно назвать тему и сроки ее внедрения в плане не только крупного химического института, но и заводской лаборатории, и уж он не молчал, если сроки нарушались. Рассказывали, что он не имел референтов. Он все помнил сам. И надо же было, чтобы он приехал к выборам...

Лицо Софьи, пока она спустилась этажом ниже — от кабинета Олега Христофоровича до лаборатории, — сохраняло безмятежную улыбку. Сейчас оно приняло встревоженное и озабоченное выражение, как у человека, узнавшего о чем-то очень неожиданном и опасном. Она резко распахнула дверь. В лаборатории были только Павел и Лубенцов. Из сосуда Дюара они переливали жидкий воздух в новую, дополнительную ловушку влаги.

— Приехал Сергеев, — сказала Софья. — Сегодня будет у нас.

— Какой Сергеев? — спросил Павел.

— Из комитета.

— Ох и даст же он нам духу, — покрутил головой Лубенцов так, что нельзя было понять — то ли он испуган тем, что «даст духу», то ли восхищен этим.

Софья вписала в экспериментальный журнал дату и номер, и они молча приступили к очередному эксперименту. Софье не терпелось хоть на минутку выдворить из лаборатории Лубенцова, но она не могла подыскать предлога. И когда Лубенцова позвали к телефону, а телефон находился в конце коридора, она подумала, что Лубенцова мог бы вызвать и Олег Христофорович. Если бы она попросила об этом. А впрочем — так лучше.

— Я хотела сказать тебе несколько слов, — сказала она.

— Только не сейчас, — ответил Павел, как человек, который ожидал этого разговора.

— Я не об этом, — презрительно усмехнулась Софья. — Ты знаешь, кто такой Сергеев?

— Знаю, — буркнул Павел.

— И знаешь, зачем он приехал?

— Знаю. Внедрять.

— Внедрять пока нечего. И боюсь, не будет и позже. Он приехал закрыть нашу работу. Как безнадежную.

Павел молчал. Таким его Софья еще не видела. Он повернулся к ней спиной, и ей показалось, что он запихивает в рот кулак.

— Ну и пусть, — сказал он хрипло, не поворачиваясь.

— Есть лишь один выход, — сказала Софья и умолкла, ожидая вопроса.

— Какой? — не скоро спросил Павел.

— Не лучший, но выход. Он любит все пощупать собственными руками. Он придет в лабораторию. Так вот — дать обогащенную смесь. И получить в реакторе — хоть на шесть процентов больше.

Павел покачал головой...

— Пойми же, ведь прежде получалось. Неужели ты хочешь, чтобы работу закрыли?.. Ведь ты — только этим живешь. Что у тебя останется?..

— Ты Олегу Христофоровичу говорила об этом?.. Только правду.

Софья минутку колебалась.

— Да, — сказала она.

— И что же он?

— Не говорит ни да, ни нет. Как всегда.

— Хорошо. Я подумаю.

— Думать — поздно. Думать прежде надо было...

Остальное Софья произнесла уже в уме.

...Сухое, нездоровое лицо Сергеева с влажной слипшейся прядью на лбу сохраняло непроницаемое выражение. Но, по-видимому, экспериментом, проведенным у него на глазах, он остался доволен.

— Почему такие скачки? — спросил он у Павла.

— Не знаю, — ответил Павел. — У нас...

— На этот вопрос мы пока затрудняемся ответить, — перебил его Олег Христофорович. — Вы ведь сами знаете: катализ — это алхимия. Над этим мы сейчас работаем. И дело продвигается, можно считать, успешно.

— Когда это можно будет внедрить в производство?

— Мы надеемся, что в скором времени...

— А я вам советую прямо сейчас передать ваш промотор производственникам. Вот хоть на одиннадцатый завод. А там, в процессе освоения, вся эта наука и выяснится... Вот так, как говорится, в тесном содружестве, дело и пойдет на лад. Вы небось тоже готовы меня делягой обозвать, — обратился он к Павлу, который смотрел на него со странным выражением растерянности и упрямства И, отвечая уже не приписанным им Павлу словам, а каким-то другим людям, он продолжал резко и зло: — Да, я деляга... Я в цирке видел, как у человека изо рта шелковую ленту вытягивают. Но заводов, на которых бы вытягивали шелковую ленту изо рта у рабочих, я еще что-то не встречал. А то, что мне в лабораториях показывают, — часто похоже на такого фокусника. В лаборатории — тянут изо рта, — повторил он полюбившееся ему сравнение, — а на заводах по старинке станки грохочут...

Павел покраснел, втянул голову в плечи.

— Вы не обижайтесь, не о вас говорю. Но промотор — ускоритель по-русски. А у нас с вами задача ясная. Коммунизм. И для этого нам много промоторов понадобится...

Когда провожали к выходу Сергеева, Олег Христофорович сел на своего любимого конька — гетерогенный катализ. Он рассказывал о том, как в свое время посрамил американцев. Павел еще раз увидел, как на лестничной площадке Олег Христофорович с отсутствующим выражением лица стал рыться в карманах, нашел кусок мела и начал торопливо писать на стене формулы. Он утверждал, что необходимо изменить грануляцию железного катализатора.

Сергеев и здесь остался верен себе.

— А почему это до сих пор не внедрено в производство? — спросил он скрипуче.

Когда Павел возвратился в лабораторию, там был только Лубенцов. Он крутил ручку арифмометра, пересчитывая результаты последнего эксперимента.

— Черт его знает что, — весело сказал он Павлу. — Опять прибавка. Ничего не поймешь. Давай снова пропустим аммиак. И сравним...

— Не нужно, — сказал Павел. — Прибавки не было.

— Что значит — не было?

— Я дал обогащенную смесь. Сергеев приехал закрыть нашу работу. Ты только никому не говори...

Лубенцов странно выпятил губы.

— Ты что — с ума сошел?

Павел стоял перед ним насупленный, мрачный, готовый на все.

— Подожди... Давай подумаем... Давай догоним Сергеева...

— Зачем?.. Какая разница? Ведь прежде мы получали такие результаты? Так какая разница?

— Ты сошел с ума! — рявкнул Лубенцов.

Он лез на Павла с кулаками — нелепый, как человек, который никогда не дрался, и Павел схватил его за руки, а он вырывался и кричал:

— Сумасшедший! Сумасшедший! Что ты наделал!

Он оттолкнул Павла, бросился к двери, но сейчас же вернулся.

— Дурак! Ты не себя подвел! Ты нас подвел! Зачем ты это сделал?..

Павел молчал.

— Ну, вот что... — сказал Лубенцов спокойнее. — Тут молчать нельзя. Хорошо, что ты хоть сразу сказал. Сейчас соберем коммунистов и решим, что делать...

— Не нужно, — попросил Павел.

— Что — не нужно?..

...Она знала, что он дурак. Но она не думала, что он настолько дурак. Если бы она могла предположить, что он может сказать... И кому? Лубенцову! Если бы она знала... Я — сволочь, — думала она о себе. — Я должна была знать. Всем было бы лучше. В тысячу раз. И он не стоял бы сейчас перед нами и не говорил бы, что ошибся... Этим сиплым голосом, таким не похожим на его голос... Что с его голосом? Сейчас он скажет обо мне, — подумала Софья и заметила, как

напряглись синеватые пальцы Олега Христофоровича. — Нет, не сказал. Хоть на это хватило ума. Но не сказал ли он с перепугу Лубенцову? Что знает Лубенцов? Почему он так смотрит? Нужно выяснить. И ни малейшей ошибки. Больше нельзя ошибаться. Я должна выступить первой.

— Я хочу сказать несколько слов, — попросила она взволнованным голосом, и ей предоставили слово. — Я считаю себя косвенным виновником этого ужасного случая. Я сказала товарищам Сердюку и Лубенцову, что приехал Сергеев. — Она посмотрела на Лубенцова, и он согласно кивнул головой, подтверждая ее слова.

Хорошо, — подумала Софья и отерла платком внезапно взмокший лоб. Было жарко. — Значит, он еще не сказал. Это самое главное. Хорошо, что он еще не сказал. Теперь уже не скажет.

— Если бы я промолчала, — продолжала она, — всего этого конечно бы не случилось. Но я никогда не могла предположить...

Мягче, мягче, — подумала она. — Спокойнее. Чтобы он не обозлился. Чтобы не опомнился.

— ...не могла предположить, что такой несомненно талантливый молодой научный работник может поступить так легкомысленно...

Павел посмотрел на нее исподлобья и снова опустил глаза.

Еще мягче, — подумала Софья. — Мягче стелить...

— Но объяснение этого я вижу совсем в другом. Мы живем с товарищем Сердюком в одном доме. И мне лучше, чем другим, известна его жизнь. Учеба. Работа. Знают ли присутствующие, что он за четыре года ни разу не отдыхал? Что он постоянно недосыпает? Что он курс института закончил за три года экстерном?.. Понятно, что нервная система товарища Сердюка в очень тяжелом состоянии. К этому нужно добавить большую работу и целый ряд неудач — я хочу сказать, временных неудач — в разработке научной темы. Уже одно то, что он сразу же сказал о своем поступке товарищу Лубенцову, свидетельствует

не о злом умысле, а о нервном толчке, о нервном импульсе, который принял такую, как бы это выразиться, — странную форму...

Хватит, — подумала Софья. — Хватит. Не зарываться.

— Конечно, я вовсе не хочу оправдывать возмутительного, недостойного для научного сотрудника поступка товарища Сердюка. Но я хочу, чтобы, рассматривая вопрос, от которого зависит дальнейшая судьба человека, мы глубоко, всесторонне разобрались во всем.

Слово взял Курбатенко — и это было очень хорошо. Все шло, как нужно. Софья работала прежде в его отделе. Он ее не любил. И это тоже было очень хорошо. Он обрушился на Софью. Сказал, что не может понять такого подхода. Нервы. Он фыркнул. Сердюк совершил преступление. Научный работник не может совершить большего преступления, чем подделать результаты эксперимента. Сделано это с умыслом. Чтобы обмануть члена Государственного комитета. Он не верит теперь и всем прежним данным. Они точно так же могли быть подтасованы. Все это нуждается в серьезной проверке. Такому человеку, как Сердюк, нельзя доверить научной работы. Такой человек не может состоять в партии.

Все, — подумала Софья. — Теперь — точка. Теперь — пусть рассказывает.

Она искоса взглянула на Павла. Лицо у него было грязно-серым, как у человека, который долго не умывался..И все-таки... И все-таки что-то такое было в этом лице Еще никогда не казалось оно ей таким красивым.

Дурак, — думала Софья. — Тупица. Нет, это я дура. Зачем я ушла? Десять минут. Десять минут — и все было бы закончено. Нужно было не оставлять его ни на минуту...

А если бы у нас было все по-прежнему, — думала Софья. — Я бы его... предала?.. Нет. Ни за что, — ответила она себе. Она солгала. Даже себе. И знала это. Она предала бы его при всех обстоятельствах...

Рано, — подумала она. — Рано. Не спеши, — и показала глазами — сядь. Но Олег Христофорович поднялся.

Он каялся. Говорил, что недосмотрел. Рассеянность. И вот результат. Он не может во всем согласиться со своим уважаемым коллегой. Некоторые опыты проводились под его непосредственным руководством. К этой теме был прикреплен лучший специалист отдела, старший научный сотрудник Лубенцов. Секретарь партийной организации. Но, конечно, проверка будет проведена самая тщательная. Что же касается Сердюка, то он вынужден просить руководство института, чтобы его отстранили от работы. Во всяком случае, он, Олег Христофорович, с таким человеком больше работать не сможет...

Правильно, — думала Софья. — Коротко и правильно. Но дома... А что дома?.. Она знала, что дома об этом не будет сказано ни слова. Они и так понимали друг друга. Может быть, в этом и состоит семейное счастье?

Софья быстро, искоса взглянула на Павла. Ей показалось, что он улыбается. Идиотской, извиняющейся улыбкой человека, у которого в обществе заболел живот. Она посмотрела внимательней. Нет, он не улыбался. Просто у него дрожали губы.

Лишь бы он не заплакал, — подумала Софья. — А впрочем...

Павел глотнул и посмотрел мимо нее.

Но это еще не все, — зло прищурившись и сразу же прикрыв глаза рукой, подумала Софья. — Что ты скажешь Марье Андреевне?

Что я скажу Марье Андреевне? — думал Павел. — Что я скажу Марье Андреевне?..

14

Он шагал по улице, длинной и тоскливой, как неореалистический фильм.

Ветер мел по мостовой пыльные тополевые листья и наполнял улицу горячим тошнотворным запахом пропитанных гноем бинтов, и Павел не знал, откуда

этот запах, и ему казалось, что он подходит к горлу откуда-то изнутри.

На этой улице почему-то соорудили пенициллиновый завод, и он отравлял воздух.

Навстречу шла рота солдат со свертками — белье и полотенца. В баню, — подумал Павел.

Солдаты весело пели: «Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами...»

В винном магазине пожилая, похожая на библиотекаршу или учительницу продавщица вставляла горлышки бутылок в машинку, прикрепленную к прилавку, опускала рукой рычаг, и машинка с глухим хлопком извлекала пробку. Павел вошел в магазин в часы «пик», как раз когда люди возвращались с работы и заходили «прополоскать горло» перед обедом. До него в очереди к прилавку стояло человек десять. Продавщица работала медленно, несколько раз он порывался уйти, но дождался своей очереди и спросил коньяка.

— Коньяка нет, — привычно ответила продавщица.

— К сожалению, — сказал человек из очереди. — Придется взять «Надднипрянского».

— Дайте и мне стакан «Надднипрянского», — сказал Павел.

Продавщица открыла бутылку.

— А как она работает... машинка эта ваша? — не утерпел Павел.

— Вынимает пробки, — ответила продавщица. — Платите, не задерживайте.

Павел взял свой стакан и отошел в сторону.

Человек в синем бостоновом костюме с лоснящимися лацканами и рукавами, с узеньким галстуком, тесно стягивающим воротничок несвежей сорочки, пояснил Павлу:

— Это — пробочник. Штопор.

— Какой там штопор, — отпив глоток кислого вина, возразил Павел. — В пробках не остается дырок.

— А в самом деле, — согласился собеседник Павла. — Быть может, пневматика? — И, протянув Павлу маленькую сухую руку с грязными ногтями, представился: — Константин Георгиевич Баль.

— Сердюк.

— «Наддніпрянское», — хмыкнул Константин Георгиевич. — Я купил лимон, — он вынул из кармана крупный плод и сейчас же спрятал его снова. — К коньяку. Но борьба с алкоголем приобретает все более жестокие формы. Сначала запретили продавать водку до десяти часов утра, то есть в то время, когда человеку особенно хочется опохмелиться. Теперь отказались от продажи коньяка на розлив. Трудности. Всюду — трудности. Но мы их преодолеем.

К ним подошел толстый лысый человек в сверкающем свежим крахмалом полотняном костюме. От него сильно пахло пряными женскими духами.

— А где ваша Леда? — не здороваясь, обратился он к собеседнику Павла и, зажмурившись, отхлебнул из своего стакана.

— Отправилась к тому... «кто создал эти нивы, и вас, малюток, и меня».

— Скончалась! — воскликнул человек в белом костюме.

— Увы.

Константин Георгиевич улыбнулся, но Павел заметил, что уголки губ у него нервно дернулись.

— Жаль, жаль, — вздохнул человек в белом костюме. — Такая собака была. — И, обращаясь к Павлу, пояснил: — Овчарка. Высотой до прилавка. Каждый день, в любую погоду, вот он, — он показал толстым подбородком на хозяина покойной овчарки, — утром выходил со своей Ледой на прогулку. Ровно в девять часов подходил к киоску возле площади Толстого, покупал двести граммов водки и пирожок с мясом. Водку выпивал, а пирожок отдавал Леде. Часы можно было проверять. А теперь ни собаки, ни водки в киосках. Поневоле начнешь пить столовое вино.

Константин Георгиевич вынул из кармана резиновый кисет и прямую трубку с тремя серебряными кольцами на черном мундштуке. Он погрузил головку трубки в кисет и, уминая табак указательным пальцем, набил ее. Затем, водя горящей спичкой над головкой, стал раскуривать трубку. Запахло дорогим медовым табаком.

— Граждане, здесь курить запрещается! — строго сказал милиционер, который уже давно без дела стоял в магазине.

— А знаете ли вы, кто такой Рейнер Мария Рильке? — высоким петушиным голосом спросил у милиционера Константин Георгиевич.

Милиционер посмотрел подозрительно.

— Это ваше дело, гражданин Рильке, кто вы такой. Но у нас есть товарищ Давыдов — председатель горсовета. И есть за подписью товарища Давыдова обязательное постановление. И по этому обязательному постановлению — прошу вас покинуть помещение.

Константин Георгиевич вынул из кармана лимон, посмотрел на него и снова спрятал.

— Пойдемте, поищем коньяка, — предложил он Павлу.

Только просматривая меню, Павел понял, как ему хотелось есть. В ресторане было душно. Пахло жареным луком. Свободных мест было мало, и за их столик сразу же села пожилая крестьянка с орденом Ленина на лацкане черного жакета и в белом платочке, надвинутом на самые брови.

— Что вы будете есть? — спросил Павел у Константина Георгиевича.

— Я собирался пить, а не есть. Кроме того — у нас лимон.

Просмотрев меню, он заказал крабов и жареные мозги.

— Я надеюсь, что вы не воспримете как обиду мое предложение выпить с нами рюмочку коньяку? — обратился Константин Георгиевич к соседке. И тотчас же попросил официантку: — Еще одну рюмку.

Женщина посмотрела на него озадаченно и серьезно ответила:

— Отчего не выпить.

— А пока разрешите закурить.

— Закуривайте, — впервые улыбнулась соседка.

Константин Георгиевич налил коньяк в рюмки и чокнулся с Павлом и с соседкой.

— За ваше здоровье, — сказала она, пригубила коньяк, поморщилась и отодвинула рюмку.

...Константин Георгиевич побледнел и вытер лоб грязным платком. За их столом уже сидели другие люди — худая, длинноносая девушка в очках и красном платье и худой длинноносый старик в очках и черном вечернем костюме — видимо, ее отец, а Павел и Константин Георгиевич молча и медленно пили коньяк из маленьких рюмок.

— ...И если подходить к языковедению как к разделу гносеологии, — негромко говорил старик, — то языковедам еще придется...

— Что они знают, ваши языковеды, — резко вмешался в разговор Константин Георгиевич, и длинноносый старик брезгливо отшатнулся. — Ученые языковеды установили, что ни в одном языке нет такого количества слов, выражающих степень опьянения, как в русском. — Он помолчал и стал медленно и громко перечислять: — Сапожники пьют — в стельку. Портные — в лоск. Столяры — в доску. Плотники — в гроб. Стекольщики — вдрызг. Печники — в дым. Железнодорожники — в дрезину. Попы — до положения риз...

— А химики? — спросил Павел.

— Химики не пьют. А если уж пьют, то как сапожники... Но о чем же я?.. Ага, о языковедах. Они всеми своими корнями — в прошлом. Они слишком много думают и пишут о прошлом. Изучают прошлое. И совсем не думают о будущем языка. Они — тормоз на пути развития языка. Мертвый хватает живого...

Он увидел официанта и показал ему палец. Официант отрицательно покачал головой.

— Идемте отсюда, — прервал себя Константин Георгиевич. — В другой ресторан. Здесь больше не дадут. Официантам не нравятся разговоры о языковедении. Они считают, что их ведут только пьяные. Официанты не ходят на сессии Академии наук.

Они перешли в другой ресторан. Через дорогу. Константин Георгиевич снова был молчалив и трезв, как бывает трезв лишь окончательно пьяный человек.

— Начнем снова с вина. С грузинского, — предложил он.

Им принесли бутылку «Гурджаани».

Тени деревьев по краям имели радужный оттенок,

затем переходили в синий цвет, а к центру в темно-коричневый, почти черный. Раскаленный асфальт отдавал жаром. Павла качнуло, он уронил скомканные деньги, сдачу, которую нес в кулаке. Все время он старался подсчитать в уме, сколько остался должен Константину Георгиевичу. И никак не мог. Он наклонился, чтобы поднять деньги. Нечаянно взглянул вперед и вдруг увидел — вдали плескалось море. Он поднялся — и море исчезло. Несколько раз подряд он приседал и поднимался. Как только он наклонялся к тротуару, — голубовато-серые морские волны катились между каменных пределов домов.

— Посмотрите, — предложил он Константину Георгиевичу. — Как море.

Константин Георгиевич присел рядом с ним на корточки.

— Это мираж, — сказал он. — Самый настоящий мираж. Как в пустыне. Только почему? Потому, что потоки воздуха поднимаются над разогретым асфальтом? Или потому, что мы — в пустыне?

— А почему вы сказали милиционеру про Рильке? — спросил Павел.

— Так. К слову пришлось. У него есть такие слова: «Из темного вина и тысяч роз, шепча, струится время в сон ночной»...

— Кто он такой — Рильке?

— Был такой поэт. Австрийский.

На стене омерзительного, как многоэтажное ругательство, заляпанного украшениями дома висела доска с афишами.

Константин Георгиевич задержал Павла.

— Жарко в филармонии, — сказал он. — Но все-таки Равель... Э, да и Брамс, и Иосиф Цейтлин дирижирует. Пойдемте.

— А вы такую песню знаете? — спросил Павел. — Про жаворонка?

— «Громче жаворонка пенье, ярче вешние цветы»?

— Нет, — сказал Павел.

— «Между небом и землей песня раздается»?

— Да.

— Знаю.

— Пойдемте, — сказал Павел.

Кассирша улыбнулась Павлу как знакомому.

— Вам везет, — пропела она. — Билеты раскуплены за десять дней. И вот как раз в эту минуту мне позвонили, что два забронированных места можно продать. Замечательные места — в первом ряду.

Павел купил билеты.

— Все дело в том, чтобы выбрать подходящую минуту, — пела кассирша. — На минуту раньше или на минуту позже — и вы бы остались без билетов. У меня место почти рядом с вами. Я чуть опоздаю.

Она сразу же пожалела о том, что продала билеты Павлу. Он не воспользовался минутой. Внимательно посмотрел на нее, сквозь нее и пошел от кассы.

Как и многих других людей, привыкших к музыке, которую передают по радио, к музыке без исполнителей, которая звучит как бы в самом слушателе, Павла развлекал оркестр и дирижер. Они мешали. Особенно мешал Иосиф Цейтлин. Он боролся с оркестром. Казалось, что музыканты играют сами по себе, а дирижер изо всех сил старается, чтобы они двигали смычками и дули в трубы не так, как этого хочется им, а так, как это нужно ему, Иосифу Цейтлину. Когда они играли слишком громко, он умоляюще протягивал левую руку, он прижимал ею музыкантов к эстраде, он уговаривал: «Тише, тише...» А когда они начинали играть тихо и плавно, он взмахивал своей дирижерской палочкой, взывая: «Громче! Не так! Еще громче! Громче! Так, чтобы стекла дрожали...»

Но вот дирижер прижал локти и, едва взмахивая палочкой, стал вытягивать из оркестра медленные высокие звуки, и Павел, весь сжавшись и вцепившись пальцами в поручни кресла, думал: только бы он замолчал... только бы он замолчал...

Лишь теперь Павел понял, как удивительно владели собой все эти люди, собравшиеся в этом зале, если они могли выдержать эту боль и эту муку и не ушли... и остались. И может быть, так же не только он пьет, и ест, и разговаривает, а сам в это время

думает совсем... Только бы он замолчал... только бы он замолчал... И он в самом деле замолчал, и Павлу стало жалко и горько, что оркестр играет уже другое — что-то доброе, простое, никчемушнее...

...Марья Андреевна не заплакала. Не изменилась в лице. Но он сначала не хотел говорить о Софье. А когда посмотрел на нее — сказал. С ней нельзя иначе. С ней и с Петром Афанасьевичем. С ними нужно или говорить все до конца, или уйти. От Сулимы он ушел... Он думал, что не придет и к ней. Просто — убежит. Он бы так и сделал, если бы это была не Марья Андреевна.

...«Ты ее убил», — сказала ему соседка, старая добрая женщина, которая угощала его в детстве клейкими ромбиками — маковниками. Но почему это так? Почему мы больше всего зла причиняем именно тем, кого мы больше всего любим, и разбиваем им сердце, и не щадим их? Почему мы всегда заставляем страдать тех, кого мы больше всего любим? Мама. Седьмой или девятый холмик от края. Поросший сухой, прошлогодней травой...

— Если бы вас связывали только такие отношения, какие бывают между сотрудниками одного института, одной лаборатории, — с горечью сказала Марья Андреевна. — А так — ничего нельзя сделать.

Утром она осталась в постели. Сердце. Алексей говорил, что она ни разу в жизни не болела.

...Почему она мне поверила? Больше, чем всем. Больше, чем Алексею. Он думает, что науке — все доступно. Из меня не получится ученого. Я — за что бы ни взялся — вижу, как мало мы знаем. Мы не знаем самых обыкновенных вещей. Как образуются белки. Как из яйцеклетки развивается человеческий организм. Каков механизм действия ферментов. Отчего люди стареют и умирают... Мы не знаем. Еще никто не знает...

...Впервые за эти годы у меня столько свободного времени. Как в тюрьме. Только в тюрьме я имел столько свободного времени...

...Зачем он опять машет руками? Что они играют?

Но ведь это же похоронный марш! Или нет? Но было очень похоже... Или нет?..

Павел искоса посмотрел на Константина Георгиевича. Тот сидел, вытянув вперед ноги в черных туфлях на микропористой подошве, откинувшись на спинку и полузакрыв глаза. Он был бледен. Его, видимо, мутило. Почувствовав взгляд Павла, он повернулся к нему и тихо, почти не шевеля губами, сказал:

— Становлюсь рассеянным. Лимон-то у нас остался. Хотите?

Он вынул из кармана лимон и стал его очищать, отдирая ногтями кожуру. На белой фланели, окутывающей дольки лимона, появились грязные потеки. Константин Георгиевич разорвал лимон пальцами на две части, внимательно посмотрел, как бы сравнивая, и дал большую Павлу. Затем не торопясь оторвал от своей части дольку, положил в рот и стал медленно жевать.

— Хорошо, — сказал он негромко.

Павел положил в рот кусочек лимона, поморщился, отер пальцы платком.

По левую руку от Павла сидел красивый, подтянутый, не старый, но совершенно седой человек. Он вдруг заерзал в кресле и что-то зашептал соседке. С оркестром происходило непонятное. Цейтлин больше не мог с ним справиться. Немилосердно фальшивила валторна. Дикую чушь порола труба. Хрипел фагот. Захлебнулся и умолк тромбон. Вся духовая группа словно взбеленилась. Глаза музыкантов были прикованы к потолку. Они не смотрели на дирижера. Они отплевывались, закрывали рты платками. Трубы забило слюной.

Цейтлин беспорядочно взмахивал руками. В зале перешептывались. Вдруг он что есть силы застучал палочкой о пюпитр. Оркестр смолк. Только какая-то труба смущенно взвизгнула и бухнул барабан...

— Что здесь происходит? — раздался сиплый голос дирижера.

Музыканты молчали.

— Я повторяю — что произошло?

Длинный, тощий флейтист поднялся со своего

места и, как Вий железным пальцем, указал флейтой на Павла и Константина Георгиевича.

— Лимон, — сказал он глухо. — Они едят лимон.

Иосиф Цейтлин оглянулся. И сейчас же к Павлу и Константину Георгиевичу поспешил капельдинер.

— Прошу вас выйти, — зашептал он возмущенно. — Как вы могли...

На сцене появился один из руководителей филармонии. Он объявил перерыв.

— Культурные граждане, — укоризненно говорил им капельдинер на лестничной площадке. — Симфонию слушаете. В первый ряд билеты берете. А про лимонные рефлексы не знаете... Скрипачу что лимон, что пирог — одинаково. А духовику лимонные рефлексы — как пианисту гвоздь в стуле. Ему, когда он в трубу дует, даже помыслить про лимон нельзя. Не то что увидеть. А вы их на глазах сырыми ели...

Он проглотил слюну.

Константин Георгиевич удивленно поднял брови, лицо его перекосилось, из глаз потекли слезы, он зарыдал.

— Что с вами? — испугался Павел.

— Умру, — плакал Константин Георгиевич. — Вот почему изо всех труб лилась вода. Это они плевались. Идемте скорей. Там, среди оркестрантов, я видел несколько человек... Несколько таких человек, которые в свободное время, несомненно, занимаются тяжелой атлетикой...

Они вышли из филармонии и свернули к саду. Павел ускорил шаги, бросив на ходу Константину Георгиевичу:

— Одну минутку.

Ему показалось, что впереди — Лена. Единственный человек, которого он сейчас хотел бы увидеть. Которого ему нужно было увидеть...

Нет, это была не Лена. Павел ее обогнал. Это была совсем еще девочка — восьми- или девятиклассница, и когда Павел заглянул ей в лицо, она испуганно отшатнулась. Он поспешил назад, но Константин Георгиевич куда-то исчез.

Павел долго ходил по саду, разыскивая своего спутника. Он не знал ни его адреса, ни кто он такой, и никак не мог припомнить фамилию.

Он так и не узнал, кем же был этот человек.

15

— С Менделеевым был однажды такой случай... — сказал Валентин Николаевич.

Участники «летучки» слушали его особенно внимательно — он сегодня был героем дня.

— У великого химика был очень мрачный, неразговорчивый кучер. Ехали они однажды мимо ярмарки. Внимание Менделеева привлекла толпа людей, непонятные крики, шум, толкотня. «Выясните, пожалуйста, что там такое?» — попросил он кучера. Тот медленно спустился с козел и исчез за спинами. Спустя некоторое время он возвратился, молча взобрался на козлы и взмахнул кнутом. «Что же там такое?» — нетерпеливо спросил Менделеев. «Обыкновенное дело, — неохотно ответил кучер. — Химика бьют». «За что?» — изумился Менделеев. «В карман залез», — еще более мрачно ответил кучер.

Валентин Николаевич помолчал, пережидая смех.

— В русском языке слово химик имело еще одно, забытое ныне значение — пройдоха, жулик. К сожалению, в этот раз я столкнулся с химиком, которому больше подходит это второе значение слова...

И он стал рассказывать о том, как Павел едва не обманул члена Государственного комитета по химии Сергеева — в фельетоне он считал неудобным приводить такие подробности.

...Уже близок час, когда азот воздуха будет просто и легко применяться человеком для своих нужд, как уже применяются другие богатства природы. Это говорю вам я, азот, — вспомнила Лена.

Слова Александровой звучали искренне и взволнованно:

— Григорий Леонтьевич вспомнил об «унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла». И о необ-

ходимости глубже проверять факты, перед тем как выступать в газете. Против этого трудно возразить. Но журналист — не святой. Он может ошибиться. И важно вовремя исправить ошибку. Исправить, а не бояться, что ты окажешься в положении человека, который «сам себя высек». Вот почему я считаю фельетон Валентина Николаевича большой удачей. Мне, как сотруднику газеты и как читателю, приятно, что Валентин Николаевич нашел в себе мужество рассказать о своей ошибке так честно, так откровенно...

...В классическом опыте Лавуазье мышь погибала в воздухе, лишенном кислорода, то есть почти чистом азоте, — вспомнила Лена.

В Ватутино, в киоске, по дороге в гостиницу, она купила газету. Фельетон назывался «Алхимик» В. Ермака. Среди алхимиков было немало шарлатанов. В палочку, которой они размешивали в тигле свои таинственные составы, прятали золото. Современный алхимик находит способы посложней, потоньше. Таким алхимиком оказался Павел Сердюк, который подтасовал результаты исследований. Ермак извинялся перед читателями за очерк «Волшебная ручка». Ручка не была волшебной. На поверку она оказалась полой палочкой, заполненной низкопробным золотом.

...Лена накупила книг, и белье не помещалось в чемодан. Часть книг она оставила в номере. Все это заняло минуту. Какая все-таки удивительная штука — человек. Как искренне улыбалась она начальнику отдела перевозок. Она даже не заметила, какой он. Но все решила эта ее улыбка. «Полетов нет и в ближайшие сутки не будет, — сказал он. — Но Акименко перегоняет в Киев лимузин. На ремонт. Попробуем договориться».

Как этот «лимузин» выдерживал огромного, дюжего, ухватками похожего на медведя Акименко? Крошечный самолет с двумя крылышками, обтянутыми полотном. Летчик впереди — наполовину открыт. Сзади тесная кабина с двумя черными клеенчатыми креслами. Это был ее первый полет. Он все время падал, этот самолетик. Ежеминутно он срывался вниз, и все падало у Лены внутри. Так плохо ей не было еще ни-

когда в жизни. Она не открывала глаз и зажала уши руками. Потому что мотор ввинчивал ей в затылок короткий, тупой бурав. Вдруг звук изменился. Мотор зачихал. Она открыла глаза и увидела, как земля вздыбилась и устремилась к самолету. Мотор загудел громче и сейчас же снова зачихал. Катастрофа. Вот она и попала в катастрофу. Самолет перегоняли на ремонт... Ей не было страшно. Просто она ухватилась за края кресла и приготовилась к тому, что сейчас будет очень больно. Вот и земля. Канава. Они перепрыгнули канаву. Толчок. Самолет немного покатился и замер. И наступила такая тишина, которой Лена еще не слыхала. Акименко взобрался на крыло и откинул створку над ее головой.

— Выходите, — предложил он дружелюбно.

— Что случилось? — спросила Лена почти спокойно — самолет стоял на земле.

— Папирос нужно купить. А вы пока передохните. Вижу — вас совсем растрясло.

Он помог ей опуститься на приступочку и сойти на пыльную шаткую землю, а затем зашагал к магазину с нелепой вывеской «Смешторг». Они сели на лугу, на самой окраине села, и самолет вырулил к дороге... Она легла на землю. Она твердо решила, что дальше не полетит. Лучше пешком. На попутных грузовиках...

Акименко тщательно затоптал папиросу.

— «Ту — сто четыре», — сказал он, — конечно, поустойчивей будет. И побыстрей. Но он здесь не сядет. И не взлетит.

Он помог ей взобраться в кабину. И все началось сначала.

В редакции было непривычно пусто и тихо. Все ушли на «летучку». Она тоже пошла на «летучку», где почти все выступавшие хвалили фельетон Ермака, как это часто бывает, когда в рассматриваемых номерах газет не было опубликовано ничего особенно броского, а дежурный критик задал тон, похвалив один из материалов.

Встать. Подойти к столу и сказать, что все это — неправда. Что Сердюк, Павел Сердюк, не обманщик.

Что он чистый и честный ученый. Что она верит — если огромные человеческие армии пойдут на бой с природой с такой же готовностью, с какой они прежде воевали между собой, то это будет также потому, что во главе их будут стоять люди, подобные Давиду Брюсу, люди, похожие на Павла Сердюка. Что она его любит. И что большое счастье и большая ответственность любить такого человека...

Она с трудом поднялась со своего места — на диване в уголке. Пол все еще покачивался.

...Максим Иванович. Нет, она его не любила. Но могла любить. Могло бы случиться и так. Ну, не с ней. С другой женщиной. Все равно. Все равно — можно полюбить и негодяя. Значит, любовь — не доказательство. И любой, любой из присутствующих имеет право напомнить ей о Максиме Ивановиче. Александрова не преминет воспользоваться этим правом...

— Слово имеет товарищ Санькина.

— Нет, нет. Я только с дороги. Я...

Она пошла к двери.

...— Попросите, пожалуйста, товарища Сердюка, — сказала Лена.

— Он у нас не работает.

В мембране щелкнуло. Положили трубку.

— Мне нужен Павел Михайлович.

— Его нет дома... Что ему передать?..

— Скажите... скажите, что звонила Санькина...

— Одну минутку. Маша... — и неясное водопроводное урчание удаляющегося голоса.

Значит, ей ответила не Марья Андреевна. Очевидно, это ее сестра...

— Здравствуйте. Павел третий день не приходит домой. Я звонила в редакцию. Мне сказали, что вы в командировке. Мне нужно с вами увидеться... Не сможете ли вы прийти ко мне?

— Хорошо. Я скоро приду.

Что с Павлом? — думала Лена. — Катастрофа, — ответила она себе. — Но, может быть, и это не катастрофа?

К Лене подошел Бошко. Он таинственно поднес палец ко рту.

— Тс-с, — прошипел он. — Идемте ко мне.

Бошко проводил ее в свой кабинет, спустил защелку на замке, подошел к несгораемому шкафу, квадратному, массивному, как всегда окрашенному под дерево и как всегда не похожему на деревянный, вставил в отверстия два ключа, а затем с трудом повернул рукоятку запора. Он заглянул в темную глубину шкафа, порылся там, вынул две узеньких шоколадки, положил их на стол, все с тем же таинственным видом вернулся к шкафу, тщательно запер его, затем вручил одну шоколадку Лене, а другую взял себе.

— Когда держишь конфеты в столе, — сказал Бошко, — сколько бы ни положил в ящик, в конце дня заглянешь, — а там пусто. А сейф — пока откроешь, пока закроешь... Было время, когда я тратил деньги на папиросы, — добавил он. — Мне посоветовали есть конфеты. Денег уходит больше, а здоровья не прибавляется... Но я вот что хотел у вас спросить... Мне показалось, что вы хотели выступить о фельетоне Ермака. Почему же вы промолчали?

— Я не могла... боялась, что мое выступление будет не так понято...

— Елена Васильевна! — страшно удивился Бошко. — Меня считают самым осторожным человеком в редакции. Но меня осторожности научила жизнь. А вас кто?

— Вы, — ответила Лена.

...Когда она уже подходила к их дому, она увидела Алексея. Ну что ж. Раз она шла сюда, значит, им предстояло встретиться. Правда, лучше, если бы кто-нибудь был при этом. Когда есть кто-то третий — всегда легче притворяться. Но нужно ли притворяться?

— Здравствуйте, — сказал Алексей, улыбаясь своей некрасивой улыбкой, которая делала таким незначительным его серьезное, умное лицо, и нерешительно приостановился.

Он сказал — «здравствуйте».

— Добрый день, — ответила Лена.

— Вы... к нам?..

— Да... Я говорила с Марьей Андреевной.
— Она вам звонила.
— Я знаю.

Алексей проводил ее в большую комнату. Лена была здесь почти четыре года тому назад. Этот круглый стол, накрытый фиолетовой бархатной скатертью с тяжелыми кистями, тогда почему-то поворачивался. Она подошла к столу, взялась за край и легко подтолкнула его. Стол немного повернулся.

Странно — она помнила этот стол. И хрустальную сахарницу, похожую на шкатулку, с крышкой, которая откидывалась, и с замочком. Неужели сахарницу закрывали на ключ? Но она совсем не помнила лица Марьи Андреевны. А почему? И вдруг сообразила — она тогда, наверное, ни разу не посмотрела ей в лицо. Боялась. И сейчас снова боится...

Марья Андреевна была в старом платье. Коричневом. Слишком просторном. Словно она когда-то была полнее и платье тогда было ей впору. Волосы от частой седины — серые, разделены пробором и гладко причесаны. Ничего выделяющегося, яркого. Может быть, только руки. Вернее — пальцы. Очень красивые. С коротко остриженными бледно-розовыми ногтями.

— Здравствуйте, — сказала Марья Андреевна. — Садитесь, пожалуйста. Вы читали статью Ермака «Алхимик»?
— Да... читала.
— Что вы думаете об этом... фельетоне?

Где Павел? — подумала Лена. — Что с ним?

— Извините, я просто... — сказала Марья Андреевна. — Хоть, может, вам, как работнику газеты, неудобно говорить об этом?..

Лена провела тыльной стороной ладони по лбу.

— Какая разница. Нет. Я понимаю, что все это не так. В фельетоне, я хочу сказать. Но я не знаю... Я еще не знаю, что можно противопоставить фактам, вернее, факту, который в нем приводится.
— Об этом я и хотела поговорить с вами. Я плохо разбираюсь в том, что принято делать в подобных случаях. Но если, скажем, я бы написала письмо в редакцию... От своего имени. Его бы напечатали?..

— Не знаю, — ответила Лена уклончиво. Ей очень не хотелось этого говорить. И они с минуту сидели молча, пока она не сказала: — Ваше письмо — что бы вы в нем ни писали — будет воспринято как письмо человека лично заинтересованного. Сегодня была «летучка». — Марья Андреевна подняла брови. — Заседание. Там говорили о фельетоне. Хвалили его. Я промолчала. Что бы я ни сказала — все это были бы слова человека лично заинтересованного.

— Что же остается? Незаинтересованный человек никогда не выступит ни «за», ни «против». Вы думаете, что люди, которые инспирировали этот фельетон, не были лично заинтересованы?

— Кто эти люди?

— Олег Христофорович Месаильский и еще кое-кто.

Марья Андреевна улыбнулась, и Лена подумала, что не хотела бы быть человеком, вспомнив которого так улыбаются.

— Я много старше вас, — сказала Марья Андреевна. — Я очень спешила. Мне казалось, что я не успею. — Лена опустила глаза и замерла, чтобы не вспугнуть ее неосторожным движением. — И когда так спешишь, чересчур радуешься успехам и бываешь чересчур снисходительна к недостаткам. Я говорю о Павле.

— Я понимаю, — сказала Лена.

— У вас впереди больше времени. Он должен работать. В лаборатории. Быть может, ему следует уехать из Киева. Но только он должен работать.

— Куда он ушел? — спросила Лена.

— Не знаю. Дело обстояло так: Месаильский отстранил его от работы. Этому воспротивился секретарь парторганизации и другие сотрудники. Тогда Месаильский предъявил журнал экспериментальных работ. В нем имелись подчистки. К этому Павел — я точно знаю — не причастен. И сразу же — фельетон. Для Месаильского сейчас важно одно — как можно скорей покончить с этой историей. Любым путем.

— Я постараюсь его найти, — сказала Лена.

Неясно было все впереди, неясно и тревожно. И все-таки, возвращаясь в редакцию, она думала о том, что Марья Андреевна ее признала. И это было очень хорошо. Очень.

Чем измеряется духовный масштаб человека? — думала Лена. — Не знаю. Не должностью. Не знаниями. Очевидно, тем, как влияет он на судьбы других людей. Что делает он для других людей...

Она задержалась перед памятником Щорсу. Ей не нравился этот памятник. Не нравилось, что Щорс сидит на огромном пряничном коне. Что конь неподвижен. Но сейчас она думала о другом. Пробовала вспомнить, слышала ли когда-нибудь о матери Щорса. И о матерях других людей, которым поставлены памятники. Об их женах, товарищах, учителях. Тех, кто незаметно, просто и буднично делали свое дело, чтобы помочь им стать такими.

16

У этого человека, вероятно не взявшего за всю жизнь в рот и капли спиртного, был бесформенный красный нос с фиолетовыми прожилками, а руки, как у алкоголика, находились в постоянном движении, составляя странный контраст спокойному выражению глаз.

— Если ошибется врач и пациент умрет — то пострадает один человек, — повторял он часто, подкрепляя свои слова странным жестом, — он как бы пронзал собеседника пальцем. — Если ошибется инженер и обрушится стена — пострадает сто человек. Но если ошибется юрист — пострадает все человечество. Потому что будет нарушена справедливость.

Павел вспомнил, как в тюрьме, в их камере, Кац любил порассуждать о пенитенциарной системе. По его словам получалось, что самым важным достижением человеческой мысли являются юридические кодексы — ими оберегается справедливость, без которой общество может превратиться в стадо.

«А как же будет при коммунизме? — спрашивали

—

я его со

— Да,

поступок ва

ном, который

дут рассматрива

сит от показаний по

— Он уж поста

— Я хочу с ним поговор

— Уговаривать?

— Нет. Поговорить.

— Пошел он... Все равно — одной но

в тюрьме...

Когда Павел остался один, он лег ничком на же стку деревянную скамейку и тихо застонал.

Милиционер, который стоял у входа, заглянул в комнату и скучным голосом предложил:

— Сядьте, гражданин. Рано еще ложиться.

ки
аца
везе-

почему он
до чертиков
в жизни боль-
м — сплошные не-
ницей. С лимоном.
крану-укосине. Как
которые говорят, что хотеть —
семь процентов. Увеличить выход
ь процентов в абсолютных цифрах —
миллиарды. Миллиарды рублей. Как болит го-
...

Дело не в везении. Я сделал глупость. Я сделал много глупостей. Но нельзя расплачиваться за мои глупости миллиардами. А Константин Георгиевич? Если он пьет и ничего не хочет. И говорит, что мы в пустыне. И всюду носит с собой свой лимон, сок ко-

е
де
генть

— ...

вым, — та
Марья Анд
ращусь, вы о
по первому же в

— Раз вытрезв
нечно, отпустим. Тре
с вашего сына подписочку
с ним дома побеседуйте. Матер
значит...

Когда Павел с Марьей Андреевной выш
наты, Павел увидел, как Марья Андреевна вы
из сумочки платок, скомкала его и крепко сжала зу
бами. Сердце его захлестнула такая горячая соленая волна, что он прислонился к стене и с минуту стоял так, глядя на потолок, который медленно удалялся от него.

овo-
нула
слезы:
, если она
е тебе ее не
альe Алексан-

ем обычно, Петр Афанась-
ую. Саша улыбался во сне. Оля
е одеяло, и Петр Афанасьевич укрыл
здрогнул и слегка вскрикнул, а затем пере-
ух, посмотрел на отца и сразу же снова уснул.
Падает, — подумал Петр Афанасьевич. — Растет.

Петр Афанасьевич сел за стол, на который Клава уже поставила разогретый ужин. Он молча, без аппетита, но торопливо ел, а Клава сидела рядом, время от времени вставая, чтобы долить в чай молоко, дать мужу сахар.

же

лишь

—

— А

Кац усп

В прокуратур

вначале, все бо

заявил, что он заду

Павла, а Павел его н

Павла и милиционера, к

стремится ввести правосудие в

Петр Афанасьевич рассказал Клав

ный перерыв он побывал у Вязмитиных. Та

тился с Кацем.

— Эти два дела нельзя рассматривать отдельно, — говорил Кац, пронзая пальцем Петра Афанасьевича. — Прежде всего необходимо доказать, что фельетонист незаслуженно очернил Сердюка. В таком случае, поступок Сердюка уже не может рассматриваться как хулиганский...

...тр Афа-
..., чтоб Па-
...тича. А еще
...ился его лично
...ажное, нужное...
..., воздушного мости-
...ереброшенного между
...му, единственному в стране
...ту через Днепр. Между этими мо-
...жизнь замечательного украинского ин-
...вгения Оскаровича Патона. Мостик между
...ами был его первым мостом. И мост через
Днепр — последним.

И оба они безотчетно ощущали, что, как бы дальше ни сложились их судьбы, того, что пережили они на пути между двумя мостами, хватит на всю жизнь. Хотя об этом не было сказано ни слова. Ни одного слова.

ı.

пл

С

листья

— Не

Лена м

— Не зна

нятно.

— Вы его про

— Нет. Я знала,

его просить. Он сам...

(В действительности она

а поговорить с ним. Вся редакция у

что на Ермака напал герой его фельето

— Нет, — сказал Валентин Николаевич

враждебно. — Не верьте слухам. Просто — через

резкий разговор на улице... — И сейчас же добавил в своей обычной манере: — Ах, Елена Васильевна, вы хорошеете с каждым днем. И сейчас вы представляете собой в нашей редакции, а также и в нашем государстве серьезную общественную опасность...)

3

нужно для
й думал, что
ережно пожал
, что в этом, быть
счастье, какое толь-

...ое прямо на работу? — спро-
— Я по делу. Мне, понимаешь, надо
написать, чтоб в ней все было сказано.
...авда. И чтоб очень коротко. Только не полу-
...ется. Может, посмотришь, что я написал. Может, как-то короче можно. И на машинке это надо отпечатать...

— Хорошо, — сказала Лена. — Только ты сможешь подождать, пока я вычитаю эти гранки? Это пять минут.

—
сиди з

Лена
Павел сно
с яркой ковр
час оказаться в
с Валентином Ни

Это ему надо бо
вышел за дверь, подош
лась пустая волейбольная пло

Лиде не сиделось на месте. Она
стола и выходила в вестибюль, то возвра
талась с курьером, а ее похорошевшее лицо выр
напряженное ожидание. И она дождалась. По кори
дору из машинописного бюро шел Валентин Николае-
вич. Он увидел Павла, замедлил шаги, остановился, а затем, сунув руки в карманы пиджака и задрав кверху подбородок, подошел к Павлу и сказал высоким громким голосом:

—

о все
легко-
встрево-
хорошо»...
о себя Павел
ы. — Самое худ-
Все равно что ска-
же другое постоянно
или не догоняют?..
вальном столе светлого дерева ле-
азеты и журналы. Он заглянул в газету,
заметно вытащил из кармана свое письмо,
оса посмотрел на секретаря — она говорила с кем-
то по телефону — и положил его в газету.

Снова и снова перечитывал он знакомые заученные слова. За эти сутки листы измялись, истрепались по краям.

Петр Никитич встретил Павла сухо.

е

ный
рым си
ницу и п
взгляд от с
и ему показа
нокль. Где-то да
Никитич, где-то в
шой, строго и краси
пригласили.

Он запнулся, силой воли за глаза на столик, снова увидел перед и продолжал чтение. Теперь ему казало страницы, которые одна за другой вставали перед мысленным взором, написаны плохо, не так. Он замечал «птички» в тех местах, которые советовала сократить Лена, он сокращал их на ходу, и речь у него получалась нескладной, одна мысль была плохо связана с другой, он думал об этом, а говорил о катализе.

ч.
го-
сби-

етр Ники-

.

очки, бегло про-
ки перед ним, вынул
ндаш, подписал этот
их, спрятал в футляр и
..
о даст? Если это удастся осуществить?..
жде всего — урожай... Намного повысится
ожай... Азотные удобрения... Вся современная химия базируется...

— Урожай — это хорошо, — перебил его Петр Никитич. И повторил: — Урожай — это очень хорошо. — Неожиданно с искренним живым интересом он спросил у Павла: — Вы кукурузу любите?

— Как люблю? — не понял Павел.

Ик

лис

сам б

которы

бунты уст

до чего изба

риса, а он для

катес. На Руси

А не понимали они

было непривычное бл

велый хлебушко, чем этот ри

Он снова помолчал.

— Это я к тому говорю, что нет, пожал

области жизни, где люди были бы так консерва

как в еде. А вспомнить картофельные бунты? Или как у нас устрицы десятками тонн пропадают. А за границей — лакомство. Но это неважно, что корнфлекс плохо едят. Нужно, чтобы больше кукурузы скоту скармливали. Будет у нас тогда вдоволь и с избытком молока, мяса, масла... А урожай повысить — это хорошо...

ал
ман

чел:
у мнению,
есять процен-
способностей..
он использует, и
ся в его распоряже-
что он есть, и тем, кем

попросил бумагу.
дали государство, где человек исполь-
десять, а значительно больше процентов своих
способностей. Принцип социализма — от каждого по его способностям... Это значит, что наше социалистическое государство обязуется предоставить каждому своему члену все возможности для максимального использования и развития его талантов. Но если мы создадим самые лучшие материальные условия, то эти

Т
здо
к не
мает ну
Жестк
жесткость. .
Но лишь
прежде всего
другим.

Не золото, а настоящие листья. И
рый асфальт. Но такой продуманный узор,
тание тонов, такой размах и такая щедрость, что ко
идешь по этой мозаике — хочется самому стать лучше.

— Здо́рово! — сказал Павел.

— Хорошо! — ответила Лена.

Хорошо. Очень хорошо, что садовая дорожка выстелена этой неповторимой мозаикой из листьев клена

...а
...дик-
... но-
...пре...»
... — как я
...орошо — он

...он и поежился от
...ся ...м ветра за под-
...го
...лаборатории. На улице
...олк. А в лаборатории было светло
...дый занимался своим делом, и дело шло
...десять когда по улице одна за другой промчались
несколько пожарных машин, разрывая сумерки воем сирен, — все на минутку замерли. Никто не сказал ни слова, но все насторожились. А затем продолжали работу как ни в чем не бывало.

— Нет, войны не будет, — повторил Павел.

— Ты рад ответу на телеграмму? — спросила Лена.


57 коп.